

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК

παράλιπομένον

Александр Гингер
Стихотворительное
одержанье



СТИХИ
ПРОЗА
СТАТЬИ

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК

παλιπομένων

*Александр
Гингер*





*Александр
Гингер*

*Стихотворительное
одержанье*

Том I

СТИХИ, ПРОЗА, СТАТЬИ

*Водолей
Москва
2013*

Редакционная коллегия серии:

Р. Бёрд (США),
Н. А. Богомолов (Россия),
И. Е. Будницкий (Россия),
Е. В. Витковский (Россия, *председатель*),
С. Гардзонио (Италия),
Г. Г. Глинка (США),
Т. М. Горяева (Россия),
А. Гришин (США),
О. А. Лекманов (Россия),
В. П. Нечаев (Россия),
В. А. Резвый (Россия),
А. Л. Соболев (Россия),
Р. Д. Тименчик (Израиль),
Л. М. Турчинский (Россия),
А. Б. Устинов (США),
Л. С. Флейшман (США)

Составление, подготовка текста,
вступительная статья и комментарии *Владимира Хазана*

ISBN 978–5–91763–165–3

ISBN 978–5–91763–166–0 (Том I)

- © В. Хазан, составление, подготовка текста,
вступительная статья, комментарии, 2013
- © М. и Л. Орлушины, оформление, 2013
- © Издательство «Водолей», оформление, 2013

ПОБЕДА ДУХА НАД ВЕЩЕСТВОМ О ЖИЗНИ В ПОЭЗИИ АЛЕКСАНДРА ГИНГЕРА

Это был человек редкостно своеобразный и один из самых «порядочных» людей, которых довелось мне в жизни знать.

Г. Адамович¹

Я примитивный человек, наделенный сложным характером.

С. Шаршун. Шепотные афоризмы (1969)

В своей статье «Пробники» (впервые – 1924 г.), вошедшей впоследствии в книгу «Гамбургский счет», В. Шкловский с метафорическим умыслом описывает лошадей-пробников, тех, кто «разжигает» кобылу, пробуждает в ней желание, и далее замечает:

Сейчас же русская эмиграция это организация политических пробников, не имеющих классового самосознания².

К категории этих самых «пробников», поэтов, явно лишенных политического «классового сознания», зато взамен этого имевших дерзость сказать свое слово в русской поэзии, относится автор, с которым знакомит данная книга. За более чем сорокапятилетнюю «жизнь в искусстве» «чернильное ружье» Гингера, как назвал орудие

¹ *Адамович Георгий*. Об Александре Гингере // Мс. 1966. № 12. С. 266. Г. Адамович почти цитирует фрагмент из своего же письма А. Бахраху, в котором следующим образом реагировал на смерть Гингера:

«...это был редкий человек по какой-то внутренней порядочности, почти единственный на нашем горизонте» (Письма Георгия Адамовича А.В. Бахраху (1957–1965) / <Публ. Веры Крейд> // НЖ. 2001. № 225. С. 175).

² *Шкловский В.Б.* Гамбургский счет: Статьи – воспоминания – эссе (1914–1933). М.: Советский писатель, 1990. С. 187.

поэта его близкий друг и коллега по творческому цеху Б. Поплавский, стреляло не часто: гингеровское литературное наследие в количественном выражении весьма скромно, однако без него трудно представить полноценную историю русской литературы в изгнании.

1

Александр Самсонович Гингер родился 5 (17) октября 1897 г. в Петербурге. Мы практически ничего не знаем о его детстве и юности, проведенных в российской столице: воспоминаний, подобно тому, как это сделал, например, его земляк Владимир Вейдле¹, он не оставил. Согласно «Всему Петербургу на 1897 год», т.е. на то время, когда родился будущий поэт, семья (или по крайней мере отец – врач-патологоанатом Самсон Григорьевич [Шимшон Гиршевич] Гингер; 1863–?) проживала по адресу: Екатерингофский пр., 20². По тому же адресу проживали, по всей видимости, братья Гингера-старшего – Михаил Григорьевич, директор Петербургско-Московского коммерческого банка, и Сергей Григорьевич, архитектор³.

Если силу поэтического свидетельства (о свидетельских возможностях стиха писал приятель Гингера, поэт Б. Божнев: «За то, что с каждым днем светлей и кротче / Свидетельствуют о тебе стихи...») использовать в «меркантильных» целях восстановления авторской биографии, то из гингеровских «стихов без метра» «Автобиография» (1921) вытекает, что он «был на военной службе (но не добровольцем, а по обязательному набору)»⁴. Возможно, с тех самых пор его сознание запечатлело образ отдающего военные команды прапорщика, которым он в эссе «О разновидностях русского пятистопного ямба» (см. раздел «Проза. Рассказы, очерки, эссе») иллюстрирует свою мысль о долгом и ударном слоге:

¹ См.: *Вейдле Владимир*. Зимнее солнце: Из ранних воспоминаний. Washington: Издво Виктора Камкина, 1976; *Его же*. Воспоминания / Вступ. ст., публ. и коммент. И. Доронченкова // Диаспора: Новые материалы. Вып. 2. СПб.: Феникс, 2001. С. 24–153; Диаспора: Новые материалы. Вып. 3. СПб.: Феникс, 2002. С. 7–159.

² Весь Петербург на 1897 год. С. 102.

³ Весь Петербург на 1901 год. С. 138.

⁴ Рецензировавший сборник Гингера «Преданность» В. Сосинский (рецензия подписана инициалами Б<ронислав> С<осинский>) писал об этом стихотворении, что оно не может быть объяснено ничем другим, «как только желанием бросить вызов в пространство» (СП. 1926. № 12/13. С. 70).

Многие из нас ясно это поймут, вспомнив русские военные команды с их разделением на предварительную и исполнительную. Как срывались голоса у прапорщиков: «Рота – стой!» Тут в слове «рота» ударение явно на первом слоге, а долгота на втором.

Родившийся в еврейской семье, Гингер относился к своему еврейству в целом нейтрально, никак не проявляя его ни в жизни, ни в творчестве. Хорошо его знавший К. Померанцев впоследствии отмечал:

Еврей по рождению, он с сознательного возраста стал отходить от религии отцов, не чувствовал ее своей, ему ближе было христианство, а когда он с ними познакомился, индуизм и буддизм; этот последний своим осознанием мира, в котором царят болезни, страдания и смерть, и таким же осознанием необходимости противостояния им своими, но лишь духовными силами. Не знаю, перешел ли он «официально» в буддизм, знаю только, что похоронен был по буддийскому обряду, высоко духовному и благочестивому¹.

И далее, касаясь его поведения в оккупированном нацистами Париже, который он не только не покинул, но, несмотря на строжайший указ, не носил желтой звезды, Померанцев пишет, что вел Гингер себя так не потому,

что скрывал свое еврейское происхождение, но <...> считал недопустимым делить людей по расам, как собак или других животных².

Этот рассказ находит соответствие у другого гингеровского товарища – Г. Газданова, который следующим образом передает его слова:

– Вы знаете, почему я буддист? – спросил он меня однажды. – Меня всегда привлекало это непрекращающееся пантеистическое движение, это понимание того, что ничто не важно и что важно всё, этот синтез отрицания и утверждения, который дает нам единственную возможность гармонического видения мира. Собственно, не мира, а миров, которые возникают и исчезают, появляются вновь в преображенном виде, и время – это только бессильный свидетель их бесконечного смещения. Я верю, что ничто не исчезнет бесследно. И если бы я в это

¹ Померанцев: 53.

² Там же. С. 59.

не верил, если бы лучшие вещи в нашей жизни были обречены на безвозвратную гибель, было бы слишком трудно, слишком тягостно жить, вы не думаете?¹

В 1919 г. Гингер эмигрировал в Париж с матерью², отец остался в России. Дом Гингеров был одним из центров, где в первые годы изгнания собиралась творческая эмигрантская молодежь, чем объясняется, что стихи Марии Михайловне посвящал не только родной сын, но и его друзья: Г. Евангулов («Мравал-Жамие (Заздравный тост)» в его сб. «Белый духан», 1921, С. 32–33, – в сугубо кавказском духе подхватывающие гингеровское посвящение: «М.М. Гингер, алла-верды Ал. Гингеру») и В. Парнах («Дрожь банджо, саксофонов банды...» в его сб. «Карабкается акробат», 1922)³. Ср. в письмах М. Талова Гингеру соответственно от 28 января и 28 марта 1964 г. (том II. Письма):

...я имею в виду и трагическую судьбу, постигшую Вашу мать, которую я знал лично...

...я сейчас вспомнил, как всей Палатой Поэтов мы приходили к Вам в гости неоднократно, Вы жили, кажется, на сквере Alboni (?).

По приезде в Париж Гингер избрал для себя медицинскую специальность. Будучи единственным ребенком в семье, он по первоначальному намерению пошел по стопам отца и матери⁴, однако, не испытывая большой предрасположенности к профессии врача, вскоре оставил

¹ Газданов 1966: 128.

² Мать Гингера, Мария-Розалия Михаэлевна (Михайловна) Гингер (урожд. Блюменфельд; 16 авг. 1876, Кишинев – 1942), дантист по профессии, проживала в Париже по адресу: 45, rue Michel-Ange (XVI-e). Жизнь ее завершилась трагически: в годы II-й мировой войны М.М. Гингер была арестована в Париже, депортирована и погибла в Аушвице.

³ См. также автограф на подаренной ей книге А. Куприна: «Моему дорогому другу Марии Михайловне Гингер на память о ее милом гостеприимстве в Нормандии 1929 г. 26, 27, 28 апр. 1929 благодарный и преданный А. Куприн» (*Богомолов Н.А.* Автографы писателей в букинистических каталогах // Новое литературное обозрение. 2010. № 105. С. 387).

⁴ См. в воспоминаниях К. Терешковича (Приложение I) о встречах с Гингером в студенческой столовой в конце 1920 г.: «(Он – медик, я – архитектор.) Его мало интересовала медицина, меня так же мало интересовала архитектура, но нас обоих устраивали дешевые обеды в столовой для студентов»; см. там же, в Приложении I, акростих Д. Кнута, адресованный Гингеру, где имеется следующее двустишие: «Ехидный лирик, держишь ты ланцет / Гораздо лучше, чем собака след».

обучение. Современник, знакомый с ним в это время, так описывал впоследствии портрет Гингера:

Неспешная походка, цепкие, как клещи, руки, – трудновато было не заметить мертвой хватки его рукопожатий, – спокойная, обнажавшая по десны ровные желтые зубы, улыбка, вечно загорелое, горбоносое лицо, – ничто не позволяло заподозрить в Гингере поэта¹.

В конце 1920-х – в 1930-е гг. Гингер служил в качестве бухгалтера в химической компании, менеджером которой являлся его дядя (в нормандском городке Serquigny)², перед II-й мировой войной – в Société Terres Rares, позднее – корректором (недаром его прозвище в ремизовском Обезвельволпале было «грамматик дидаскал»³), сделав на этом скромном поприще себе имя не только в «русском Париже»⁴

¹ Федоров М. В Русской Сорбонне: Из цикла «Золотые годы русского Парижа» // РМ. 1977. № 3154, 2 июня. С. 8.

² Биографический факт, помимо прочего, отразившийся в шутовском стихотворном послании Гингера неустановленному лицу: «Надо рабочим платить, надо счета проверять» (см. раздел «Поэзия. Из неопубликованного»); в Нормандии происходит также действие гингеровского рассказа «Вечер на вокзале»; из Serquigny написаны письма Гингера, публикующиеся в настоящем издании: С. Карскому (№ 1, ноябрь 1932 г.), М. Вишняку № 1, от 28 ноября 1933 г., в котором он сравнивает свою изоляцию от парижской литературной жизни с «однообразной наготой» онегинской деревенской глуши; в Serquigny отправлена почтовая открытка К. Терешковича и неведомого нам Левки (приводится в Приложении I, вступительная заметка к воспоминаниям К. Терешковича о Гингере).

³ См.: *Обатина Е.Р.* Царь Асыка и его подданные. Обезьяня Великая и Вольная Палата А.М. Ремизова в лицах и документах. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2001. С. 340.

⁴ Его имя как корректора указано в «Избранных стихах» (Париж, 1949) Д. Кнута, в сб. стихов «Соль» (Париж, 1949) А. Присмановой; Гингер занимался корректурой книг Н.В. Кодрянской: «Сказки» (с иллюстрациями Н. Гончаровой) (Париж, 1950), «Глобусный человечек» (иллюстрации Ф. Рожанковского) (Париж, 1954), «Алексей Ремизов» (Париж, 1959), правил корректуру по крайней мере одного из сборников стихов С. Прегель – «Берега» (Париж, 1953), ремизовского «Огня вещей» (Париж, 1954), книги стихов В. Булич «Ветви» (Париж, 1954) (см. об этом в его письмах к автору, приведенных в томе II. Письма), книги стихов И. Яссен (Р. Чеквер) «Память сердца» (Париж, 1956), «Избранных стихотворений» М. Форштетера (см. надпись составителя этой книги С. Маковского, подаренной Гингеру: «Дорогому Александру Гингеру от составителя этой книги, которой он очень помог своим верным глазом и дружеской работой. Сергей Маковский. 20/II. 1961. Париж» – хранится в парижской Тургеневской библиотеке) и др. Профессиональная привычка – держать в руках корректуру – сказывалась в этом неизменном требовании Гингера к редакторам, когда речь заходила о печатании его собственных стихов, см. об этом

(после войны служил корректором в РН), но и за его пределами (служба в отделе информации ЮНЕСКО). Русский язык, судя по отзывам современников, Гингер знал превосходно¹ – коллеги по литературному цеху нередко обращались к нему за языковыми советами и консультациями², и филологические, лингвистические темы составляли предмет его частых раздумий, рассуждений и бесед. Г. Адамович вспоминал, что

русский язык был его страстью и заботой, едва ли не главным предметом его раздумий, размышлений и даже раздражений. Внимание к языку было у него неустанным, а чутье необыкновенно острое. Помню многие его замечания, помню и то, что не раз приходилось соглашаться с его приговорами, хотя сначала и казалось, что внушено его негодование скорей всего придирчивостью³.

Тому же Г. Адамовичу принадлежит вписанное в гингеровский *Альбом* (см. о нем далее) следующее шутивное четверостишие:

Как ни скрывай, как ни обманывай,
Вне конкурса – стихи Присмановой,
А Гингер – лучший наш стилист,
Хотя и худший покертист.

Георгий Адамович

31 марта <19>48

В воспоминаниях М. Федорова, знавшего «лучшего нашего стилиста» по Сорбонне, Гингер – со стороны словотворчества – рисовался следующим образом (продолжим прерванную выше цитату):

А словотворчеством болел он хронически и не только в стихах. Синтагмы свои извлекал и вымучивал из каких-то одному ему ведомых, тайных глубин, и простую, казалось бы, фразу: «Прошлым летом я был

в письмах М. Вишняку (№ 2) и Р. Гринбергу (№ 2).

¹ Хотя гингеровская грамматическая оригинальность и – наперекор общепринятым нормам – упрямая вера в правоту своего реформаторского лингвистического чутья проявлялась и здесь, см., напр., в письме С.Ю. Прегель (№ 3, том II. Письма), где он пишет: «мой сыновья, их жоны (я буду писать так и в книге, всё равно это будет скоро принято)...»; ср. письмо ей же, № 5.

² См., напр., письма к нему Б. Божнева: №№ 14, 19, 20 (в последнем он называет Гингера «Далем грамматики»), том II. Письма.

³ *Адамович Георгий. Об Александре Гингере* // Мс. 1966. № 12. С. 267.

черен, как эта вот черешня», изрекал как некое откровение, подавая ее собеседнику с улыбкой удовлетворенного тщеславия и едва прикрытым жеманством испытанного мастера слова.

«Славный» было излюбленным эпитетом Гингера-поэта. «Славный стол» – «Чарли Чаплин – славный мим». Славным человеком и товарищем был и сам Гингер¹.

К сугубо корректорской деятельности нередко примешивались сопутствующие изданию книги многие другие обязанности, в том числе связанные с типографским производством, – поэтому служба Гингера-корректора нередко означала нечто гораздо большее, и статус Гингера-печатника или, по крайней мере, человека, свободно ориентирующегося в печатном производстве – всяких там монотипах и линотипах, – гораздо корректнее отражает суть дела (см., например, его письма В. Булич, приведенные в томе II. Письма). Так что «стихопечатальная машина», которую он упоминает в стихотворном посвящении «Анне Присмановой», не только метафора отчуждения индивидуального почерка и превращения его в типовой шрифт, но и элемент обыденной реальности Гингера-поэта, приобщенного ко многим тайнам и секретам полиграфического производства.

Впрочем, корректорская работа, в особенности в послевоенные годы, нередко оказывалась временной, тогда приходилось заниматься всякого рода поденщиной: например, мастерить галстуки (см. его письмо к Р.С. Чеквер № 14 или письмо к нему Н.С. Муравьева № 10, от 12 мая 1952 г.); иногда кормил *chômage* (пособие по безработице), если его не лишали, учитывая детей-кормильцев (см. письмо Гингера Р.С. Чеквер № 15, от 10 февраля 1952 г.).

Если вновь пойти на некоторое допустимое сближение биографических и поэтических фактов, то, вероятнее всего, в 1924 г. Гингер «на незнакомом перекрестке» встретил поэтессу Анну Семеновну Присманову (наст. фам. Присман; 1892–1960): именно в этом году она перебралась из Берлина в Париж, и этим годом датировано его стихотворение «Уверенность», завершающееся четверостишием, которое вполне может быть названо вещим:

На перекрестке неизвестном
Тебя опять увижу я;

¹ Федоров М. В Русской Сорбонне: Из цикла «Золотые годы русского Парижа» // РМ. 1977. № 3154, 2 июня. С. 8.

Мы обручимся взглядом тесным
И станешь ты жена моя.

В 1926 г. Гингер женился на Присмановой; еще до этого, 29 ноября 1925 г., родился их первый сын Василий (Basile) (ум. 2010), ставший в будущем инженером, а позднее, в 1928 г., – Сергей (Serge) (ум. 2011), известный во Франции психолог и психотерапевт, автор большого количества работ по гештальтпсихологии и гештальттерапии.

По-видимому, в 1930-е гг. они сняли квартиру на 4, rue Thureau-Dangin (Paris, XV-e), неподалеку от станции метро Porte de Versailles. Дома в этом районе Парижа принадлежали муниципалитету и сдавались в аренду по относительно низким ценам. В этой квартире Гингер прожил до самой смерти.

О ссорах супругов между собой в русском Париже ходило множество слухов, и, судя по всему, не лишенных основания¹. Так, в частности, Г. Иванов писал Р. Гулю 25 января 1956 г.:

Будем Шиллером и Гёте, или Гингером – Присмановой. Хотя последние, говорят, дерутся до вцепления друг другу в волосы. Но всегда потом «навсегда» мирятся².

В. Сосинский, издавна знавший Гингера по Парижу³, а Присма-

¹ Эти ссоры и склоки «удостоились» даже своих имитаций, которые, по свидетельству современника, с блеском исполнял в Нью-Йорке Н. Рейзини (см.: *Сосинский Владимир*. Конурка // Вопросы литературы. 1991. № 6. С. 194).

² Георгий Иванов – Ирина Одоевцева – Роман Гуль: Тройственный союз: (Переписка 1953–1958 годов) / Публ., сост., коммент. А.Ю. Арьева и С. Гуаньелли. СПб.: Петрополис, 2010. С. 318 (первоначально: *Иванов Георгий*. Девять писем к Роману Гулю / Публ. Г. Поляка; комм. А. Арьева // Звезда. 1999. № 3. С. 152). Обыгрывая образ этого «мира навсегда» как знак глубокой привязанности и нераздельности, Р. Гуль ответное письмо Г. Иванову (29 января 1956 г.) начинал в такой шутивно-эпиграмматической форме (Там же. С. 324):

Дорогой Георгий Владимирович,
Снова начинаем наново!
Я – Ваш Гингер, Вы – Присманова!

И в самом письме повторял еще раз: «Ох, простите, я забыл совсем, что мы – Гингер-Присманова...» (С. 326); эта «ролевая» гингеро-присмановская игра продолжается в их переписке и дальше.

³ Ср. в цикле В. Андреева «Прогулка с другом» (1947) (*Андреев Вадим*. Стихотворения и поэмы <В 2-х томах>. Т. 1 / Подг. текста, сост. и прим. И. Шевеленко; С предисл. Л. Флейшмана. Berkeley Slavic Specialties. С. 169 (Modern Russian Literature and Culture. Studies and Texts. Vol. 35)):

нову – еще дальше, по берлинским временам, когда они оба входили в литературную группу «4+1»¹, описывал в своих воспоминаниях весьма пикантную семейную сцену, свидетелем которой он явился:

Вхожу. Аня бросается ко мне стремительной ланью, она была тонка, как веточка², и на редкость некрасива:

– Вот, Володя, смотрите! Этих пятен на стене не было час тому назад. Вот что этот негодяй делал со мною, пользуясь своей мужской силой и выдуманной им спортивной зарядкой. В это место стены он стучал мою голову, как дыню! Чуть не убил. И сразу же тут же нагло требовал от меня... как это по-русски? Ласки? Леопардом на меня накинулся. Но тут, знаете, я заорала и уже как следует его отшлепала и исцарапала. Посмотрите на его рожу! Ишь, подлец, смеется. Это у него такая патология. Я на кухне в духовке пироги с капустой пеку, а он сзади тихо подкрадывается... Жуть. Охальник с бзиком! А люди говорят, что хорошие стихи пишет³.

Отмечаемый разными мемуаристами факт, что Гингер и Присманова обращались к другу на «вы» и по имени и отчеству, – что, возможно, у других выглядело бы как экстравагантное манерничанье, – в их поведении воспринимался естественной нормой. Ср. в письме Н. Резниковой к Э. Божневой-Каминер от 8 мая 1980 г.:

Очень одаренные поэтически <...>, очаровательные, но очень комическая поэтическая пара. Дружья очень смеялись, ласково, говоря о них. Были они на «Вы», причем вечно ссорились: «Вы, Анна Семёновна – большая дура...»⁴

Из-за угла Сосинский нам навстречу
Тащил портфель, как мученик грехи,
И голосом сказал он человечьим:
«Я Гингера в печать несущих стихи».

¹ О Присмановой берлинского периода см.: *Марголин Ю.* Анна Присманова // НРС. 1960. № 17450, 18 дек. С. 6.

² См. шутовское обыгрывание Присмановой своей телесной легкости в письме к В.С. Булич от 10 марта 1949 г. (полностью в томе II. Письма):

«Дорогая Вера Сергеевна, как видите, я (несмотря на легкость веса) крайне тяжела на подъем, в частности на эпистолярный!»

³ *Сосинский Владимир.* Конурка // Вопросы литературы. 1991. № 6. С. 194.

⁴ Цит. по: *Устинов Андрей, Поливанов Константин.* На грани: Борис Божнев в 1930-е годы // *From the Other Shore (Toronto).* 2002. Vol. 2. P. 35.

Ю. Иваск, попавший в их парижскую квартиру за несколько месяцев до смерти Присмановой, оставил такую запись (датирована 18 июня 1960 г.):

Несколько дней тому назад был у Гингера и Присмановой.

Присманова прямо одряхла, знает это, и всё время нас, гостей, язвила – наши конфеты несъедобные, не сразу вышла, засыпала за столом. Темная птица, устало опускающая клюв. И от усталости – клюющая. Гингер – голова тыквой, на редкость безобразный еврейский тип и на редкость милый, добродушный человек.

Гингер: Присманова, куда запропастился ваш сын, хамство так опаздывать.

Присманова: Гингер, я полагаю, он и ваш сын, а не только мой.

Так они переругиваются¹.

То, что отношения извечных спорщиков Гингера и Присмановой строились на перманентных ссорах и перемириях, можно вывести из слов близко знавшей одного и другую художницы Иды Карской, писавшей своему супругу Сергею Карскому 14 января 1940 г.:

Вы думаете, что Гингер ко мне равнодушен? Но разве Гингер любит кого-нибудь? Нет, мой милый. Мы действительно хорошие друзья, он действительно (?) хорошо ко мне относится. Он вообще откровенен со всеми, но со мной немного больше, чем с другими. Мы с ним часто ругаемся, я почти всегда на стороне Присмановой, ведь это проклятье Божье быть женой такого человека, Гингер это знает, и он за ссоры меня ценит; любит, когда нет Присмановой, ссориться с другим человеком².

Касаясь в том же письме черт характера Гингера и отзываясь о нем как о вовсе не простом человеке, Карская писала:

Я не говорю, что не ценю хорошее отношение, тем более, когда это исходит от такого теоретика, как Гингер. Хорошее отношение я очень ценю, если оно настоящее, а не просто христианские слова. Мне просто с Гингером, но по-настоящему радостно мне бывало только когда мы бывали вчетвером, вы, Гингер, Присманова и я. Рядом было ваше

¹ Проект «Акмеизм» / Вступит. ст., подг. текста и коммент. Н.А. Богомолова // Новое литературное обозрение. 2002. № 58. С. 166.

² Вишневский А.Г. Перехваченные письма: Роман-коллаж. 2-е изд., с измен. и доб. М.: ОГИ, 2008. С. 407.

тепло, эгоистка Аня теплее благородного, но парадоксального Шуры <Гингера>. Он эгоцентрик (это inédit¹ еще), это смешно, но это так, ему важны его теории, его логика, его вера.

Он уважает чужую свободу (в частности, Присмановой), чтобы не было покушений на его свободу. Его приятно иметь другом, но на верность его нельзя рассчитывать, на благородство, пожалуй, да, это эрзац постоянства... Он себе часто противоречит, потому что голова – это одно, а жизнь другое, я ехидно ловлю его на противоречиях, и он сердится. Ну что ж... Нужно человека брать таковым, каков он есть, недостатков у Шуры много и тяжелых, но нутро его интересно, и это сглаживает².

Гингеру (и, нужно полагать, отчасти и Присмановой) была присуща какая-то нелюдимость, «антиобщественность», некоторая предубежденность против участия в коллективных формах литературной жизни – в обстановке публичной суетности, «среди народного шума и спеха», если воспользоваться образом О. Манделштама. Происходило это, скорее всего, не оттого, что в обычной жизни он страдал манией одиночества (или «манией преследования», как назвал одно из своих стихотворений), но предпочитал жить на «ренту» с собственного мнения, не соблазняясь «доходами» мнения общественного. Эта независимость суждений, привычный приоритет своего, не заимствованного ни у кого другого взгляда на жизнь, полное отсутствие пиетета перед любой, пусть самой авторитетной точкой зрения и – соответственно – отсутствие желания навязывать себя другим у Гингера были столь развиты, что естественным образом проявлялись как в форме поэтической, так и обиходной речи. Ср. многократно цитировавшееся финальное двустопное из его стихотворения «Пять стоп»: «На всем вышеизложенном, однако, / Ни капли не настаиваю я», чему эквивалентна, например, фраза из его письма к Р. Чеквер: «Конечно, это мое личное мнение, которое ни для кого не обязательно» (№ 10) или в другом письме ей же: «Всё вышеизложенное – мое личное предположение, и никого ни к чему не обязывает» (№ 14).

Гингеровский «изоляционизм», предпочтение, которое он отдавал приватной жизни перед любой формой зависимости от других (и других от себя), проявились, в частности, в бегстве от соблазнительных предложений «ответственных должностей»: пастернаковская фор-

¹ не понято (*фр.*).

² Вишневский А.Г. Перехваченные письма. С. 407–408.

мула «жизни вне тайны и незаметности, жизни в зеркальном блеске выставочной витрины я не мыслю»¹, кажется, в точности выражала его человеческое и творческое credo. В упомянутом письме к Чеквер (№ 10) он решительно отказывается от какой-то предлагаемой ему заманчиво-престижной и хорошо оплачиваемой работы, связанной, судя по всему, с «руководящей» должностью:

Для того, чтобы не возвращаться к Вашим издательским планам, – писал Гингер своему корреспонденту, явно ему симпатизировавшему как профессиональному редактору, – пользуюсь случаем, чтобы Вам сообщить, что я обдумал это, поскольку это могло касаться моего участия, и решил, что я не могу быть Вам полезным. Я ни в каком случае не вижу для себя возможности заниматься этим в какой бы то ни было степени, особенно принимая во внимание, что инициатор, т.е. Вы, будет далеко. Кроме того, если я правильно понял, в первую очередь будут выпущены книги людей, отвечающих за себя и даже желающих осуществлять эту ответственность, которые сами будут заниматься типографскими и тому подобными хлопотами. Я заранее отказываюсь брать это на себя, независимо от размеров вознаграждения, на которое мог бы рассчитывать².

Гингеровско-присмановское отчуждение от привычно-установленных норм и форм коллективно-общественной жизни, подчеркивание которого не избежало некоторых крайностей³, не было, конечно, абсолютным: супруги, хотя и отличались полным равнодушием к суетной славе и не стремились занять какие-то «ключевые места», были тем не менее на виду в литературной жизни «кофейно-кружкового Монпарнаса» (Ю. Иваск). И те, кто писал об этой жизни, неизменно упоминают «чудесную пару», обликом своим походившую «несколько на химер», но духом своим являвшую «существа <...> серафические,

¹ *Пастернак Борис*. Собрание сочинений: В 5-ти томах. Т. 4. М.: Художественная литература, 1991. С. 338.

² Полностью приведено в томе II. Письма.

³ См., например суждение современного автора, с которым едва ли можно полностью согласиться:

«Присманова и Гингер осознанно выбрали образ жизни герметически закрытый, друг подле друга, размыкая семейный круг редко и для немногих, посторонних людей. Популярности это не способствует – так, беглые мемуарные упоминания, не сведения – впечатления, почти случайный промельк странно-отрешенной пары...» (*Перельмутер Вадим*. Под созвездием Близнецов: (Анна Присманова и Александр Гингер) // Октябрь. 1996. № 11. С. 119).

вечно ищущие»¹. «Химерическая» внешность и «серафическая» сущность – обычная в случае Гингера и Присмановой форма их сочувственного и адекватного восприятия и приятия в том, как выразился бы Б. Поплавский, «раю и царстве друзей», в котором они обитали.

Живы в моей памяти, – вспоминал И. Чиннов, – два чудака: супружеская пара Анна Присманова и Александр Гингер. Считалось, что они уроды. Это могло показаться только в плане канона классической Греции. Для людей, переживших модернизм, и Аня Присманова, и Сашуня Гингер были красивы. Недаром Борис Поплавский в незаконченном своем романе назвал Гингера Аполлоном Безобразовым².

Забегая вперед, скажем, что смерть Присмановой Гингер воспринял как одно из самых трагических событий своей жизни, после чего наступил и его собственный фактический конец – если не физический, то, во всяком случае, моральный. В ответ на выраженное Б. Зайцевым соболезнование он писал:

Я никогда не был хорошим мужем, но я любил мою жену, она занимала огромное место в моей жизни, и она это знала. А если не знала, то теперь знает. Вечная память!³

Бахрах свидетельствовал:

Жизнь – сама по себе – уже представлялась Гингеру чудом, но едва он овдовел, как его жизнелюбие, его радость существования сразу поблекли, и после рокового для него события он вскоре заболел той страшной и неизлечимой болезнью, которая до того поразила и его жену⁴.

¹ Шаховская З.А. В поисках Набокова. Отражения. М.: Книга, 1991. С. 148.

² Чиннов И.В. Собрание сочинений: В 2-х томах. Т. 2. М.: Согласие, 2002. С. 91.

³ Bakhmeteff Archive of Russian and East European History and Culture, Rare Book and Manuscript Library, Columbia University (New York). Ms. Coll. Zaitsev. Box 1; опубликовано в статье А.И. Чагина «“Насквозь мужественный мир” Александра Гингера» (1995) в кн.: Чагин А.И. Пути и лица: О русской литературе XX века. М.: ИМЛИ РАН, 2008. С. 372.

⁴ Бахрах 1980: 144. Ср.:

«В 1960 году после долгой легочно-сердечной болезни скончалась жена. Для А<лександра> С<амсоновича> это было больше, чем ударом. Только встречая его после смерти Присмановой, я понял, что жить – именно *жить*, а не существовать они могли лишь вдвоем. Они не только дополняли, но и осуществляли друг друга: их души были близнецами. Стихов Гингер уже не писал <...>, не смеялся, весь ушел в себя, в свое горе. Да и прожил всего пять лет» (Померанцев: 59).

После произошедшего в 30-е гг. дорожного инцидента, в результате которого у Гингера, по вине водителя автобуса, была повреждена голень, они с Присмановой – на полученную от автобусной компании денежную компенсацию – приобрели небольшой домик на острове de Médan, расположенном на Сене неподалеку от городка Villennes-sur-Seine, примерно в сорока километрах от Парижа, и едва ли не каждое лето проводили там (в письме к И. Чиннову от 4 мая 1954 г. Присманова в шутку называет это место своим «поместьем»)¹.

Остров был известен тем, что туда съезжались «нудисты» – люди, для которых непосредственное общение с природой, вне искусственных покровов и предрассудков городской цивилизации, составляло часть их жизненной философии. Солнцепоклонник Гингер с его теорией поэтов как «слуг и воинов солнца» полностью разделял идеи целительной близости к природе (см. коммент. к его стихотворению «“Отец мой солнце, я с тобой сегодня...», сб. «Жалоба и торжество»). См. в одном из писем Г. Адамовича Гингеру и Присмановой (от 12 августа 1952 г.) из Манчестера:

Здесь жарко, у Вас на нудистском острове, верно, лучше².

Удовольствие от вонзающихся в тело солнечных лучей Гингер приравнивал к эротическому сладострастью и в приводимом в настоящем издании письме С.К. Маковскому (№ 1, от 25 апреля 1951 г.) писал, откликаясь на его стихотворение «Юг»:

Кстати, возвращаясь к «Югу»: самый, так сказать, предлог этих стихов мне очень близок, солнце, оливы... Это прямо не относится к Вашим стихам, а так, в порядке воспоминания: один из самых счастли-

¹ Письма запрещенных людей: 297.

² Письма Адамовича: 263. В. Крейд, опубликовавший это письмо, исходя из другого письма Г. Адамовича, к С. Прегель (от 26 июля 1964 г.), в котором тот сообщал, что «проводил Гингера на пароход в Корсику: он теперь в лагере “нудистов”» (Там же. С. 315), делает вывод, что и в первом случае имеется в виду Корсика. Однако, судя по всему, под «нудистским островом» (или просто «островом») в письмах Гингера и Присмановой (или к ним самим) говорится именно о Médan, см., к примеру, письма, приводимые в настоящем издании: Корвин-Пиотровским от 13 августа 1939 г. и 23 июля 1958 г.; письмо Н. Муравьева от 3 октября 1950 г.; записка Гингера к Кодрянской, написанная на почтовой открытке, изображающей этот самый остров, то же – его письмо Кодрянским от 2 сентября 1963 г.; письмо Н. Татищева от 15 июня 1955 г. и др.

вых моментов в моей жизни (это может даже показаться несерьезным) < – > это как в необыкновенно жаркий день в Ницце я пью на одном углу виноградный сок, который тут же выжимается из гроздьев, а солнце в это время печет (мою) голую спину. Это такое же сладострастье, как другое.

Люди, хорошо Гингера знавшие, писали о нем как о человеке «атлетического сложения», который «любил спорт, солнце, воздух...»¹, «хорошо бегал, знал всякие упражнения, вплоть до “жюдо”, и великолепно, без промаха, стрелял в цель в ярмарочных тирах»².

Одной из всепоглощающих страстей Гингера были карты, которые в системе его ценностей господствовали над всем остальным. «Фанатик» карточной игры (В. Яновский)³, он ставил ее, по крайней мере в своих стихах, выше тяги к вину и эротического влечения. По Гингеру, жизнью движет игровой азарт, а не инстинкт продолжения рода или какое-то иное «естественное» чувство; в его глазах основной «принцип удовольствия» приобретал форму щекочущего нервы испытания за зеленым столом. Любопытно самоопределение гингеровского героя-рассказчика (рассказ «Вечер на вокзале») как «писателя, игрока и иностранца (эмигранта)».

Гингер-игрок живописно запечатлен в мемуарах близко знавших и наблюдавших его людей. Как всякий человек, пишет Померанцев, Гингер

имел страстишку; таковой был покер, «совершавшийся» раз в неделю, в пятницу вечером. Для него это был священный вечер: никакая сила, никакие обстоятельства не могли удержать его дома в эти часы⁴. Игра иногда оканчивалась плюсом или минусом в несколько сот франков, что для того времени и для среднеемигрантского уровня было немало, и он вел строгую «бухгалтерию», подытоживая к концу года результаты,

¹ Газданов 1966: 130.

² *Терапиано Ю.* Памяти Александра Гингера // РМ. 1965. № 2359, 11 сент. С. 7. Правда, К. Терешкович в воспоминаниях о Гингере, публикующихся в настоящем издании, пишет, что, кроме бильярда, «другими видами спорта он интересовался только теоретически».

³ *Яновский В.С.* Поля Елисейские: Книга памяти. СПб.: Пушкинский фонд, 1993. С. 108.

⁴ Ср. в черновой версии воспоминаний Г. Газданова о Гингере (приведена в Приложении I):

– Гингер, приходите в пятницу вечером. – В пятницу? Вы же знаете, что это невозможно. – Нет, не знаю, почему? – В пятницу я играю в карты.

которые колебались какими-то десятками франков. Словом, покер приятно щекотал нервы и дорого не стоил¹.

О том же повествует Газданов:

Он был страстным игроком – всю свою жизнь.
– Многие не ценят Гумилева, – сказал он как-то. – А у него есть неплохие строчки. Вы помните?

И в заплеванных тавернах
С поздней ночи до утра
Мечут ряд колод неверных
Завитые шулера.

<...> – Я, вероятно, мог бы проиграть состояние, – говорил он. – Но это остается в сослагательном наклонении, потому что у меня его никогда не было².

Нет ничего удивительного, что Гингер неоднократно обращался к теме карточной игры в своих стихах, не упуская случая придать ей исключительный и всепобедный ореол («Славный стол», «Amours», «Покер», «Три страсти есть, которыми отвлека...»)³.

В меньшей степени, чем карты, но с той же неодолимой страстью, в которой упоение игрой, азарт и тщеславие сплелись в единый клубок, притягивал Гингера бильярд⁴, что подвигло Д. Кнута на создание такой насмешливой эпиграммы:

¹ Померанцев: 58.

² Газданов 1966: 130. Тема карточного (или бильярдного) проигрыша несколько раз возникает в письмах и воспоминаниях, включенных в настоящее издание, см. письмо Д. Кнута Гингеру (№ 1, от 19 ноября 1932 г.) или черновой вариант воспоминаний Г. Газданова о Гингере.

³ Отметим посвященное Гингеру «карточное» стихотворение Б. Заковича «Мы играли в карты до утра...» (приведено в разделе. Письма: Б.Г. Закович. Письма Гингеру и Присмановой). О возможном поэтическом споре с Гингером Д. Кнута (книга стихов «Сатир», 1929), в котором отстаиваются эротические основы человеческой жизни, см.: *Хазан Владимир. Довид Кнут: Судьба и творчество*. Lyon: Centre d'Études Slaves André Lirondelle Université Jean-Moulin, 2000. С. 54–55.

⁴ См. об этом в упомянутой выше черновой редакции газдановских мемуаров о Гингере. Ср. также в мемуарах К. Терешковича, включенных в настоящее издание (Приложение I):

«Среди нас Шура был единственным обладателем собственного кия, который он носил под мышкой в футляре».

О пародийных реакциях на Гингера-бильярдиста и бильярдную образность в его стихах см. Приложение I (Две пародии С. Луцкого на Гингера).

Был неразлучен с кием он!..
Но я задам вопрос суровый:
Ты, без сомненья, чемпион, –
Но киевый или киёвый?

Последняя строчка, не скрывающая обценного ехидства, судя по всему, пародировала, кроме того, обращаемый обычно к Гингеру, известному знатоку русского языка, вопрос: «Как правильно сказать?..»

При всей азартности своей натуры, к некоторым видам увлечений в эмигрантской среде, например к скачкам, Гингер оставался в целом равнодушен. Ср. в письме к нему Б. Божнева, ярого противника карточной игры:

Всё, что относится к картам – тяжело, как гири, и таяет на дно, недаром сукно зеленое, как ил – бывало – на картежных столах; или всё вокруг игроков – казалось аквариумом. <...> Отчего бы Вам не играть на скачках?? – ежели играть – ведь это живая жизнь, спектакль – традиция аристократическая и в то же время плебейская, и есть иерархия лошадей и искусство жокеев¹.

Гингер был страстным до упоения библиоманом, любителем живописи, имевшим множество друзей среди художников, понимал толк в музыке (следует заметить, что Присманова очень прилично играла на рояле), обожествлял спорт, много и охотно путешествовал – Францию, по словам его сына Basile'я, изъездил и исходил вдоль и поперек, коллекционировал марки (см. об этом в письме к нему Д. Кнута № 7, от 6 октября 1950 г. – в связи с приездом в Париж Я. Вейншала, том II. Письма), вообще имел склонность к собирательству – трубок, например (см. об этом в письме Присмановой Корвин-Пиотровским № 13, от 23 июля <1958>). Словом, являл собой разносторонне развитую личность...

* * *

Гингер относился к той группе поэтов-первопроходцев, кто гремел на «доисторических», по определению В. Яновского, вечерах² и

¹ Полностью приведено в томе II. Письма.

² *Яновский В. С.* Поля Елисейские. СПб.: Пушкинский фонд, 1993. С. 218.

кому принадлежит заслуга создания первых в эмиграции литературных объединений – «Гатарapak»¹, возникшей на его основе «Палаты поэтов» (кроме него, В. Парнах, М. Талов, С. Шаршун, Г. Евангулов) и группы «Через»², сыгравших на начальной стадии истории русской литературы в изгнании роль собирателя творческих сил. Первый сборник стихов Гингера, «Свора верных», появившийся в 1922 г. и отмеченный печатью экспериментального поиска, имел посвящение: «Моим товарищам по Палате Поэтов:

Георгию Евангулову
Валентину Парнаху
Марку-Людовику Талову
Сергею Шаршуну»³.

В стихотворении «Забавлявшийся травлей и рогом...», вошедшем во второй сборник, «Преданность» (1925), в котором нарисован один из излюбленных им образов охоты как творчества, Гингер для характеристики «своры» подобрал удивительно острый и меткий эпитет: «И у ног его *тесные* своры». В нем схвачено и сконцентрировано не просто некое скопление, чисто количественный индекс совместности, а именно «плотность», «тесность», «прижатость друг к другу», из чего вытекает не только внешнее, а именно внутреннее свойство соседства, со-дружества, близости, существования плечом к плечу, локоть к локтю, и далее, в переносном уже смысле, это состояние характеризует сугубо человеческие связи – единомыслия, конвенциональности, взаимопонимания, предельной дружеской верности и преданности. Отсюда, кстати, берет исток и очень важная лирическая мотивика гингеровской поэзии, ср. сами заглавия стихотворений и даже целых сборников стихов: «Верность», «Преданность».

¹ О происхождении этого названия см. в воспоминаниях К. Терешковича о Гингере.

² См. о ней: *Шаршун Сергей*. Мое участие во французском дадаистическом движении // Воздушные пути. V. Нью-Йорк, 1967. С. 173; *Ливак Леонид*. «Героические времена молодой зарубежной поэзии»: Литературный авангард русского Парижа (1920–1926) // Диаспора: Новые материалы. Т. 7. СПб.; Париж: Atheneum-Феникс, 2005. С. 150–156 и др.

³ Сборник «Свора верных», по свидетельству И. Чиннова, был окрещен Г. Раевским «Стаей скверных» (*Чиннов И.В.* Собрание сочинений: В 2-х томах. Т. 2. М.: Согласие, 2002. С. 91); по забывчивости Чиннов называет сборник «Стаей верных».

Важную роль в изучении этого феномена – «своры верных» – литературного образования из «парижских старожилов»¹ и молодых эмигрантских поэтов – имеет поэтика стихотворных посвящений, которые они, по принятым законам творческих конвенций, адресовали друг другу. Так, например, в настоящее издание включено не публиковавшееся при жизни Гингера его стихотворение «Валентину Парнаху»; В. Парнах, в свою очередь, посвятил Гингеру стихотворение «Театр ужасов», вошедшее в его сборник стихов «Карабкается акробат» (Париж, 1922. С. 48–50), описывающее драму-буфф «Театр ужасов», поставленную П.К. Вейсбремом в виде пантомимы в т.н. «Театре на столах»² – сценической студии, «квартировавшейся» в начале 20-х гг. в парижском кафе «Caméléon» (146, Bd. du Montparnasse)³. П.К. Вейсбрем, игравший в годы становления молодого авангардного искусства эмигрантов весьма заметную роль, а затем вернувшийся в советскую Россию, является адресатом посвящений и В. Парнаха («Эйфелева башня»), и Гингера («Преданность»)⁴. Разворачивать эту – посвячительно-диалогическую – тему вширь и вглубь и на этой основе обнаруживать новые «узелки» человеческих и творческих связей участников «своры» представляется крайне увлекательной задачей, в особенности если иметь целью обнаружить некие общие творческие дискурсы русской литературы в изгнании.

Попавший на чужбину в 22-х летнем возрасте, Гингер разделял те этические, социальные и психологические конвенции, которые сложились в опыте молодого поколения эмигрантов, составлявших «левое» крыло литературы, и, очевидно, мог целиком и полностью подписаться под словами Г. Евангулова, входившего в его творческий и дружеский круг и писавшего в Открытом письме к А. Крайнему (З. Гиппиус) буквально следующее:

¹ Юлиус Анатолий. Русский литературный Париж 20-х годов // Современник. 1966. № 3, июнь. С. 85.

² См.: ПН. 1921. № 486, 16 нояб. С. 3. В качестве исполнителей в представлении были заняты: В. Парнах, Г. Евангулов, Д. Фиксман-Кнут и К. Терешкович (*Морар А. Валентин Парнах, Марк Талов и Сергей Шаршун («Парижские старожилы» между Францией и Россией) (1920–1923 гг.) // От Бунина до Пастернака: Русская литература в зарубежном восприятии: К юбилеям присуждения Нобелевской премии русским писателям: Международн. научн. конф., Москва, 16–19 ноября 2009. М.: Русский путь, 2011. С. 162, 164).*

³ См. ней: Кнут I: 264.

⁴ См. о нем в комментарии к этому стихотворению.

... Я завидую старшим писателям, которые могут орудовать старым бытом. Там больше простора, там больше данных, чтобы описать подлинных, близких нам героев. Они, старшие писатели, наблюдали их, жили меж них, изучали, болели их горестями и радостями.

Но как быть нам, которые наблюдать-то научились здесь, в эмиграции. Как быть нам, у которых окружение жизни – «за-граница», как быть нам, которым доступнее быт французов, негров, китайцев, чем тот – *наш*?¹

Как можно думать, у Гингера не было каких-то определенных поэтических учителей – его талант до такой степени своеобразен и ни на кого не похож, что если бы ему пришлось писать традиционную книгу «*Mentors de ma jeunesse*», трудно предугадать, какие там могли появиться имена. Несомненно, на него, как и на всех молодых «русских парижан», проявлявших в своем творчестве склонность к поэтическому эксперименту, повлиял европейский и русский авангард – Аполлинер², дада, сюрреалисты, футуризм, те, как сказал бы М. Фуко, «эпистемы», которые были рождены духом времени. Однако влияние это было скорее общим, одновременно тотальным и неотчетливым, и, в отличие, скажем, от Б. Поплавского, трудно с точностью определить, в чем непосредственно, в каких конкретных поэтических формах оно у Гингера проявилось.

Говоря о предшественниках Гингера по линии русской поэзии, обычно называют имена В. Третьяковского, К. Державина, Е. Баратынского, Ф. Тютчева, В. Бенедиктова, Н. Гумилева, В. Хлебникова... Так, М. Слоним находил гумилевскую интонацию в концовке стихотворения «Всею душой полюбила душа моя...»: «Я привет под испорченным зонтиком / Голоском восклицаю скопца / Мореплавателям и охотникам, / Путешественникам и борцам»³, что, по всей видимости, напоминало ему следующее место из «Памяти» Гумилева:

Я люблю избранника свободы,
Мореплавателя и стрелка...

¹ *Евангулов Георгий*. Открытое письмо Антону Крайнему // ПН. 1926. № 2066, 18 нояб. С. 3.

² О влиянии Аполлинера на Б. Поплавского и Гингера писал близко их знавший Н. Татищев, – в их стихах он находил музыку книги «Алкоголь» (*Татищев Николай*. Письмо в Россию. Париж: YMCA-Press, 1972. С. 220).

³ *Слоним Марк*. О молодых поэтах // ВР. 1930. № 4. С. 365.

Среди гингеровских «учителей» одним из первых необходимо, конечно, назвать фаворитнейшего для всего его поколения А. Блока, поэтическим дыханием которого («На поле Куликовом») отмечен образный мир первого сборника, «Своры верных», – табунный, копытный, несущийся вскачь, раздольно-степной, ковыльный. Не будь он даже маркирован стихотворением «Памяти Блока», эти «блоковские» мотивы распознавались бы в нем безошибочно.

Если шагнуть за пределы русской поэзии в мировое пространство философской мысли, в числе первоначальных для него учений и книг, под сенью которых протекали интеллектуальные досуги Гингера, необходимо назвать Буддхархарму (Учение Будды), Плотина, «Утешение философией» Боэция, Франциска Ассизского...

Несмотря на некоторое превосходство в возрасте по отношению к своему окружению, к другим «зародышам», или «подстаркам», как их прозвала З. Гиппиус (так, он был почти на год старше Б. Божнева, на три – Д. Кнута, на четыре – В. Свешникова-Кемецкого, на шесть – Б. Поплавского и пр.), и факт своего поэтического «старшинства» (к 1925 г., когда возник Союз молодых писателей и поэтов, Гингер был уже автором двух поэтических сборников: упомянутой «Своры верных» и «Преданности» (1925)), а также некоторую силу «учительского» авторитета¹, воспоминания и дневниковые записи современников запечатлели образ вовсе не самоуверенного, а напротив, застенчивого человека, который, вероятно, именно в силу этого был склонен к несколько экстравагантному и даже эпатажному поведению.

Эпитет «застенчивый» по отношению к Гингеру употребляла, например, Г. Издебская², вспоминая ранние эмигрантские годы:

¹ Ср. со свидетельством Ю. Терапиано:

«Несмотря на небольшую разницу возраста, в двадцать пятом году Александр Гингер был уже старшим, известным поэтом» (*Терапиано Ю.* Памяти Александра Гингера // РМ. 1965. № 2359, 11 сент. С. 6).

² Галина Станиславовна Издебская (урожд. Гусарская; 1893–1955), прозаик, поэтесса, переводчик, журналист. Служила в Париже секретарем при представительстве Нансеновского комитета в Лиге Наций. Печаталась во французской прессе, ей также принадлежат несколько книг прозы и стихов по-французски. В качестве переводчика на французский язык обращалась к поэзии А. Ахматовой, О. Мандельштама, Б. Пастернака, М. Цветаевой, И. Эренбурга; в 1935 г. вышел сборник ее переводов В. Маяковского «C'est de nous que parlait la terre». В годы II-й мировой войны переехала в США. В 1943 г. в Нью-Йорке увидел свет сборник ее рассказов «Встреча». Ее воспоминания о «Гатарапак», выдержка из

Большой симпатией аудитории пользовался Александр Гингер, которому подсказывали, когда он с застенчивой улыбкой подымался, чтобы читать свои стихи:

Просительной не простираю длани¹.

Публичную неуверенность Гингера, маскирующуюся под эпатажность, отмечала в своем дневнике художница И. Карская (запись относится к апрелю 1930 г.):

Вчера был Гингер, странный, жалость, неуверенность, желание épater les gens², хорошая память, что-то не понравилось³.

О застенчивости Гингера вспоминал художник К. Терешкович (см. Приложение I):

Забота Гингера о своей внешности озадачивала не меня одного. Вероятно, было в этом что-то похожее на желание замаскировать свою застенчивость.

Прикрывая застенчивость эксцентричностью, Гингер подчас шокировал людей, близко с ним не знакомых, поскольку очевидным образом нарушал даже те широкие границы своеволия – во внешнем виде, одежде, манерах и пр., – которые были приняты в небогатой эмигрантской среде.

Трудно найти нужные слова, – писал хорошо знавший Гингера Г. Газданов, – чтобы сказать о жизни и смерти этого удивительного человека. Он был ни на кого не похож, ни в чем, начиная с манеры говорить и кончая манерой одеваться. Его неожиданные, срывающиеся интонации и четкое разделение фраз в разговоре, фонетические подъемы и провалы в чтении стихов – так никто не говорил и не читал, кроме

которых приводится далее, как любые воспоминания вообще, не свободны от некоторых неточностей. Так, например, Издебская упоминала имя Ю. Терапиано в числе участников «Гатарапак», хотя в это время его еще не было в Париже; сам же Терапиано указал на данную неточность, см.: *Терапиано Ю.* Ответ на письма читателей // НРС. 1953. № 14904, 15 февр. С. 8.

¹ *Издебская Галина.* «Гатарапак» // НРС. 1953. № 14863, 5 янв. С. 3.

² Эпатиловать людей (*фр.*).

³ *Вишневский Анатолий.* Перехваченные письма: Роман-коллаж. 2-е изд., с измен. и доб. М.: ОГИ, 2008. С. 186.

Гингера. И никто не одевался, как он. Зимой он носил вместо пальто какую-то удивительную накидку, сшитую по специальному заказу, похожую на шинели начала девятнадцатого века в России и, конечно, единственную в Париже¹. Под пиджаком плотной материи у него была клетчатая рубашка без галстука, на ногах башмаки с необыкновенно толстой подметкой, которые можно было купить только в одном магазине, в районе, где живут барышники и конюхи. И в таком виде он мог идти в гости, к друзьям или на литературный вечер².

Тот же гингеровский костюмированный «маскарад» вспоминал в его некрологе Ю. Терапиано, писавший о том, что он носил

... то – длинные бакенбарды, то – спортивный костюм с альпийскими башмаками на каком-нибудь чинном литературном собрании, где требовался темный костюм и т.д.³

По манере противостоять обыденным нормам и вкусам Гингера можно было сравнить с еще одним «записным оригиналом», его близким приятелем Б. Божневым, так же, как и он, облакавшим свое поведение в некие «экстра-» или даже «анти-нормы».

Основное качество Б<ориса> Б<орисовича> Б<ожнева>, – вспоминал В.Б. Сосинский, – это была оригинальность. Оригинальность во всем; в костюме: целлулоидный высокий воротник с загнутыми уголками, впившимися в подбородок; галстук либо бабочкой, либо шнурком, либо еще большим черным шелковым бантом; узкий в талию сюртук, застегнутый на все пуговицы; онегинские брюки со штрипками; лакированные туфли. Лицо? Классическое, гордое, правильное – тонкие усики⁴.

¹ По всей видимости, именно ее имел в виду Г. Адамович, когда спрашивал Гингера в своем письме к нему:

«Как Ваше здоровье? Софочка <Прегель> сообщила мне, что Вы “невыносимы”, никого не слушаетесь, никаких лекарств не принимаете и ходите на морозе в своей размахайке, возбуждая ужас прохожих» (Письма Адамовича: 316).

² Газданов 1966: 126.

³ Терапиано Ю. Памяти Александра Гингера // РМ. 1965. № 2359, 11 сент. С. 6. Ср. в воспоминаниях А. Бахраха: «Его странности были более внешними, чем внутренними и, собственно, были безобидными: то он наращивал какие-то взъерошенные баки, то появлялся в одежде альпиниста» (Бахрах 1980: 141).

⁴ См. приводимый в настоящем издании (с. 65) портрет Гингера работы К. Терешковича (1921), на котором он изображен в *pendant* Божневу: тонкие усики, бабочка.

То Аполлинер, то Бодлер, то Рембо, а то вдруг гибрид Брюсова с Бальмонтом времен первой революции¹.

О гингеровско-присмановской эпатажности впоследствии рассказывала вернувшаяся в Советский Союз эмигрантская поэтесса М. Вега, описавшая проводившийся в Париже зимой 1937 г. вечер, посвященный Пушкину,

где Присманова и Гингер появились, прошествовали через полный зал к своим местам где-то в первых рядах, изображая Натали и Пушкина. Она, остролицая и худощавая, – со старомодно завитыми буклями и в глубоко декольтированном вечернем платье. Он, как отмечали мемуаристы, обладавший характерной провинциально-еврейской внешностью, крепко сложенный, среднего роста, но рядом с хрупкою женой казавшийся крупным, – с пышными бакенбардами и во фраке. Публика украдкой прыскала в кулаки. Они же хранили совершенную невозмутимость².

В этом поведении супругов, отличающемся от привычных общих норм, не было, однако, нарочито-подчеркнутого, показного желания выделиться, блеснуть, удивить, будь то стихи, одежда или реакция на происходящие события, – скорее срабатывал присущий характерам обоих органический инстинкт³. Люди, чьему впечатлению можно безусловно доверять, утверждали, что

¹ Цит. по: *Витковский Евгений*. Борис Божнев // Встречи: Альманах: Ежегодник. 2002. № 26. С. 114.

² *Перельмутер Вадим*. Под созвездием Близнецов: (Анна Присманова и Александр Гингер) // Октябрь. 1996. № 11. С. 120.

³ Мишель Карский, сын близких друзей Гингера и Присмановой Иды и Сергея Карских, вспоминает (из письма составителю настоящего издания):

Мое первое воспоминание о Присмановой датируется июнем 1940 года, временем, когда французское правительство, возглавляемое Петеном, подписало акт о капитуляции. Я находился тогда с мамой в Оверни. Кроме нас, в том же доме, очевидно, арендованном на лето, жили Присманова, молодая женщина по имени Шарлотта, моя первая учительница музыки, и еще, как помнится, наши друзья – супружеская пара André и Andrée Collié. Часов в 8 или 9 утра Шарлотта стремительно сбежала по ступенькам вниз в гостиную (это был простой крестьянский, отнюдь не фешенебельный дом) с криком: «Мы подписали капитуляцию, мы подписали капитуляцию», что, по сути, означало: «Мы проиграли войну». В этот момент Присманова, которая поднималась не раньше 11–12 часов, открыла дверь своей комнаты и не без раздражения сказала: «Неужели вы не могли сообщить об этом чуть позднее, чтобы не будить меня?»

Гингер не притворялся и не искал оригинальности. Он просто не шел на компромиссы, на уступки: одеваться надо так, в стихи не следует включать некоторые слова, уместные только в прозе. И в преломлении его восприятия всё менялось и приобретало особый характер¹.

Чудачества и экстравагантность Гингера были внешним выражением тонкой и глубокой природы художника, ее естественного склада и состава. Недаром, по свидетельству очевидцев, Гингера боготворил юный Борис Поплавский, ходивший «за ним как тень, – и в буквальном и в переносном смысле этого слова»². Известно, что Гингер стал прототипом (или скажем несколько мягче и деликатней: определил некоторые черты) Аполлона Безобразова, героя одноименного романа Поплавского.

Внутренняя, непоказная сторона экстравагантности Гингера – застенчивость и нарочитая непубличность, по-видимому, вполне органично корреспондировали с его поразительной незаинтересованностью во внешнем успехе, отсутствием рвения с пеной у рта отстаивать собственную правоту, дискутировать, «выяснять отношения» и пр., – и всё это на фоне редкостно азартной природы, не просто, стало быть, не лишенной самолюбивых черт, но, напротив того, живущей с постоянным желанием играть и отыгрываться и, значит, доказывать свое самостоянье, первенство и превосходство.

Следует в этой связи отметить, например, полное отсутствие у него интереса и тяги к литературно-критической деятельности – случай вообще-то крайне редкий на русском Монпарнасе, где, кажется, все, помимо стихов и прозы, писали рецензии, эссе и критические очерки – охотно оценивали и критиковали друг друга. Хотя Гингер, скорее всего в силу именно этой инерции, назван в «Кратком биографическом словаре русского Зарубежья» «поэтом, прозаиком и литературным критиком»³, кроме публикуемых в данном издании двух статей – «О разновидностях русского пятистопного ямба» и «Русский язык и литература во Франции» – нам неизвестны никакие другие его опыты в этом жанре.

¹ Газданов 1966: 127.

² *Тератиано Ю.* Памяти Александра Гингера // РМ. 1965. № 2359, 11 сент. С. 7.

³ См. приложение к кн.: *Струве Г.П.* Русская литература в изгнании. 3-е изд., испр. и доп. Париж: YMCA-Press; М.: Русский путь, 1996. С. 299 (авторы: Р.И. Вильданова, В.Б. Кудрявцев, К.Ю. Лаппо-Данилевский).

В 1923 г. гингеровское стихотворение «Ветер» было опубликовано в 3-м выпуске московского альманаха «Недра», и на этом интерес к эмигрантскому поэту с «того берега» иссяк: ни его текстов, ни вообще каких-либо упоминаний о нем в течение примерно семи десятилетий в советской печати не было – ни хороших, ни плохих (кстати, Анна Присманова упомянута в 1926 г., разумеется, не без полагавшегося ехидства, в обзоре эмигрантской поэзии в боевом советском журнале «На литературном посту»¹).

В 1926 г. Гингер был привлечен к участию в журнале «Новый дом», выходившем под редакцией Н. Берберовой, Д. Кнута, Ю. Терапиано и Вс. Фохта (в 1926–1927 гг. вышло 3 номера), – так, по крайней мере, было объявлено в рекламе самого журнала. Из письма Гингера Н. Берберовой, одному из редакторов «Нового дома», известно, что и он, и Присманова отправили в журнал свои стихи:

Многоуважаемая Нина Николаевна

В.Б. Фохт сказал нам, что можно доставлять Вам материал для нового журнала. Здесь 2 стихотворения Присмановой и 1 мое. Если они не подойдут, не откажите сообщить нам, мы тогда дадим что-нибудь другое.

Уважающий Вас Александр Гингер²

И хотя ни гингеровские, ни присмановские тексты в «Новом доме» не появлялись, «бдительная» Гиппиус отреагировала на рекламный анонс журнала довольно воинственно. В письме к Ходасевичу от 19 октября 1926 г. она писала:

Затем должна вам сказать, что в публикациях о Нов<ом> Доме я усматриваю нечто огорчительное, хотя и не совсем понятное. Откуда вдруг появился там Гингер, да еще с женой, столь заведомой большевичкой? Если они там ради младости своей, то мне казалось, что это качество Нов<ого> Д<ома> не перворешающее; если бы так, то что мы там, двое одиноких стариков, будем делать, хотя бы и с помощью третьего взрослого мужа – вас? Роль чистого «покровителя» молодежи меня

¹ *Волин Бор.* Эмигрантская поэзия // На литературном посту. 1926. № 3, май. С. 21.

² Hoover Institution Archives. Stanford, California. B. Nikolaevsky Coll. Box 402. Folder 50. Заслуга обнаружения этого письма, находившегося среди писем неустановленных лиц, принадлежит А. Устинову.

никогда не пленяла, для педагогики у меня нет достаточного бескорыстия (о Д<митрие> С<ергеевиче> уж и не говорю!), а почетный билет на звание «бабушки русского декадентства» – хорошо, но за «почестями» я вообще мало гонюсь... Объективно же мне будет жаль, если Нов<ый> Д<ом> соскользнет к принадлежавшему типу «журнала молодых» с «эмигрантскими» запросами и наставлениями первичного свойства + поощрением вредных и безвредных, но молодых оболтусов¹.

И в следующем письме ему же (24–25 октября 1926 г.), вновь касаясь Гингера, замечала:

Насчет Гингера я не очень удовлетворена. Если он исправится (могу себе представить, хотя мало), всегда было время его напечатать, а в списке-то зачем?²

В том же 1926 г. за стихотворение «О нехорошем горе несуразном» (в дальнейшем, под названием «Перстень», включено в его сборник «Жалоба и торжество») Гингер получил по читательским оценкам вторую премию (100 франков) на литературном конкурсе, устроенном еженедельником 3; первое место занял Д. Резников со стихотворением «Любовь, ты лоцман корабля»³. (Многие годы спустя Гингер устроится корректором в типографию, принадлежащую Д. Резникову, см. об этом в прим. 1 к письму Гингера В. Булич, № 11.)

В 1929 г. Гингер на правах соавтора принял участие в дадаистском журнале-листочке С. Шаршуна «Перевоз» № 10, чем вызвал критический огонь своего ближайшего окружения, см. письма к нему Б. Божнева (№№ 1–3), с приписками В. Андреева и С. Луцкого, печатающиеся в настоящем издании. Тем не менее его сотрудничество с Шаршуном продолжалось: он принял участие и в последующих выпусках «Перевоза» № 11 и № 12, опубликованных в журнале Ч (принадлежащие Гингеру части включены в настоящее издание, раздел «Коллективное творчество»).

¹ *Гиптиус Зинаида*. Письма к Берберовой и Ходасевичу / Ed. by E. Freiburger Sheikholeslami. Ann Arbor: Ardis, 1978. С. 66.

² Там же. С. 68.

³ Стихи, присланные на конкурс, печатались в 3 без имени автора, а только под избранным авторским девизом, под которым оно присылалось на конкурс. Стихотворение Гингера опубликовано под девизом «Раб Бога и моего слова» в 3 (1926. № 158, 7 февр. С. 7), итоги конкурса с раскрытыми именами поэтов приведены в 3 (1926. № 162, 7 марта. С. 5).

Третий сборник стихов Гингера, «Жалоба и торжество», вышел через 14 лет после «Преданности», в 1939 г., подчеркнув и самой этой временной лакуной, и эпизодически нечастым появлением Гингера в эмигрантской литературной жизни вообще ощутимое – по сравнению с ранними 20-ми гг. – падение его творческой активности. Пытаясь разобраться в причинах этого явления, Ю. Терапиано, одновременно и задаваясь вопросом, и свидетельствуя, впоследствии писал:

Трудно сказать с уверенностью, почему с конца 20-х годов и до самого послевоенного времени, т.е. как раз в эпоху расцвета парижской молодой литературы и «парижской ноты», Гингер перестал приходить на литературные собрания и собеседования и даже редко печатал свои стихи в тогдашних литературных изданиях¹.

Впрочем, тот же Терапиано в другом месте объясняет, отчего одно из самых популярных и посещаемых мест в культурной жизни русского Парижа – «воскресенья» Мережковского и Гиппиус – для Гингера и Присмановой закрылось и стало невозможным для их присутствия уже в самом начале своего возникновения:

Во время их первого знакомства с Мережковскими на одном из «Воскресений», – рассказывает он, – Мережковский, считавший, что внешность человека, а особенно его лицо, выражает «самое в нем сокровенное», и восхитившись необычайной внешностью Гингера и Присмановой, столь неуклюже и даже бестактно выразил свой восторг, что оба они обиделись – и больше никогда у Мережковских не бывали².

Разумеется, не этот эпизод повлиял на относительно нечастый характер появления Гингера на литературно-общественной сцене и на его невысокую в сравнении с другими творческую продуктивность³.

¹ *Терапиано Юрий*. Литературная жизнь русского Парижа за полвека (1924–1974): Эссе, воспоминания, статьи. Париж; Нью-Йорк: Альбатрос–Третья волна, 1987. С. 228.

² Там же. С. 133.

³ Возможно, довольно скромным в количественном отношении литературным наследием Гингер подвиг современных составителей и комментаторов приписать ему еще один – несуществующий – сборник стихов, названный по одному из его стихотворений – «Верность», выход которого якобы состоялся в 1965 г., см.: *Бунин И.А.* Публицистика 1918–1953 годов / Под общ. ред. О.Н. Михайлова. М.: Наследие, 1998. С. 554; *Русский Париж* / Сост., предисл. и коммент. Т.П. Буславковой. М.: Изд-во МГУ, 1998. С. 425 (указатель составлен Е.М. Домогацкой).

Главную причину гингеровского «эскапизма в себя» всё тот же Терапиано связывал с тем, что,

чрезвычайно ценя (и переоценивая, на наш взгляд) поэзию своей жены Анны Присмановой, Гингер был занят главным образом ее литературными делами – и забыл о себе. Он, можно было думать, сознательно отошел в сторону, чтобы уступить дорогу Присмановой¹.

Вряд ли, однако, стоит слепо доверять этому явно одностороннему и по-своему, возможно, достоверному, но крайне упрощенному, «житейскому», что ли, взгляду современника, который не только не объясняет, как и в какой форме «созерцатель» и «очарованный странник» Гингер, страшившийся любого рода бытовой прозы и всячески избегавший «устройства дел», «был занят главным образом» «литературными делами» Присмановой², но и главное – подобная логика не позволяет уловить смысл, характер и значение самой жертвы, по крайней мере в том виде, как это обрисовано у Терапиано³.

¹ Терапиано Юрий. Литературная жизнь русского Парижа за полвека (1924–1974). С. 228–229. Современный исследователь ошибочно приписывает эти слова И. Чиннову, см.: Письма запрещенных людей: 310.

² Это утверждение, что нередко бывает, некритически подхваченное, оказалось тиражировано теми, кто пишет о Гингере, см., напр.: *Винокур Надежда*. «Я верю, что ничто не исчезает бесследно...» // *Vestnik* (Baltimore). 2004. № 21 (358). October 13. С. 51–52; ср. с более «риторическим», нежели фактическим, сомнением: «Может быть, какая-то правда в этом и есть, хотя кто знает, что значит в поэзии – “уступить дорогу”» (*Чагин А.И.* Пути и лица: О русской литературе XX века. М.: ИМЛИ РАН, 2008. С. 367). Повторяя за Терапиано эту мысль и даже (вероятно, для того, чтобы читатель проникся ее важностью и глубиной) выделяя ее курсивом, автор компилятивной работы «Поэзия белой эмиграции» вполне серьезно пишет о том, что «Гингер на правах признанного русским Парижем поэта (в 1925 г. выходит вторая книга его стихов *«Преданность»*) сумел ввести никому не известную Присманову в литературную жизнь столицы зарубежья и главное – *обеспечить ее присутствие в этой литературной жизни*» (*Зобнин Ю.В.* Поэзия белой эмиграции: «Незамеченное поколение». СПб.: СПбГУП, 2010. С. 168). Как же ему это удалось? – на этот вопрос ответа мы не получаем, исключая разве то не лишнее, разумеется, здравого смысла обстоятельство, на которое указывает тот же автор: устроившись бухгалтером и взяв на себя заботу о материальных делах семьи, Гингер освободил любимую жену для поэтического творчества. Резон, безусловно, в этом есть, но стоило ли из-за столь неглубокой мысли тратиться на глубокомысленный курсив и пышность слога – «обеспечить ее присутствие в <...> литературной жизни»?

³ Особо в этой связи следует подчеркнуть лишь то, что Гингер, сам человек с развитым художественным чутьем, всецело доверял поэтическому вкусу жены, см., к примеру, в его письме В.Л. Корвин-Пиотровскому (№ 2, от 5 февраля 1940 г.), где

Полагаем, что объяснение творческой скупости Гингера нужно искать главным образом в самом – достаточно непростом и отчасти несомненно экстравагантном – характере и взглядах этого человека, склонного к отшельничеству и самоизоляции, к замкнутому, морально и философски самодостаточному существованию, без парадной шумихи, предполагающей суетность и вмешательство чужих в свои дела. В истории литературных объединений, возникавших в эмиграции, начиная со второй половины 20-х гг., Гингер стоит несколько особняком, существует как бы «сам по себе», и это при том, что в энтропическом космосе изгнаннической литературы, где радость зачастую вымещалась печалью, оптимизм – чувством тревоги и безнадежности, жажда бытия – «борьбой за несуществованье», его поэзия выглядит вполне органичной и релевантной. И тем не менее непреложным остается тот факт, что в первые годы после своего появления в Париже, когда все будущие отношения только возникали и завязывались, а картина литературной жизни лишь складывалась, Гингер проявлял гораздо больше творческой активности, чем в последующие, в особенности в послевоенные годы¹.

И вот что в этой связи представляется в особенности существенным и важным. Гингеровская поэтика, сложившаяся в ранние 20-е гг., по существу в период его творческого ученичества, крайне непросто вписывалась в тот литературный «ландшафт» и «интерьер», каковой, приобретя во второй половине 20-х гг. окончательную силу и инерцию, отражал, говоря несколько упрощенно, победившие в эмиграции тенденции классического искусства. Представители «левых», авангардных течений, к которым примыкал Гингер и внутри которых он позиционировал себя как поэт, были сильно потеснены и в конце концов едва ли не полностью вытеснены со сцены – как в идеологическом, так и в эстетическом отношениях. Тот же Терапиано в обзоре молодой парижской поэзии, касаясь стихов Б. Божнева и Гингера, писал в 1926 г. об их «патологических отклонениях», «нарочитой нездоровости» и игре «совершенно непозволительной терминологией».

он пишет о том, что если Присманова забракует его стихотворение, он не станет отправлять его в печать.

¹ См., напр., в письме И. Чиннова Ю. и Т. Иваскам от 25 января 1950 г.: «Гингер в прошлом – забавы чудака-“отшельника”» (*Чиннов И.В.* Собрание сочинений: В 2-х томах. Т. 2. М.: Согласие, 2002. С. 162).

В своей книге «Преданность» Александр Гингер, – подчеркивал критик, – как будто бы нарочно, смешал стихи и строфы высокого тона вместе с чудачествами, оригинальничанием, нарочитым косноязычием. Чему же он воздает дань? Стремлению ли эпатировать буржуа, или убедить самого себя в том, что черное бело? Поветрию ли 22–23 года парижских кружков?..¹

Как кажется, одна из коренных и подлинных причин поэтической скупости Гингера, не игравшего в оригинальность, а реально представлявшего собой тип «инакомыслящего», видится именно в том, что «поветрие» ранней эмигрантской эпохи с ее тягой к творческому эксперименту не превратилось в дальнейшем в mainstream беженской литературы, в целом не привилось и осталось только поветрием, хотя и представляющим крайне небезынтересное явление в истории русского (а возможно, не только русского) литературного авангарда². Возможно, именно об этом – о времени эпигонства, пришедшем на смену «героической эпохе» эмигрантской литературы, писал Л. Гомолицкий, отмечая в рецензии на К-3, в котором было напечатано стихотворение Гингера «Сердце», характерное для парижских поэтов «неизлечимое ныне творческое малокровие».

В чем причина его? – задавался вопросом Л. Гомолицкий. – Отдохнуть от былой эпохи новаторств (только теперь мы понимаем, каких значительных и головокружительных), от испытаний «огнем и бурей» было достаточно времени. Может быть, это с трудом изживаемый общий «фон» эпигонского периода, когда все созданные в прошлом ценности превращаются в фетиши, когда ошибочно кажется, что «вечные» (или в «вечные» нами произведенные) творили прямо «для вечности». Отсюда ложное заключение: избегая случайного, еще не испытанного, невечного, мол, и мы будем причислены к лику бессмертных³.

«В защиту» Гингера, однако, следует сказать, что хотя он со временем менялся, эволюционировал, но нечто коренное в его поэзии

¹ *Терапиано Ю.* Парижские молодые поэты // СП. 1926. № 12/13. С. 45.

² Позднее, в рецензии на сборник стихов Гингера «Весть», Ю. Терапиано писал: «Необходимо сказать, что именно это новое течение <классическое, антиавангардное> вызвало интерес у посетителей поэтических вечеров и как-то затмило собой предыдущие группировки, в том числе и то поэтическое течение, которое олицетворял Гингер», который «без спора и без попыток отстаивать свою идеологию просто отстранился, отошел в сторону» (*Терапиано Ю.* О «Вести» Александра Гингера // НРС. 1957. № 15919, 27 янв. С. 8).

³ *Гомолицкий Л.* «Круг» // Меч. 1938. № 37, 18 сент. С. 6.

оставалось неизменным. М.В. Талов, покинувший Париж весной 1922 г. и вернувшийся в Россию, не имевший о Гингере более 30 лет почти никаких известий и лишенный возможности следить за его поэтическим развитием, прочитав его сборник «Весть» (1957), писал автору из Москвы (письмо датировано 2 декабря 1964 г. и полностью приведено в томе II. Письма):

Книжка – весьма интересная. Узнаю ее почерк. Ее легко отличить от книг других поэтов по Вашей манере письма. Стихи глубокие и своеобразные. Свой словарь, которым отличалась уже первая книжка – «Свора верных». По всему видно, что Вы укротили Пегаса и крепко держите его за уздцы.

Примечательно, что, преодолев со временем «детскую болезнь левизны» в поэтике и обнаружив немало тенденций и влечений к «прекрасной ясности», к строгому классическому стиху, Гингер и в поздние годы тщательно оберегал свой словарь: использование анти-нормативных словесных форм, покушения против общепринятой грамматики, оставаясь его яркой поэтико-языковой особенностью, явно восходило к ранним авангардистским опытам со словом. Готовя в 1965 г. к печати итоговый сборник стихов «Сердце», он писал в одном из писем С.Ю. Прегель:

Когда я получу корректурные оттиски, я думаю позволить себе просить Вас прочесть их со своей стороны независимо от меня (я надеюсь иметь 2 колоды). Но Вам надо будет принимать во внимание особенности орфографии и пунктуации: я взял заранее кое-что из того, что давно напрашивалось и что будет принято и официализовано в близком будущем (9/10 реформы я оставляю в стороне). Я пишу: пошол, лишон, заглушон, лжот, Аполон, Изабела, колонада, акуратный; вногу, попути, начто¹...

В этой последовательно и настойчиво проводимой Гингером мысли об изоморфности звучащего и письменного слова, которую, по его убеждению, рано или поздно должна установить языковая реформа, сказывались лингвистические взгляды, сложившиеся в самом начале литературного пути.

Другая немаловажная сторона низкой продуктивности Гингера-поэта точно и лапидарно была очерчена Г. Адамовичем в его рецензии

¹ Полностью приведено в томе II. Письма.

на ту же самую «Весть», о которой писал Талов. Адресуясь к тому обстоятельству, что в сборник включено всего 12 стихотворений, а сами они охватывают, как значится на обложке 1939–1955 гг., критик замечал: «Это сначала удивляет: меньше, чем по одному стихотворению за год», и переводил далее разговор в плоскость художественного метода поэта, в котором требовательность и отбор стали главными формами и творческой стратегии, и творческой практики¹.

Наверняка существовали в этом загадочном феномене гингеровской «поэтической скупости» и какие-то иные мотивы и основания, определяя которые, например, А.В. Бахрах, вовсе не склонный к убийственной однозначности и к долго не мудрствующим суждениям, в данном случае, однако, сводил всё к обыкновенной лени², а упомянутый выше М. Талов указывал на душевную апатию и призывал поэта к ее решительному преодолению (см. его письмо Гингеру от 18 июня 1964 г.)³.

Разумеется, отмечаемый общественно-литературный изоляционизм Гингера и Присмановой носил достаточно относительный характер и имел вполне определенные границы, – по большому счету супруги являлись неотъемлемой частью культурной жизни «русского Парижа». Настолько неотъемлемой, что в некоторых воспоминаниях, подчеркивающих это, наблюдается желание перейти, как кажется, за достоверные пределы.

¹ *Адамович Георгий*. «Весть» – стихи поэта // РМ. 1957. № 1011, 31 янв. С. 4. Адамович, безусловно, относился к Гингеру с симпатией, признавая в нем подлинного поэта, о чем писал не раз, что не помешало ему определить его (правда, не в публичном месте, а в личном письме Ю. Иваску – от 22 октября 1954 г.) как поэта «умышленно “бескрылого”» (Сто писем Георгия Адамовича к Юрию Иваску (1935–1961) / Предисл., публ. и коммент. Н.А. Богомоллова // Диаспора: Новые материалы <Вып.> V. Париж; СПб.: Athenaeum–Феникс, 2003. С. 429).

² Бахрах 1980: 142.

³ Хотя в следующем письме к Гингеру, от 2 декабря 1964 г., расставлял иные акценты:

«Вы пишете лишь тогда, когда Вас к тому побуждает Муза, и это хорошо. В этом отношении я похож на Вас: пишу мало и редко, тогда, когда я не могу противиться и даю разразиться “быстрому кому в горле”».

И в письме от 1 марта 1965 г. настаивал на том же:

«Скрывать не хочу, не обижайтесь: Ваши стихи мне нравятся несравненно больше, чем стихи Вашей покойной жены. Вы нравитесь мне своей непосредственностью, и то, что Вы своего пера не мучите, говорит как раз в Вашу пользу: “лучше меньше, да лучше” – этой мысли верна Ваша муза. В этом отношении я похож на Вас: пишу тогда, когда не писать невозможно».

Так, с легкой руки Л. Зурова и И. Одоевцевой принято считать, что Гингер и Присманова были среди тех, кто последними видел М. Цветаеву в Париже перед ее отъездом в Москву в июне 1939 г. Первым свидетельством воспользовалась В. Лосская, включившая его в свою книгу неопубликованных до того времени воспоминаний современников о поэтессе:

Я хорошо помню наше прощание в Париже, когда Марина Цветаева уезжала. Было это летом 1939 г. <Вероятно, не летом, а весной, может быть поздней. Иногда в Париже в апреле бывает уже совсем тепло. – Вставка В. Лосской¹>. Она пригласила нас на Монпарнас, в большое кафе, и пришла с Муром. Она пригласила Аллу Сергеевну Головину, были и Саша Гингер и А. Присманова. Была она весела на редкость. Ее смуглые руки были в кольцах и браслетах. Она, как всегда, перекармливала Мура. Нам всем было очень хорошо и весело, играла цыганская музыка.

Когда мы вышли из кафе, был проливной дождь. А. Присманова попросила у Марины Цветаевой разрешение взять у нее прядь волос. Марина Цветаева сказала: «А как же? Ведь нужны ножницы!», и Присманова ответила, что у нее в сумочке есть. Я помню, Марина Цветаева стояла на бульваре под фонарем, как рыцарь, и Присманова отрезала ей прядь волос. Это была наша последняя встреча².

Называемая Зуровым А. Головина, одна из немногих, кто действительно виделся с Цветаевой перед самым ее отъездом и кому она могла бы доверить тайну своего возвращения в СССР, однако же не доверила, писала через много лет тогдашнему редактору журнала Оп Р.Н. Гринбергу (письмо от 17 февраля 1953 г.), что,

уезжая, она <Цветаева> мне сказала на улице (она мне говорила, что уезжает с сыном на лето в Нормандию, но я ей не верила): «Мне Франции нету нежнее страны и мне на прощание слезы даны. Они на ресницах, как перлы висят, дано мне отплыть Марию Стюарт». Т.е. она плыла на гибель³.

¹ Смысл замечания составителя не совсем понятен: Цветаева вместе с Муром покинула Париж в середине июня 1939 г.

² *Лосская Вероника*. Марина Цветаева в жизни: Неизданные воспоминания современников. М.: Культура и традиция, 1992. С. 209.

³ «Мы служим не партиям, не государствам, а человеку»: Из истории журнала «Опыт» и альманаха «Воздушные пути» / Публ., вступ. ст. и прим. В. Хазана // <http://www.utoronto.ca/tsq/29/hazan29.shtml>.

И. Одоевцева, по забывчивости датирующая отъезд Цветаевой летом 1938 г., вообще делает местом прощания дом Гингеров. Ее версия прощания обходится без сентиментальной пряди волос, как у Зурова¹, но, скажем, такой трезво-рассудительный человек, как А. Бахрах, к тому же близко знавший Цветаеву, с одной стороны, и Гингера и Присманову – с другой, серьезно сомневался в достоверности этой части мемуаров Одоевцевой. В рецензии на них он не преминул скептически отреагировать на сцену трогательного прощания с Цветаевой у Гингеров на Thureau-Dangin:

Однако наибольший заскок памяти ощутим у Одоевцевой в главе, посвященной Марине Цветаевой, с которой она почти знакома не была, для встреч у них не было общей почвы. Между тем Одоевцева, какие-то факты непредумышленно перепутав, рассказывает о «предотъездной» встрече с Цветаевой в квартире четы Гингеров. Но ведь известно, что Цветаева уезжала почти втихомолку, никому прощальных «визитов» не делая², да вообще какие-либо «визиты» были не в ее характере, осо-

Именно это четверостишие, судя по всему, подразумевала Головина в письме А. Бему от 17 ноября 1939 г., в котором писала:

«В середине лета я перенесла очень тяжелую незаменимую потерю Ходасевича и отъезд Цветаевой, почти тождественный ее смерти. Эти двое так или иначе были постоянными моими друзьями. Марина поехала на гибель. Говорить подробнее трудно. Не могу привести Вам и ее экспромта из четырех строк, раздирающего по фатальности и проведению <sic>» (цит. по: *Баканова И.В.* Марина Цветаева и Алла Головина: история взаимоотношений в контексте литературного творчества // *Семья Цветаевых в истории и культуре России: XV Междунар. научно-тематическая конференция (Москва, 8–11 октября 2007 г.): Сб. докладов / Отв. редактор и составитель И.Ю. Белякова. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2008. С. 369).*

3. Шаховская, которой Головина также прочитала это четверостишие, приводит его в своих воспоминаниях с некоторыми разночтениями (*Шаховская Зинаида.* Марина Цветаева // *НЖ.* 1967. № 87. С. 135; включены в ее кн. *Отражения* (Париж, 1975)):

Мне Франции нету милее страны
И мне на прощание слезы даны.
Как перлы они на ресницах висят.
Дано мне прощанье Марии Стюарт.

¹ См.: *Одоевцева И.В.* На берегах Сены. М.: Художественная литература, 1989. С. 305–309; впервые этот фрагмент, под названием «Несостоявшаяся встреча», появился в РМ (1977. № 3148, 21 апр. С. 10).

² Ср. у него же в другом месте: «Уезжала она <Цветаева> полуконспиративно, мало кого о своем решении предупредила, прощаться, конечно, ни к кому не ездила, ей было не до того...» (Бахрах 1980: 61).

бенно когда она могла натолкнуться на скопище чуждых ей людей. А ни с Гингером, ни с его женой Присмановой, двумя талантливыми и своеобразными поэтами, она, к сожалению, не была близка. Они были для нее людьми чужими, и это тем более обидно, что, зная подлинную, а не внешнюю доброту Присмановой и предельную услужливость Гингера, можно быть уверенным в том, что более близкое знакомство с ними могло быть для Цветаевой – в ее горьком одиночестве – хотя бы житейски весьма «полезно»¹.

В подтверждение слов Бахраха следует сказать, что весьма сомнительно, чтобы вечер прощания с Цветаевой проходил в доме далеко не самых ей близких Гингера и Присмановой, о ком, насколько известно, она упоминает лишь в двух случаях: в первом (статья «Поэт-альпинист», 1935) как не лишённое некоторого недовольства и раздражения имплицитное указание на «одну поэтессу», которая вслед за ее «письменным столом» (цикл «Стол»)² пишет о «карандаше», имея в виду посвященное ей, Цветаевой, присмановское стихотворение «Карандаш» (1934), и во втором – как четы – в письме к А.Э. Берг от 13 июня 1936 г.:

Дорогая Ариадна,

Жду Вас, с большой радостью, во вторник, ибо понедельник у меня уже взяли – молодые муж и жена, оба пишущие³...

При этом, правда, следует учесть письмо Цветаевой Гингеру от 8 июня 1939 г., фрагмент из которого (без ссылки на какие-либо источники) приведен в итоговой книге А. Саакянц о жизни и творчестве

¹ *Бахрах Александр*. На берегах Сены-Леты // Гр. 1983. № 130. С. 266.

² Не исключена, кстати сказать, вероятность того, что импульсом для цветаевского «Стола» послужил, в свою очередь, двухчастный цикл Вл. Пиотровского «Стихи о моем столе», напечатанный в том же номере СЗ (1933. № 51. С. 184–185), в котором появилось ее стихотворение «Дом» («Из-под нахмуренных бровей...») С. 186–187); этот номер журнала увидел свет в середине февраля 1933 г., а стихи Цветаевой, входящие в данный цикл, помечены июлем–октябрем того же года.

³ *Цветаева М.* Собрание сочинений: В 7-ми томах. Т. 7. М.: Эллис Лак, 1995. С. 500. Заслуживающее внимания упоминание имени Цветаевой Гингером содержит его письмо М. Вишняку № 3 (см. том II. Письма). См. также описанный в воспоминаниях В. Яновского его и Присмановой поход к отъезжавшей в СССР Цветаевой за кожаной курткой ее сына (*Яновский В.С.* Поля Елисейские. СПб.: Пушкинский фонд, 1993. С. 227).

поэтессы и которое, сколько мы знаем, нигде почему-то не печаталось в полном виде:

Жаль уезжать, но это подготовка – к другому большому отъезду, кроме того, я с первой минуты *знала*, что я уеду, – писала Цветаева Гингеру и в конце письма заключала: – И Муру будет хорошо. А это для меня главное. (Стихам моим – всегда будет хорошо)¹.

И далее, в том же абзаце, биограф Цветаевой приводит упоминавшееся выше «прощальное» стихотворение поэтессы – с названием «Douce France» и эпиграфом восходящими к словам Марии Стюарт, а также смысловой оркестровкой начала, отличающейся от вариантов и А. Головиной, и З. Шаховской (при этом читатель книги А. Саакянц вполне может решить, что данное стихотворение было включено в текст цветаевского письма Гингеру):

Douce France

Adieu, France!

Adieu, France!

Adieu, France!

Marie Stuart

Мне Францией – нету

Нежнее страны –

На долгую память

Два перла даны.

Они на ресницах

Недвижно стоят.

Дано мне отплыть

Марии Стюарт².

Возвращаясь к отрезаемой Присмановой цветаевской пряди в воспоминаниях Л. Зурова, которые еще более походят на мелодраматическую фантазию, нежели на воспроизведение достоверного факта и которые наверняка относятся к тому периоду, когда их автор был уже охвачен душевной болезнью, заметим, что эта самая прядь могла

¹ *Саакянц Анна*. Марина Цветаева: Жизнь и творчество. М.: Эллис Лак, 1997. С. 681.

² Там же.

быть навеяна мемуаристу насмешливыми строчками, обнаруженными нами недавно в израильском архиве Д. Кнута. Очевидно, когда в парижских кругах стало известно об упомянутой выше статье Цветаевой «Поэт-альпинист»¹, где в адрес Присмановой, едва ли справедливо, был брошен критический упрек, ироничный Кнут решил изобразить ее «таскающей» карандаши с цветаевского письменного стола. В его черновой тетради сохранились следующие шуточные стишки, обращенные к «провинившейся» Присмановой:

Какой позор! Какой скандал!
Такого я не ожидал!

Я не могу о том смолчать
И буду Вас разоблачать!

Я не могу смолчать о том –
Ведь люди Вас пустили в дом,

А Вы, увидев в доме стол,
Свершили страшный произвол.

Вы осмотрелись, не спеша,
И вот – уж нет карандаша!

Ведь карандаш совсем не Ваш –
Зачем Вы взяли карандаш?

Ведь это то же, так сказать,
Что у кого-то срезать прядь.

И это вот примерно что –
Уйти с гостей в чужом пальто!

Кнут, понятное дело, не предполагал публиковать эту стихотворную забаву, но не исключено, что она была известна на русском Монпарнасе, в том числе и Зурову, которому таким образом послужила толчком для упомянутой мистификации с цветаевской прядью.

¹ Статья была опубликовано в белградском журнале «Руски архив» (1935. № XXXII–XXXIII) по-сербскохорватски и, судя по всему, циркулировала в Париже в чьем-то пересказе.

Перед началом II-й мировой войны Присманова, Гингер и появившийся в Париже В.Л. Пиотровский (Корвин-Пиотровский), бежавший из Берлина, образовали группу «формистов», сведения о которой довольно путаны и неясны¹. Как объяснял впоследствии Ю. Терапиано, «формисты» якобы возникли в качестве оппозиции «Зеленой Лампе» и «Числам», и Гингер, «равнодушный ко всем объединениям и разделениям», примкнул к этой группе поневоле – как муж Присмановой². Однако сообщаемые Терапиано сведения противоречат друг другу: в одном случае он говорит о конфронтации «формистов» «Зеленой лампе»³, а в другом, – что только «в первые годы после войны» Присманова, Гингер и В. Корвин-Пиотровский «провозгласили себя “формистами” и собирались опубликовать идеологию “формизма”, но “формизм” так и остался без теоретического обоснования, и мало-помалу их группа совсем распалась»⁴.

Между тем это некритически воспринятое указание «от первого лица» – о некоем якобы противостоянии «формистов» «Зеленой лампе» – под пером некоторых исследователей превращается в несомненный исторический факт⁵, хотя сама его несомненность вызывает серьезные сомнения⁶.

Поскольку плоды деятельности «формистов», скорее всего, выразились в сугубо индивидуальных художественных достоинствах ее членов и вряд ли представляли собой нечто объединяемое общими теоретическими взглядами и манифестами (последних, как было упо-

¹ См. о ней: Литературная энциклопедия русского зарубежья: 1918–1940. Т. 2: Периодика и литературные центры М.: РОССПЭН, 2000. С. 485–487 (автор статьи К.О. Рагозина).

² *Терапиано Юрий*. Литературная жизнь русского Парижа за полвека (1924–1974): Эссе, воспоминания, статьи. Париж; Нью-Йорк: Альбатрос–Третья волна, 1987. С. 133 (впервые: *Терапиано Ю.* Оппозиция «Зеленой Лампе» и «Числам» // РМ. 1972. № 2923, 30 нояб. С. 9).

³ Там же.

⁴ Там же. С. 235. На эту «невязку» между разными терапиановскими мемуарными свидетельствами обратила внимание К. Рагозина, см. ее вступительную статью к кн.: *Присманова А., Гингер А.* Туманное звено / Сост., предисл., коммент К. Рагозиной. Томск: Водолей, 1999. С. 14–15.

⁵ См., например: *Glad John*. Russia Abroad: Writers, History, Politics. Tenafly, NJ: Termitage-Birchback Press Publishers, 1999. P. 169. Ср. во вступительной статье Р. Couvée к кн.: *Присманова Анна*. Собрание сочинений / Edited and with an Introduction and Notes by Petra Couvée. The Hague: Leuxenhoff Publishing, 1990. P. XVI.

⁶ См. нашу критическую реакцию в рецензии на книгу Дж. Глэда в: *From the Other Shore: Russian Writers Abroad. Past and Present*. 2001. Vol. 1. С. 148–149.

мянуто, и вовсе не существовало)¹, едва ли есть какой-нибудь резон анализировать малоубедительное объяснение Терапиано, который свел поддержку Гингером «творческой программы» «формистов» к простой семейной солидарности.

* * *

Как было сказано выше, конфессионально не отождествлявший себя с иудаизмом, Гингер остался в оккупированном немцами Париже – в этом аду, в котором, дабы избежать немецких издевательств и унижений, евреи кончали жизнь самоубийством. Одна их живых свидетельниц этой волны самоубийств, служившая в парижской еврейской больнице им. Ротшильда, рассказывала:

Всех еврейских покойников города доставляли в наш морг. Ежедневно десятки евреев кончали жизнь самоубийством, предпочитая смерть немецким зверствам. Мы вели статистику этих несчастных.

Когда число самоубийств увеличивалось, мы знали, что это значит: новый немецкий разгул, новый еврейский погром.

Да, по количеству покойников мы судили о положении в городе. Самоубийства заменяли нам барометр².

¹ Манифестов не существовало, но поскольку свято место пусто не бывает, современные исследователи – не столько за счет убедительных аргументов и фактов, сколько с помощью пышной псевдонаучной риторики – стараются придать явлению «формизма» в лице Присмановой, Корвин-Пиотровского и Гингера некий историко-литературный смысл, как кажется, сильно расходящийся с реальной действительностью.

Это было последнее объединение поэтов «незамеченного поколения», – читаем у автора, создающего одну из таких «альтернативных» историй эмигрантской поэзии, – оказавшее значительное влияние на всю эмигрантскую литературу и вошедшее в историю зарубежья, наряду с «Парижской нотой» и пражским «Ски-том», не только как событие, связанное с определенным этапом творческой биографии выдающихся писателей. Явление «формистов» в конце 1930-х годов, как ранее, во второй половине 1920-х возникновение «школы Адамовича» в Париже и «школы Бема» в Праге, ознаменовало наступление нового этапа в культурной жизни эмиграции, специфику которого «формисты» стремились выразить в своих общих эстетических установках (*Зобнин Ю.В.* Поэзия белой эмиграции: «Незамеченное поколение». СПб.: СПбГУП, 2010. С. 155).

² *Гессен Владимир.* Герои и предатели. Нью-Йорк, 1951. С. 147–148.

Гингера опасность миновала, хотя сам он проявлял по отношению к ней минимум страха. Н. Берберова вспоминала (запись датирована февралем 1944 г.):

В половине двенадцатого ночи (я уже хотела ложиться спать) – осторожный стук в дверь. Открываю: А. Гингер (поэт, муж Присмановой). Впускаю.

Он рассказывает, что живет у себя, выходит раз в неделю для моциона и главным образом, когда стемнеет. В доме – в этом он уверен – никто его не выдаст. Присманова сходит за «арийку», как и их сыновья. Он сидит дома и ждет, когда всё кончится. Мне делается ужасно беспокожно за него, но сам он очень спокоен и повторяет, что ничего не боится.

– Меня святая Тереза охраняет¹.

Я страшно рассердилась:

– Ни святая Тереза, ни святая Матрена еще никого ни от чего не охранили. Может быть облава на улице, и тогда вы пропали.

Но он совершенно уверен, что уцелеет. Мы обнимаем друг друга на прощание².

О том, что Гингер ходил по краю мрачной смертной бездны и азартно играл с нешуточной опасностью, рассказывал впоследствии в кратких мемуарах его близкий приятель Д. Кнут (см. Приложение I, «Синтез стойка и нигилиста» (Д. Кнут Гингеру и о Гингере)):

Гингер был в числе тех евреев, что остались в оккупированном немцами Париже. Следуя своей философии фатализма, поэт решил не скрываться <...>. Гингер, несмотря на семитскую внешность, безбоязненно разгуливал в самом центре Париже. И вот однажды, в метро, он услышал, как двое немецких солдат беседуют между собой по-русски. Он тут же ввязался в разговор. Выяснилось, что «немецкие солдаты» на самом-то деле власовцы. Это происходило во время облав на евреев, когда поездка еврея в метро была связана со смертельной опасностью. В конце концов один из власовцев спросил его:

– А кто ты собственно по национальности? Наверное, армянин.

– Еврей, – не моргнув глазом, ответил Гингер.

«Немцы» на мгновение остолбенели, но, быстро придя в себя, залились хохотом от удачной шутки.

¹ В конце войны Гингер посвятил Св. Терезе стихотворение «Доверие» (сб. Весть), см. комментарий к нему.

² *Берберова Н.Н.* Курсив мой / Вступ. ст. Е.В. Витковского; Коммент. В.П. Кочетова, Г.И. Мосешвили. М.: Согласие, 1996. С. 496.

– Будь ты евреем, неужто бы ты признался в этом нам?

– А что здесь такого? Я и в самом деле еврей, – безмятежно произнес Гингер, помахал на прощание рукой и преспокойно вышел из вагона.

Тот же непреклонный фатализм и непереубеждаемое упрямство, причудливо смешанное с подлинной силой духа, подчеркивал в Гингере близко его знавший Г. Газданов:

Четыре года германской оккупации Парижа, когда Гингер рисковал своей жизнью каждый день, дорого стоили всем его друзьям. Убедить Гингера в том, что он должен уехать из Парижа и уж во всяком случае не ходить по городу целыми днями, не было никакой возможности.

– Ах, всё это ужасно преувеличено, – говорил он. – Я убежден, что меня не арестуют. Вы знаете, я недавно попал в облаву. Полицейский на меня посмотрел и потом буквально сказал мне следующее:

– Один ваш вид у меня вызывает отвращение. Уходите отсюда. – И я ушел.

Его приходили арестовывать четыре раза – и каждый раз совершенно случайно его не было дома. Иногда по городу распространялись слухи, что ночью может быть очередная облава на евреев. Тогда я заходил к Гингеру и уговаривал его ночевать у меня. Это происходило вечером. Гингер говорил жене, которая была в другой комнате, Анне Присмановой – она была христианка, и ей арест не угрожал:

– Аня, это опять пришел Газданов. Он уверен, что ночью может быть облава, и предлагает мне ночевать у него. Что вы об этом думаете?

После долгих переговоров он соглашался, и мы шли ко мне. – Откуда у вас эта суетливость? – говорил он по дороге, – и этот хронический страх? Вы должны быть храбрее, вы же кавказец по происхождению. Правда, вы не родились на вершине какого-нибудь Казбека – это смягчающее обстоятельство. Кофе у вас по утрам будет? Я привык по утрам пить кофе.

Дня через три, встречая меня, он говорил:

– Вот я опять из-за вас провел ночь вне дома, а облавы никакой не было.

За несколько дней до взятия Парижа союзными войсками Гингер пришел ко мне и предложил идти играть на бильярде.

– Вы с ума сошли, – сказал я, – какой там бильярд? Вам надо теперь сидеть где-нибудь в подвале и ждать, пока уйдут немцы.

– Ах, эта ужасная ваша трусость, – сказал он. – Чего вы боитесь?

– Неужели вам нужно объяснять? Я не еврей, я ничем не рискую. Но вы способны когда-нибудь подумать о себе?

– Я тоже не еврей, – сказал он, – вы же знаете, что я буддист. Слушайте, тоска смертная, идем играть.

В конце концов я согласился, и мы отправились в бильярдную. Кафе, где это происходило, было разделено на две части: в одной была стойка, за которой люди пили те сомнительные жидкие суррогаты, которые подавали в парижских кафе во время оккупации, в другой – стоял бильярд. Мы начали играть – и буквально через 10 минут в кафе вошло несколько человек в немецкой военной форме: облава, гестапо. Они арестовали и увели около половины клиентов. Потом один из немцев заглянул в бильярдную, увидел Гингера и меня, молча посмотрел на нас и ушел.

– Видите, – сказал Гингер, – мой расчет был правильный. Что мог подумать этот человек? На это легко ответить: если эти два субъекта в такие дни террора и войны проводят время в бильярдной игре, то это значит, что они, по всей вероятности, не члены подпольной организации и уже наверное не евреи. Ну вот. А вы боялись¹.

К этим известным воспоминаниям прибавим еще одно – неопубликованное, принадлежащее Мишелю Карскому, чье имя уже упоминалось выше. Вспоминая в письме к нам о Гингере, М. Карский, со слов своей матери, Иды Карской, рассказывал о том, как

однажды французская полиция нагрянула в дом Гингеров ранним утром (возможно, это случилось 16 или 17 июля 1942 г., вошедших в историю как «La raffe du Vel d’Hiv» – дни массовых облав на евреев). Недовольная тем, что ее подняли с кровати ни свет, ни заря, Присманова не пожелала разговаривать с полицейскими, сказав, чтобы они пришли через час. Когда они явились вновь, оказалось, что Гингер «здесь больше не живет». Воспользовавшись предоставленным ему часом, Гингер покинул дом и скрылся.

* * *

Послевоенная жизнь русского Парижа изучена недостаточно полно. Несмотря на то, что ее культурная интенсивность в срав-

¹ Газданов 1966: 128–130. Время спустя Ю. Иваск писал Газданову в частном письме (4 <апреля> 1970 г.):

«Вы хорошо написали о Гингере в Н<овом> Ж<урнале>. Он больше, чем многие думают. Его НОТА – не парижская и лично мне – близкая. Очень ценю и Присманову: оба прекрасные поэты, прекрасные люди» (*Газданов Гайто*. Собрание сочинений: В 5-ти томах. Т. 5. М.: Эллис Лак, 2009. С. 180).

нении с довоенным временем заметно падает, оставались какие-то островки, оккупируя которые, она в той или иной форме продолжала существовать. Одним из таких островков была квартира предпринимательницы и артистки-любительницы Веры Стамболи (191, rue Croix-Nivert, Paris XV-e), где был организован Союз ревнителей искусства (1946), а с 1947 г. собирались члены Объединения молодых деятелей русского искусства и науки¹. Литературный салон в своей квартире (14, rue de Tilsitt, Paris, VIII-e) держала литератор и общественный деятель А.М. Элькан. Для творческих *soirées* были открыты двери квартир Т. Величковской² и С. Рафальского³; кроме того, существовали «четверги» К. Померанцева, на которые, по его собственным воспоминаниям, являлись Гингер и Присманова⁴. Наконец, следует упомянуть нечто вроде литературного салона в их квартире, где перебивалась практически вся творческая парижская эмиграция⁵.

Как вспоминает, например, Померанцев, именно на одной из гингеро-присмановских сред в 1957 г., он встретил З. Шаховскую,

которая, только что вернувшись из Москвы, привезла и читала еще неизвестные на Западе (да и в СССР лишь в узком кругу) стихи Пастернака из «Доктора Живаго». Достала их Зинаида Шаховская «по благу» и провезти их было настоящим подвигом, потому что, попадись она с

¹ Под эгидой этого Объединения вышел сборник стихов входивших в него поэтов (Париж, 1947; ред. Е. Щербаков); рец. на него А. Ладинского см.: Советский патриот. 1947. № 126, 21 марта. С. 4.

² См. об этом в воспоминаниях самой Т. Величковской «Поэтический кружок» (РМ. 1959. № 1448, 17 нояб. С. 4) и «О кружках поэтов» (РМ. 1959. № 1461, 17 дек. С. 5).

³ На 6, rue Fourcade (Paris, XV-e).

⁴ Померанцев 1986: 55.

⁵ См., напр., в письме Г. Адамовича А. Присмановой из Манчестера от 4 мая 1952 г., в котором он интересуется средами в их доме (Письма Адамовича: 263) или его же письмо А. Бахраху от 26 декабря 1955 г., где он, рассказывая о своей парижской жизни, пишет: «Вообще же кружусь в вихре света, вплоть до доклада Оцуа о смысле жизни в салоне Гингеров» (Письма Георгия Адамовича А.В. Бахраху 1954–1956 // НЖ. 2001. № 224. С. 85); см. также в настоящем издании письмо Н. Татищева Гингеру от 7 февраля 1949 г. Следует, впрочем, учесть, что, как свидетельствует близко знавшая Гингера и Присманову современница, журфиксы в их доме, на которых присутствовали известные художники – Л. Бакст, К. Терешкович и мн. др., начались еще до войны (*Карская Ида. Из бесед с В.П. Чинаевым // Studies in Modern Russian and Polish Culture and Bibliography: Essays in Honor of Wojciech Zalewski / Ed. by L. Fleishman. Stanford, 1999. С. 215*).

ними, – началось бы настоящее расследование, грозившее неприятностями их привезшей и катастрофой для передавших¹.

О той же встрече в доме Гингеров пишет и сама Шаховская:

В 1957 году, вернувшись с мужем из Москвы, я привезла с собою стихи Пастернака (из «Доктора Живаго») и через Померанцева Гингеры попросили меня к ним прийти и их прочитать. Это было мое последнее свидание с Гингером и Присмановой².

К слову сказать, Шаховская вписала в заведенный Гингером специальный *Альбом* такие стихи (запись датирована 15 мая 1945 г., что указывает на ее неоднократное посещение их дома):

Не о любви – тогда о чем?
Пусть звезды падают дождем,
Пусть о земле поют ручьи.
Не о любви... Тогда молчи³.

Гингеровский *Альбом*, хранящийся в архиве University of Illinois (Urbana-Champaign)⁴, может служить весьма примечательным источником и материалом для реконструкции истории послевоенной парижской эмиграции. Некоторые тексты из него уже давно введены в научный и читательский оборот, многие приводятся в настоящем издании⁵. Так,

¹ Померанцев 1986: 56.

² *Шаховская З.А.* В поисках Набокова. Отражения. М.: Книга, 1991. С. 148. По всей видимости, именно на это предстоящее чтение реагировал Г. Адамович в письме к Гингеру от 4 декабря 1957 г.: «Entendu <решено>: 18-го в среду я у Вас. Увидеть Анну Семеновну и Вас для меня большое удовольствие, но сказать, что я заранее предвкушаю с восторгом чтение m-me Шаховской, было бы легким преувеличением. Однако – подчиняюсь, буду, если буду жив и здоров» (Письма Адамовича: 290).

³ С поэтессой, прозаиком, редактором, мемуаристом Зинаидой Алексеевной Шаховской (в замуж. Малевская-Малевиц; 1906–2001) Гингер и Присманова были знакомы по довоенному Парижу. В Национальной библиотеке Израиля хранится сборник ее стихов «Дорога» (Брюссель, 1935), преподнесенный им с дарственной надписью: «Поэтам Анне Присмановой и Ал. Гингеру с дружеским приветом. З. Шаховская. Париж 1936».

⁴ См. о нем: *Винокур Надежда*. «Я верю, что ничто не исчезает бесследно...» // *Vestnik* (Baltimore). 2004. № 21 (358). October 13. С. 50–58.

⁵ Значительная заслуга в этом принадлежит А. Устинову, много лет назад познакомившему нас с этим *Альбомом*, издание которого в целостном виде до нынешнего дня представляет собой заманчивый научный и издательский проект.

например, широко известна вклеенная в *Альбом* «пляжная» фотография И.А. Бунина (подписана его рукой: «Полуголый Бунин») и следующее четверостишие Нобелевского лауреата:

Нелепо созданы собаки:
Им, по ошибке, для красы
Даны природою усы –
Когда бы нужно было баки.

Ив. Бунин

6 мая 1948
Париж¹

См. еще опубликованный в РМ (1972. № 2891, 20 апр. С. 7) фото-фрагмент басни Н. Тэффи «Петух и Яблоко», собственноручно вписанный в гингеровский *Альбом*:

Петух и Яблоко решили строить дом.
Петух орет и кукуречит,
А Яблоко катается кругом,
А чтоб работать – так об том нет речи.
Так значит этот дом
И отложили на потом.

Тэффи

Всё сказанное в известном смысле опровергает слова Ю. Терапиано о том, что с годами Гингер «всё более удалялся от внешней литературной жизни»².

В послевоенные годы Гингер и Присманова являлись членами Объединения русских писателей в Париже, принимали определенное участие в его деятельности, см., к примеру, в одном из газетных отчетов, где отмечалось выступление Гингера «с его прелестной

¹ Приведено в статье: *Прегель С.Ю.* Из воспоминаний о Бунине // Литературное наследство. Т. 84: Иван Бунин <В 2-х кн.>. Кн. 2. М.: Наука, 1973. С. 355.

² *Терапиано Юрий.* Литературная жизнь русского Парижа за полвека (1924–1974): Эссе, воспоминания, статьи. Париж; Нью-Йорк: Альбатрос–Третья волна, 1987. С. 228. К этому следует еще добавить, что в ноябре 1944 г., после освобождения из-под оккупации, Гингер, наряду с П. Ставровым (председатель), В. Пиотровским и А. Гефтером, был избран в правление обновленного Объединения русских писателей и поэтов во Франции. Пожалуй, наиболее ощутимая самоизоляция Гингера от эмигрантской жизни началась после смерти Присмановой, после которой для него наступил период чисто внешнего существования.

поэмой об “Эстафетном беге”, воспевающей “этот горький, но приятный свет”»¹.

Послевоенный период породил в эмигрантской литературе немало проблем, с которыми она не сталкивалась на предыдущих этапах своей истории. В 1955 г., с легкой руки В. Варшавского, возник термин «незамеченное поколение», и по следам завязавшейся вокруг этого дискуссии критик Н. Ульянов, принадлежавший ко второй волне эмиграции, выступил с программной статьей «10 лет», где «незамеченными» были названы уже не те эмигранты, о которых писал В. Варшавский – т.е. не его и Гингера поколение, а те, кто попал на Запад в годы Второй мировой войны². Драма довоенной эмиграции, которая полнее всего выражалась в конфликте «детей» с «отцами», повинными в расколе Руси на советскую и эмигрантскую, на тех, кто бежал, и тех, кто остался³, был теперь перенесен в новую область – на противостояние первой и второй волн эмиграции.

Из этих горячих дискуссий вытекало, что русская литература разделена даже не на два, а на три лагеря: советская литература, литература старой эмиграции и литература новой беженской волны. Об этом – в связи с полемикой, разгоревшейся вокруг статьи «Десять лет», – не без иронии писал, в частности, Ю. Терапиано, принадлежащий к тем, кто видел в русской литературе цельное и целостное единство⁴.

При том при всем, что после прошедшей войны, истребления миллионов, потери веры в спасительную силу добра представления

¹ Б<ахрах А.>. Вечер «Объединения» // РН. 1947. № 99, 25 апр. С. 4.

² Ульянов Н. Десять лет // НРС. 1958. № 16705, 14 дек. С. 2; № 16708, 17 дек. С. 2; № 16709, 18 дек. С. 2; *Его же*. Когда защищают поэзию // НРС. 1959. № 16852, 10 мая. С. 2, 8; см. некоторые отклики на статью Ульянова: *Струве Глеб*. Дневник читателя: О статье Н. Ульянова // НРС. № 16727, 5 февр. С. 2–3; *Самарин В.* Литература и политика // НРС. № 16731, 9 февр. С. 3; *Завалишин Вяч.* Где же выход из безнадежности // НРС. 1959. № 16740, 18 февр. С. 2, 7; *Деникина Кс.* Больше не надо // НРС. 1959. № 16754, 1 марта. С. 3; *Одоевцева Ирина*. В защиту поэзии // РМ. 1959. № 1341, 12 марта. С. 2, 3 и др.

³ Ср., например, подчеркиваемое И. Зданевичем в поколении эмигрантской молодежи стремление «выйти из беженства, решимость детей порвать с родителями, отмежеваться от их убеждений и поступков» (*Зданевич И.* Борис Поплавский / Публ. Е. Эткинда // Синтаксис. 1986. № 16. С. 166). В связи с темой «детей и отцов» в эмиграции см. нашу статью «Без своего места в мире (“Отцы” и “дети” в прозе В. Варшавского)» // Мир детства в русском зарубежье. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2011. С. 179–206.

⁴ *Терапиано Ю.* Три литературы // РМ. 1959. № 1378, 6 июня. С. 4.

эмигрантов о мире и о своем месте в нем, разумеется, подверглись неизбежным изменениям, многое в их жизни осталось прежним. Подводя итог трем сборникам поэзии, которые вышли сразу после войны – «Близнецы» А. Присмановой, «Звезды в аду» В. Мамченко и «Новые стихотворения» Г. Раевского, – рецензировавший их М. Слоним писал, что

эмигрантские писатели по-прежнему ощущают себя в том искусственном, нереальном пространстве, в котором нечем дышать и о котором они говорили в стихах и прозе в течение многих лет. Что бы ни происходило в мире, они чувствуют себя бесприютными скитальцами, изгоями¹.

С послевоенным миром связаны новые явления, которые с такой остротой не ощущались в эмиграции прежде: одним из самых заметных оказалось то, что в «русском Париже» усилились просоветские настроения и весьма распространенной стала мысль о возвращении на родину². Как грибы после дождя, возникали новые союзы и объединения – Союз русских патриотов, Союз возвращения, Дружья советской родины, Союз советских граждан. В марте 1945 г. была создана газета «Советский патриот». В Париже работала Комиссия по репатриации, пропагандировавшая идею возвращения как начала новой жизни. 14 июня 1946 г. был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР «О восстановлении в гражданстве СССР подданных бывшей Российской империи, а также лиц, утративших советское гражданство, проживающих на территории Франции». В «Советском патриоте» появились стихи, с восторгом отреагировавшие на это событие (автор Л.М. Толстой-Милославский):

Указ 14-го июня

Свершилось... Около амвона
Мы слышали в полдневный час,
Сквозь голос кованный закона
Другой лишь сердцу слышный глас.

Он говорил нам: «Дети, братья!
Пришел, пришел желанный день!

¹ Слоним Марк. Парижские поэты // Нов. 1946. № 29–30. Окт.–нояб. С. 95.

² О просоветских настроениях у жившей в Париже части эмигрантской интеллигенции см.: Koriakov Mikhail. I'll Never Go Back / Transl. from the Russian by Nicholas Wreden. London: George G. Harrap&Co, 1948. P. 148–216.

Мои раскрытые объятия
Опять над вами, словно сень!»

И тихо, тихо в церкви стало,
И было трудно нам дышать.
Лишь сердце сердцу повторяло:
«Ты слышало!.. Ведь это – Мать...»¹

12 февраля 1945 г. группа эмигрантов была на приеме у советского посла во Франции А.Е. Богомолова – визит, который у антисоветской части эмиграции не без горького остроумия получил имя «похода в Каноссу».

Эта тема, безусловно, обсуждалась в доме Гингеров, хотя ни он, ни Присманова, судя по всему, не стояли на столь прочных просоветских позициях, как те, кто принял решение вернуться в СССР (например, Ю. Софиев, И. Голенищев-Кутузов, А. Ладинский и др.) или, оставшись в эмиграции, принадлежал к крайне левому крылу, как, скажем, В. Мамченко. Тот же В. Мамченко писал вернувшемуся в Советский Союз и жившему в Алма-Ате Ю. Софиеву, характеризуя политические настроения среди эмигрантов и упоминая среди прочих Гингера (письмо от 21 декабря 1962 г.):

Терапиано, конечно, ближе к нам <т.е. к просоветски настроенным>, а не к противоположному нам, как и Гингер, Прегель, Одоевцева (?!) и др... Повторяю. Дорого уже то одно, что эти литераторы не вплетают свои голоса в злобное завывание всякой нечисти, а это, если и не героично, то всё же мне симпатично².

Будучи в вопросе политических симпатий и антипатий настроены не столь «героично», хотя и явно просоветски, Гингер и Присманова принадлежали к той группе «старых» эмигрантов, для кого проблема возвращения на родину была окружена множеством контrovers и противоречий. Это состояние «политического соблазна», патриотического воодушевления, робких полунадежд и, разумеется, сопутствовавших им иллюзий, которыми была искушаема часть эмигрантской интел-

¹ Советский патриот. 1946. № 89, 5 июля. С. 3.

² Звезды в аду: Письма Виктора Мамченко (Н.Н. Кноррингу и Ю.Б. Софиеву: Париж – Алма-Ата) / Публ. Н. Черновой // Нива: Казахстанский литературно-художественный и общественно-политический журнал (Алматы). 2008. № 3. С. 162.

лигенции после разгрома фашизма – самого страшного в их глазах зла современной эпохи, – заставляло рассматривать Советский Союз как одного из главных спасителей европейской и мировой цивилизации. Вспоминая впоследствии те чувства, которые он пережил после войны, близкий к Гингеру и Присмановой А. Бахрах писал Г. Струве 6 декабря 1982 г.:

... сразу после войны у меня были какие-то надежды и некая внутренняя благодарность за участие в победе¹, потому что как-никак без России эта победа несомненно бы затянулась, хотя ее результат, как я всё время глубоко верил, даже мрачной осенью <19>41-го года, предрешен².

При всей разумеющейся сложности восстановления подлинной динамики настроений, пережитых Гингером и Присмановой в послевоенные годы, похоже, что они испытали примерно то же «маниловство», что и Бахрах: не склонялись с окончательной решимостью ни в одну (возвращение на родину), ни в другую (благословение изгнания) сторону. Известно, например, что стихи Присмановой нравились советскому посланцу К. Симонову³, явившемуся весной 1946 г. в Париж в качестве миссионера и «ловца душ»⁴: он несколько раз встречался с И. Буниным, однако, несмотря на щедрые, судя по всему, посулы, тот «возвращенцем» не стал, и возможные колебания, если таковые и имелись, остались фактом его скрытой душевной биографии.

Вопрос о взятии Гингером и Присмановой советских паспортов и, стало быть, об их, пусть и кратковременном, советизме не решается однозначно. Со слов Н. Берберовой (как кажется, единственной современницы, кто упоминал печатно об этом), к чьим свидетельствам,

¹ В этом месте следовала сноска автора, сделанная от руки к машинописному тексту: «Первый удар по моему маниловству (если хотите) был нанесен Эльзой Триоле, только тогда вернувшейся с Арагоном из Москвы».

² Hoover Institution Archives. Stanford, California. G. Struve Coll. Box 75. Folder 75/14.

³ См. в письме Г. Адамовича А. Бахраху от 5 сентября 1946 г.: «Кстати, от Присмановой в восторге Симонов» (Письма Г.В. Адамовича А.В. Бахраху / Публ. Вадима Крейда и Веры Крейд // НЖ. 1999. № 216. С. 105).

⁴ О вечере в квартире Румановых, устроенном 16 июля 1946 г. в честь приезда в Париж советских посланцев, И. Эренбурга и К. Симонова, на котором в числе других эмигрантов присутствовали Гингер и Присманова, см. в коммент. к «Акро-терцинам» (раздел «Поэзия»). Об отношении эмигрантов к поэзии Симонова военной поры см.: *Николай Татищев*. Советские писатели и поэты. О стихах Константина Симонова // Новая земля (Париж). 1946. № 5, май. С. 13–14.

в особенности военного и послевоенного времени, следует вообще относиться с известной осторожностью, принято считать, что

Ладинский, Гингер, Присманова взяли советские паспорта, признав, с некоторыми оговорками, Сталина – отцом всех народов¹.

Однако позднее последние двое одумались, продолжает автор воспоминаний, их «иллюзии рассеялись, и в СССР они так и не уехали»².

Утверждение, что Гингер и Присманова считали «Сталина – отцом всех народов», не подтвержденное более никем и ничем, полностью остается на совести мемуаристки. Что же касается советских паспортов, Basile Ginger, старший сын Гингера и Присмановой, в многократных беседах с нами хотя и не отрицал самого этого факта, однако всячески подчеркивал, что просоветские симпатии его родителей не простирались столь далеко, как это описано у Берберовой³.

Как бы то ни было, пусть и с известными сомнениями и колебаниями, «роман с большевизмом» Гингер и Присманова, безусловно, пережили и советские настроения разделяли вместе со многими другими своими соплеменниками: печатались в газетах ЧС, «Советский патриот»⁴, РН. Позднее, в начале 60-х, Гингер, по свидетельству

¹ Берберова Н.Н. Курсив мой / Вступ. ст. Е.В. Витковского; Комментар. В.П. Кочетова, Г.И. Мосешвили. М.: Согласие, 1996. С. 530.

² Там же. С. 650.

³ Ср. убедительное мнение на эту тему Р. Couvée в предисловии к кн.: *Присманова Анна*. Собрание сочинений / Edited and with an Introduction and Notes by Petra Couvée. The Hague: Leuxenhoff Publishing, 1990. Р. XVIII и К. Рагозиной, составителя, автора предисловия и комментариев к кн.: *Присманова Анна, Гингер Александр*. Туманное звено. Томск: Водолей, 1999. С. 31–32. Прибавим к этому заметку под выразительным названием «Маскарад», помещенную в ЧС, опровергавшую забавное утверждение французского еженедельника «Arts» (1945. 2 mars), в котором в качестве советских поэтов были названы (выделено в информации ЧС): Степан Степачев <Щипачев>, Анна Присманова, Сергей <sic> Куסיнов, А. Ладинский, Галзанов <Газданов?>, Александр Гингер, Корвин-Пиотровский, К. Симонов. «Нам до сегодняшнего дня было неизвестно, что А. Присманова, А. Ладинский, Гингер и Пиотровский, – говорилось в заметке ЧС, – рассматриваются во Франции как представители советской поэзии» (1945. № 3, 17 мая. С. 3).

⁴ См.: стихотворение Гингера «Имя» (1945. № 31, 26 мая. С. 3) и стихотворения Присмановой: «Птица» (Русский патриот. 1945. № 12 (25), 13 янв. С. 4), «Треугольник» (Советский патриот. 1945. № 28, 5 мая. С. 3), «Садовник» из книги «Близнецы» (1946. № 86, 4 июня. С. 3), а сам этот сборник был отрецензирован А. Ладинским на страницах той же газеты, см.: *Ладинский Ант*. «Близнецы» // Советский патриот. 1946. № 91, 19 июля. С. 3; «Большая дорога», отрывок из поэмы «Детство Некрасова» (Там же. 1947. № 115, 3 янв. С. 3); «Чай» (Там же.

Г. Адамовича, обратился с письмом к советскому поэту Евг. Евтушенко, вероятно, взволновавшему его своими стихами¹.

В послевоенное время Гингер намеревался вступить в масонскую ложу, был кандидатом к посвящению², но само вступление по каким-то причинам не состоялось.

Экономическое положение семьи в послевоенные годы стало еще менее стабильным, нежели это было раньше: упомянутое отсутствие постоянной и долговременной работы у главы семейства («трудовые резервы» слабой здоровьем Присмановой всегда были минимальны) не позволяло преодолеть привычку к скромному достатку. Помогали сыновья, к тому времени уже оперившиеся и приобретшие специальность, не забывали добросердечные благодетели (типа Р.С. Чеквер, см. письма к ней Гингера и Присмановой, публикующиеся в настоящем издании), иногда проявлял щедрость обосновавшийся в Нью-Йорке Литературный фонд.

В Bakhmeteff Archive of Russian and East European History and Culture, Rare Book and Manuscript Library, Columbia University (New York) сохранилось коллективное письмо группы парижских писателей и поэтов, в котором они благодарят Литературный фонд за проявленное к ним внимание – полученные от него посылки:

Париж, 12 июля <? г.>
В Литературный Фонд
в Нью-Йорке

Сердечно благодарим Литературный Фонд за полученные нами посылки, которые, помимо существенной помощи в трудное время, свидетельствуют о том, что Вы помните и думаете о нас.

1947. № 181, 25 апр. С. 4). Между тем в довольно представительном списке авторов «Советского патриота», который напечатан в издававшемся в Хельсинки просоветском «Русском журнале» – проф. Н.О. Лосский, А.М. Ремизов, проф. А.П. Марков, Ант. Ладинский, Г. Иванов, И. Одоевцева, проф. А. Пиленко, Ю. Софиев, А.В. Руманов, А. Даманская, Б. Темирязов <Ю.П. Анненков>, проф. В.К. Агафонов, С. Маковский, М. Струве, П.С. Боранецкий, проф. А.И. Угримов, О. Кожевникова, А. Мерич <псевд. упомянутой выше А. Даманской>, М. Курдюмов, Г. Евангулов – ни Гингер, ни Присманова не упомянуты (Русские в Париже // Русский журнал. 1947. № 1. С. 6).

¹ См.: *Богомолов Н.А.* От Пушкина до Кибирова: Статьи о русской литературе, преимущественно о поэзии. М.: Новое литературное обозрение, 2004. С. 275.

² *Серков А.И.* История русского масонства после Второй мировой войны. СПб.: Изд-во им. Н.И. Новикова, 1999. С. 216.

Далее следуют подписи:

Ив. Бунин

Д. Кобяков

Ант. Ладинский

Борис Бродский

Александр Гингер

Ю. Терапиано

А. Бахрах

Варшавский Владимир

П. Ставров

Б. Закович

Некоторые свои тексты, написанные после войны, – как поэтические, так и прозаические, – Гингер начал подписывать женским псевдонимом Агния Нагаго: этот псевдоним он использовал, печатаясь в просоветском сатирическом еженедельнике ЧС, выходившем в 1945 г.¹; им же подписан опубликованный позднее его рассказ-эссе «Борьба за тепло»² (о фонической семантике этого псевдонима см. далее).

Первый послевоенный сборник Гингера, названный «Весть» – по включенному в его состав одноименному стихотворению, – вышел только в 1957 г.³, едва ли не в полном соответствии с давним пророчеством автора⁴. Он оказался наименее объемным из всех опубликованных книг поэта – состоящим всего из 12 стихотворений.

В ночь на 4 ноября 1960 г. не стало Присмановой: она умерла тихо, во сне. Гингер писал Б. Зайцеву, рассказывая о ее смерти:

<Ваше> Письмо с откликом на «Веру» пришло в день смерти Присмановой. Оно лежало нераспечатанное рядом с ней на столе. Я вернулся

¹ В трехтомном биографическом словаре «Российское зарубежье во Франции. 1919–2000» (Под общ. ред. Л.А. Мнухина <и др.> М.: Наука; Дом-музей Марины Цветаевой, 2008–2010) ошибочно утверждается, что ЧС издавался до 1948 г. (Т. 1. С. 701, биографическая статья о Д.Ю. Кобякове); в настоящее издание включены гингеровские плоды пера, опубликованные в этом еженедельнике.

² Оп. 1958. № 9. С. 86–91.

³ В биографическом словаре «Российское зарубежье во Франции. 1919–2000» (Т. 1. С. 366) он по ошибке назван «Ветвью».

⁴ В публикуемом в настоящем издании письме М. Вишняку (№ 3) Гингер писал в 1939 г., когда готовился к печати сборник «Жалоба и торжество», о своей следующей – предположительной – книге стихов, которая появится «лет через 20!».

вечером с работы, взял это письмо и ушел в кухню, чтобы ее не будить. Там я долго сидел, ел и только часа через два понял¹...

О «безболезненной и мирной» смерти Присмановой Гингер общал И. Чиннову: «Она спокойно спала, а сердце постепенно останавливалось...». Несмотря, однако, на эту смерть «Божьей милостью», осознать произошедшее было невозможно:

Но понять, что именно она, именно Аня, умерла – мы не можем, – продолжал Гингер в том же письме. – Мы не были подготовлены к этому удару. Вернувшись с работы, я нашел ее спящей и только много времени спустя коснулся ее руки... уже безжизненной и превращавшейся в мраморную. Я не могу сказать «мир ее праху», потому что это всё равно, как если бы я обращался к части самого себя. С тех пор, как это произошло, я чувствую себя как побитая собака².

Эта смерть буквально подорвала Гингера душевно, изнутри, – после нее он так и не сумел оправиться, заняв свое место в «роковой очереди». 6 января 1961 г. С. Луцкий сообщал В. Андрееву:

...на днях узнал случайно о смерти Присмановой (скончалась во сне, счастливый конец для нее, но бедный Гингер...)³.

В 1965 г. всё больше и больше давали о себе знать боли в сердце – Гингер был вынужден лечь в больницу Saint-Joseph (7, rue Pierre-Larousse, Paris, XIV-e). Обнаруженная раковая опухоль съела последние силы. В ночь с 27 на 28 августа Гингера не стало. В соответствии с его завещанием, похоронный обряд совершался по буддийскому обычаю: тело было сожжено⁴. После смерти состоялось молитвенное собрание буддистов в честь его памяти⁵.

¹ Полностью приведено в томе II. Письма.

² Письма запрещенных людей: 312.

³ *Луцкий Семен. Сочинения / Подг. текста, сост. вступ. ст. и коммент. Вл. Хазана. Stanford, 2002. С. 312 (Stanford Slavic Studies. Vol. 23).*

⁴ Ср. в письме эмигранта второй волны Ю.П. Трубецкого к Г.П. Струве от 17 сентября 1965 г.: «...Гингер умер от рака, и, что совершенно ужасно, его сожгли. Как-то не могу представить себе таких похорон» (Hoover Institution Archives. Stanford, California. G. Struve Coll.).

⁵ См. извещение об этом, напечатанное в РМ (1965. № 2364, 23 сент. С. 6):

«Молитвенное собрание памяти Александра Гингера состоится в субботу 25 сентября в 17 ч. 30 м. в Зале Друзей Буддизма, 62, rue Lhomond (5-e) métro Censier-Daubenton».

В письме к Ю. Софиеву от 22 сентября 1965 г. В. Мамченко так описывал смерть Гингера:

Вообще смерть чудовищна, но Гингер ее ясно видел и чувствовал... Началось в начале года. Пошел за пирожным и упал на улице. Жил он один у себя. Вызвали сыновей и кузину-врача. Самое мучительное было для него – икота, которой он захлебывался, – перевезли в госпиталь св. Жозефа, где врачи все сделали, чтобы спасти его от рака в легких (потому-то и икотка была!). После долгих «просвечиваний», уколов и других лечений икотка ослабла, т<ак> ч<то> с ним можно было беседовать, а он старался ободрить и утешить друзей. Там же, в госпитале, довел до конца работу над изданием сборника избранных своих стихотворений, который успел выйти из печати («Сердце»). Ему была приятна, вероятно, и рецензия О. Кожевниковой в «Р<усских> Н<овостях>», но рак делал свое дело: полное заражение, т.е. – и крови. Переехал он к себе, нашли ему сиделку, встречал друзей лежа и с закрытыми глазами. Так прошло еще недель 6–7, жаловался только, что «беспомощность – как у ребенка», но не с мозгом, – рассуждал он с той же ясной простотой обо всем, каким мы его знали всегда и в молодости. Завещал сжечь себя и тоже – принять его смерть без печали...¹

Недолгое время спустя, 13 октября 1965 г., он же сообщал другому своему корреспонденту, С. Прегель, для кого смерть Гингера была утратой близкого и верного друга:

Дорогой мой друг Софья Юльевна,

по себе чувствую, как чудовищно и больно Вас ударила смерть Гингера... Не знаю, потому ли что сердце отказывается признать «законность» смерти, потому ли что эта «законность» с такой быстротой сожгла *живого Человека – Поэта света и любви*, но я тоже не могу осознать, что Гингера нет среди живых...

О. Кожевникова поместила небольшой некролог в «Рус<ских> Нов<остях>»², цитируя строчки Поэта, и я слышал его голос жизни...

¹ Звезды в аду: Письма Виктора Мамченко (Н.Н. Кноррингу и Ю.Б. Софиеву: Париж – Алма-Ата) / Публ. Н. Черновой // Нива: Казахстанский литературно-художественный и общественно-политический журнал (Алматы), 2008. № 3. С. 175.

² См.: Кожевникова О. А. Гингер // РН. 1965. № 1056, 10 сент. С. 6.

Завтра встречу с Терапиано, который мне писал, что Гингера сожгли по буддийскому обряду, – так завещал он сыновьям, – без шума и топота, как и жил¹...

Упомянутый в письме Мамченко Ю. Терапиано писал на смерть Гингера:

Пролетит над полем теплый ветер,
В розовых лучах взойдет заря –
Это Бог на твой призыв ответил,
Языком бессмертья говоря.

А душа твоя – в преддверье рая,
В свете несказанно голубом,
В пламени как Феникс не сгорая,
Помнит ли о нашем, о земном?²

Итоговый сборник стихов «Сердце», который увидел свет за короткое время до смерти Гингера и в который он включил давно и хорошо известные стихи, по магическому закону встречи с подлинным искусством, был воспринят как нечто новое и неизвестное. 20 августа 1965 г., всего за неделю до его смерти, А. Горская писала Гингеру:

Дорогой поэт!

Большую радость доставило мне ваше «Сердце». Сколько в стихах правды, сколько доброты, человеческой искренности! А глубина мысли, а богатство образов!

Мне понравилась *вся* книга, и даже не знаю, какие стихи больше, м<ожет> б<ыть> – «Надежда», конечно, «Сердце», «Маяк», «Угол», «Зрение», да и всех не перечесть.

Шлю искреннее поздравление. Шлю искреннее пожелание облегчения страданий и восстановления сил.

Очень дружески,

А. Горская³

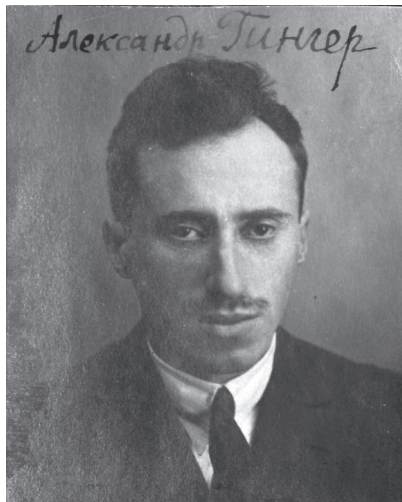
¹ University of Illinois Archives (Urbana-Champaign). Ms. 15/35/56 Sophie Pregel and Vadim Rudnev Coll. Box 2.

² Содружество: Из современной поэзии Русского Зарубежья. Вашингтон: Изд-во Виктора Камкина, 1966. С. 437.

³ Цит. по кн.: Дальние берега: Портреты писателей эмиграции / Сост., автор предисл. и коммент. Вадим Крейд. М.: Республика, 1994. С. 375.



Фотографии А. Гингера разных лет





Фотографии А. Присмановой
разных лет





Дом на 4, rue Thureau-Dangin,
где с 30-х гг. до конца своих дней жили А. Гингер и А. Присманова



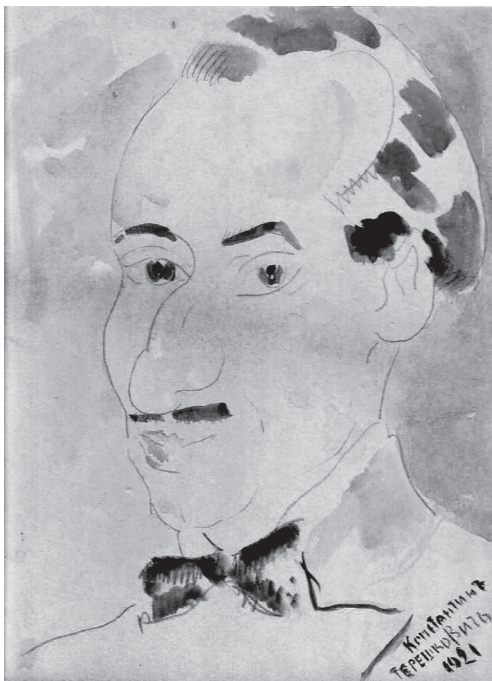


Вася, первенец
А. Гингера и А. Присмановой



Портрет 4-летнего
Василия (Basile) Гингера
работы Б. Котляра (1929)

Портрет А. Гингера
работы К. Терешковича
(1921)



Портрет А. Присмановой
работы И. Карской
(1935)



Борис Поплавский



Ида и Сергей Карские
(Париж, начало 1930-х гг.).
Фотография из семейного
альбома М. Карского
(Париж)



Жизнь и поэзия Гингера были попыткой преодоления творческим духом затверженных обиходом бескрылых и тривиальных истин. Почти никому при жизни не дано узнать, насколько осуществимы такие попытки, но здесь, наверное, следует говорить не столько о достижении цели, сколько о силе сопротивления духа косному земному веществу. Гингер и сам это признавал – и в стихах, и в те неординарные моменты жизни, когда, по слову поэта, «кончается искусство, и дышат почва и судьба». После кончины Присмановой он писал Б. Зайцеву в упомянутом выше письме:

Она <Присманова> была человек гораздо лучше и значительнее, чем Вы можете думать. Я не верю, что так называемая смерть могла нас разлучить, я хочу верить, что мы еще можем помочь друг другу. А кто думает, что ничего нет, я их не осуждаю, им еще хуже.

2

Думаю, что я не ошибусь, если скажу, что русская поэзия до появления в Париже Александра Гингера не знала такого оригинального, своеобразного, «с приветом» поэта¹.

Поэзия эта чревата будущим, поэзия нелепая и прекрасная!²

Принявший близко к сердцу совет русского поэта В. Бенедиктова, обращенный к тем, кто избрал для себя стихотворческую стезю – «Выдумывай неведомый язык!», или призыв его французского коллеги Г. Аполлинера – изменить суть слов («Épris épris des même paroles dont il faudra changer le sens»), Гингер, действуя по принципу, который не без ерничества определил в стихотворении «Утренняя прогулка» – «И пишу, словеса обнажая / И язык уморительно гня», – внутри своего достаточно скромного в количественном отношении поэтического наследия создал собственную герменевтику, основные конструктивные признаки которой хотя и обсуждались не раз в критических статьях

¹ *Сосинский Владимир*. Конурка // Вопросы литературы. 1991. № 6. С. 192.

² Из письма Ю. Иваска И. Чиннову о поэзии Гингера – после известия о его смерти.

о нем, однако изучены весьма поверхностно и далеко не в полной мере¹.

Еретическое гингеровское непослушание и нежелание следовать узаконенным правилам и канонам оборачивалось художественным инакомыслием. Близко знавший его современник впоследствии вспоминал, что превосходно знавший русский язык, Гингер в то же время

зачастую писал стихи так небрежно, нарушая все правила грамматики, которую обожал, так чисто по-хулигански вкрапливал нарочитую безграмотность, которую в других презирал, что я, прочтя его новое стихотворение, взрывался: «Каким же надо быть Элиотом, чтоб писать такие стихи! Побойся Бога, Саша!»²

«Хулиганские» языковые демарши Гингера имели, однако, почти во всех случаях некие «охранные грамоты», которыми он, превосходный знаток русской словесности, обзаводился и приберегал на случай неизбежного спора о легитимности своих непривычных и нерегламентированных словоупотреблений. Ср., например, в письме М. Вишняку, включенном в настоящее издание (№ 3):

Бесконечно благодарный, искренне извиняющийся за беспокойство и пришлощий (это причастие будущего времени, которое никто не употребляет, кроме Гоголя) корректуру сегодня вечером

Александр Гингер

Основным вопросом, который возникает в связи с гингеровским поэтическим феноменом, является вопрос *языковой*: в чем природа данной небрежности, «игры в безграмотность», стилистическо-

¹ Так, претендуя на некую, что ли, «суммарность» основной лирической коллизии в стихах Гингера, Ю. Иваск в обзоре послевоенной эмигрантской поэзии писал, что

«он не повествует, но его лирика всегда – на фоне чего-то отчетливо изображенного, зримого, например эстафетного бега. Свои длинные стихотворения он пишет – одним дыханием, но часто срывается, хотя и достаточно изощрен формально. Тема его всё та же – это старая сказка о бедном, чердачном, восторженном поэте, который юношески мечтательно любит этот пестрый мир. Но мир его не любит, обижает и хочет погубить» (*Иваск Ю. О послевоенной эмигрантской поэзии // НЖ. 1950. № 23. С. 205*).

Интересно, возможно ли отыскать в мировой поэзии хотя бы одного подлинного поэта, кого нельзя было бы подвести под эту характеристику?

² *Сосинский Владимир. Конурка // Вопросы литературы. 1991. № 6. С. 192.*

го юродства, которыми изобилует художественная манера этого поэта?

Тот язык, на котором написаны многие, в особенности ранние, стихи Гингера, был для многих его читателей, относившихся к грамматической ненормативности исключительно как к *lapsus linguae*, непривычен, неудобоварим и более того – недопустим в поэзии¹. Эмигрантская критика, заговорившая о Гингере в начале 20-х гг., многократно обращала внимание на его просторечия («Я говорил с самим собою / Разов, пожалуй, тридцать пять») и профанирующие прозаизмы («На прозаизмами богатой лире / Распространиться разрешите мне», «А Аполлон с противной старой лирой»)², архаизмы («Нет, не тебе – не темноокой – / Молитва царская моя, / Не низенькой и не высокой, / Ни ты, ни тех не знаю я», «Скажи, ты не забудешь мя?»), «А теперь: такой ползет за лоном / Женский ощутимый аромат / Ног и грудей, браных много крат, / Подлежалых на пути евоном...») и царапающие слух словесные неловкости («И обиженные поколения / Пожимают дланями виски...»), «Я теперь кончаю повесть эту / И поклон старательно кричу»³, «И пишу, словеса обнажая, / И язык уморительно гня»)⁴, смущающие «запретные» или «низкие» темы» (например, онанизм, поминаемый сразу в нескольких гингеровских стихотворениях: «Под одиночественной паутиной...»), «Разговор автора с самим собой») и обценную лексику («Ибо прелесть женская извечно / Змия у ужасного в плену: / Блядский плат ли, платье ль подвенечно – / Всё душа, что птица на клену»; «Веера блядей и честных дам»), синтаксические

¹ См., в частности, реакцию И. Бунина на словесные неправильности Д. Кнута, возникшие, вероятно, под непосредственным влиянием Гингера. Об этом: в комментариях к «Сонету VI» (сб. «Преданность»).

² За что Гингер был назван «антипоэтичным» (*Мандельштам Ю.* Гамбургский счет (По поводу «Антологии зарубежной поэзии») // Журнал содружества. 1936. № 2 (38), февр. С. 11).

³ «Кричать поклон», если воспользоваться реакцией Г. Адамовича на «теплый поклон» А. Бахраха, вызывает такое же, если не большее, «стилистическое удивление» (из письма Г. Адамовича Присмановой от 4 марта 1952 г. – Письма Адамовича: 262).

⁴ При этом вкус к словесным «вывертам» (Г. Струве) и непривычной лексике Гингер пронес через всю свою творческую жизнь. В рецензии на антологию зарубежной поэзии «Эстафета» Г. Аронсон указывал на словесные неправильности Гингера: «У Гингера “бьенье” сердца – вместо биенье. У него же такие тяжеловесные обороты, как “нарциссическое бытие” или “приснопредкрасные розы»» (*Аронсон Г.* Смотр русской поэзии за рубежом // НРС. 1948. № 13260, 15 авг. С. 5).

рытвины и ухабы («А торгоша Меркурий быстроглазый / *Мизинцем под*, конечно, приютит. / Что ж, в этой жизни надо быть пролазой, / И хорошо тому, кто *Китыч Тут*» – курсив наш. – В.Х.; «Ведь разливы Пановой свирели / Раздаются в рощах больше не») и неожиданно вкрапленные в поэтическую речь юродствующие канцеляризмы («Послушайте, ведь вы совсем не правы! / Ввиду того, что я живее всех», «На всем вышеизложенном, однако, / Ни капли не настаиваю я»¹) или даже откровенно-бравирующее презрение к школьной грамматике («Чтобы во мозгу они <мысли> не кисли, / На бумагу их теперь ложу»), что, безусловно, отражает общий характер грамматического неповиновения авангардистского дискурса, ср., например, с текстами типа «Асел напракат» И. Зданевича, подвергающими диктат грамматики полному и демонстративному игнорированию.

Недовольство сдерживающими литературными нормами проявилось в случае Гингера не в решительном и полном уходе в заумь, а некоторыми, что ли, дерзкими вылазками за пределы той грамматической системы, существование которой он осознавал как нечто мешающее свободе слова. Прокрасться в такие тайные уголки и закоулки языка, где действуют не сухие правила грамматики, а его богатые оксюморонные возможности, и испытать свою независимость и превосходство словотворца – вот, пожалуй, каков был главный творческий стимул этого поэта.

Подобно многим из тех, кто входил в его творческое окружение (в «свору»), Гингер воспринимал ветшание слова в поэзии как естественный процесс, без приложения специальных усилий, как это делал, по преданию, Бодлер, натирая свои костюмы наждаком для того, чтобы превратить их в лохмотья. Гингер любит эти пограничные, промежуточные состояния своих «словесных вывертов»: не то чтобы изготовленный стопроцентный неологизм, но и явно не из общеупотребимого *filing-cabinet* взято: с одной стороны, несомненная ломка привычного языкового кода, с другой – выявление возможностей словообраза, его скрытых потенций. И вот что в особенности интересно и важно: гингеровский стиль вовсе не фокусничанье, не эпатаж, а органическое свойство его художественного языка и мышления, той поэтической материи, которую они ткут и которая потому и не может быть иной. С особой очевидностью это демонстрирует твор-

¹ Что, возможно, аукнулось в стихотворении Б. Поплавского «Отвращение» (1923): «В сей вышеупомянутый приют».

ческая эволюция поэта: с годами строй его стихов всё более и более приобретал классическую форму, и тем не менее в нем продолжала пульсировать иррациональная, однако неистребимая «нарушительная тяга», свидетельствующая о неизменном желании Гингера говорить данным ему от природы голосом. Как известно, в отличие от риторов, *poëtae nascuntur* – поэтами только рождаются.

Начиная с первого сборника, «Своры верных», на читателя обрушивался ливень гингеровских словечек, которые, до известной степени походя на общеупотребимые, вместе с тем разнились с ними, создавая эффект новизны и, как при всякой новизне, – довольно ошутимого «рецептивного неудобства». Упомянем лишь некоторые, хотя почти каждый стихотворный опыт Гингера можно было бы причислить если не к обязательной поэтической удаче, то во всяком случае к небезынтересному эксперименту со словом: «произвольенье земли» («Просительной не простираю длани...»), «Замайнарится парус дыривый» («Крымская песня»), «свора <...> чутконосых» («Свора верных»), «штан с бахромой» («Упражнение»), «путь полотняный» – от железнодорожного полотна, «лесок прищпальный» – вдоль железнодорожной колеи («Песок»); движение катушки киноаппарата, по Гингеру, это «катушечный двиг» («Кинематограф»), Млечный Путь превращается в Молочную Дорогу («Молочная дорога»), бьющееся сердце – «отбилось от рук» («Что ж ты сердце; дрожишь, полукровка?...») и мн., мн. др.

При этом Гингер нередко расположен к изобретению слов двусоставных, как бы сливающихся воедино уже существующие обиходные слова, но в таком – соединенном – виде образывая из них нечто свое, новое и необычное, как это вообще свойственно экспериментальным словотворческим практикам: скажем, «сонцеализм» И. Терентьева¹. Эта «словосвязь», «словосоединение», «словостроительство» составляет особую область гингеровского лексического эксперимента и практической поэтической филологии: «коленосклонный» («Просительной не простираю длани...»), «нежноногие новички» («Кау-бой»), «рука доброподружная» («Мания преследования»)², «мелкодрожный лесок» («Песок»), «команды четверчленных» («Факел») и др.³

¹ Терентьев И. Собрание сочинений. Болонья, 1988. С. 172.

² Не исключено, что Б. Божнев в письме Присмановой (№ 17) «с умыслом» строит свой эпитет «друже-печатное письмо» по той же самой модели.

³ Кажется, из всех эмигрантских поэтов наиболее часто форму скрещивания двух корней в одном слове и изобретения тем самым новой словоформы использовал

Далеко не всем это приходилось по душе. К. Елита-Вильчковский, рецензируя гингеровский сборник стихов «Жалоба и торжество», писал, что поэт

выбирает самые длинные слова из существующих в нашем богатом языке, а то и просто придумывает новые, греко-русского образца.

И далее приводил образцы из этого «тяжеловесного», на его взгляд и вкус, поэтического словаря: «тридцатипятиочито», «стихо-печальная», «выздоравливающий», «неосуществившихся», «добро-подружная», «стихотворительное», – «такого рода гирь он <Гингер> набирает внушительное количество»¹.

Новоизобретенная Гингером лексика, как это зачастую бывает в стихотворческих экспериментах, не стала общественным достоянием, не превратилась в широкое явление разговорного языка, а осталась фактом индивидуальной поэтики, но подчас его наиболее удачным образам нельзя отказать в филологической остроумии и не отдать дань их языковой колоритности. Подчас его словесный поиск в духе В. Хлебникова приносит очаровательные результаты, как, скажем, в стихотворении «Забавлявшийся травлей и рогом», в котором вместо привычных и употребительных в русском языке причастий – *политый* и *посыпанный* – поэт использует их измененные, изобретенные самолично формы: *поливанный* и *посыпанный*:

Он предстанет веселый, могучий,
В лунном блеске и в шуме морском,
Поливанный дождями из тучи,
Посыпанный пустынным песком.

И далее нагнетается этот тип новоявленных причастий, которые, в отличие от приведенных, приобретают краткую форму, что придает им некий оттенок древнеславянской лексики:

Воздыманы болотные птицы,
Выслежаны глухие сурки,

именно Гингер, хотя и у других поэтов, в особенности исповедующих авангардную поэтику, разумеется, можно найти нечто подобное, см., например, у В. Мамченко в стихотворении «Романтика»: «земнонебная черта» (Русский сборник. Кн. I. Париж, 1946. С. 142).

¹ Бодрость. 1939. № 230, 18 июня. С. 3.

Загоняны пушные лисицы,
Снеговые рваны беляки...

Или – другой пример. Словесная новизна и неординарность как наиболее значимый *trademark* гингеровской поэзии делает его образы, при всей их нередкой шероховатости и неотполированности, резко «выдвинутыми» и запоминающимися, нарушающими привычный автоматизм восприятия. Вот, допустим, пример описания бегущего марафонца у Ант. Ладинского («Атлет»): «Как высоко грудную клетку / Вздыхает марафонский бег», а вот о телесной позе бегуна, принимающего эстафету, у Гингера («Факел»): «...взгляд назад, а тело наперед». Неуклюже, но в то же время пластически зримо и образно, что лишний раз подтверждает представление о подлинной поэзии не как о «гладкописи», а именно как о словесно-сдвиговых находках и открытиях.

Но дело даже не в каких-то отдельных словесных удачах. Если попытаться продраться в первых сборниках поэта – «Свора верных» и «Преданность» – сквозь довольно плотный слой того, что сам автор не без доли эпатажного юродства обозвал «словесным хламом» («Упражнение»), можно обнаружить не только «плевочки» (Маяковский) поэтических жемчужин, но и нечто большее – своего рода принципы композиционного устройства сборника стихов именно как *книги* – с необходимыми в таком случае образной динамикой, «лирическими коллизиями» и их разрешением, апогеем эмоционального напряжения и его разрядкой. Всё это, между прочим, дает основание говорить о гингеровском «юродстве» и «дурачествах» как чисто внешней маске, под которой скрывается Гиппократова сущность поэзии, ее исцеляющая сила – не в прямом и внешнем, конечно, смысле излечения от болезней и пороков, а в смысле духовного возвеличивания личности. При таком способе прочтения гингеровское «стихотворительное одержанье» становится формой противодействия собственному слабосилию, безволию, малодушию, невзрачности («трусливый телом и душой плюгавый»), т.е. всему тому комплексу антигероичного, который, как и героичное, безусловно, достоин поэтического внимания и сочувствия.

С точки зрения звукового построения стиха Гингер полностью разделял авангардистские конвенции о том, что «мысль делается во рту» и звук, который сам по себе есть полноценная и законченная мысль, является семантической порождающей стиха. Гингеровская

глоссалия выражает общие поиски поэзии XX века и в этом смысле близка к упоминавшимся выше хлебниковским экспериментам со словом – недаром среди его предшественников некоторые критики называли само имя Хлебникова¹ и в более широком смысле подчеркивалась его связь с футуризмом².

Многие находки Гингера в области звукописи имеют несомненные семантические эффекты, типа: «Обласкан я что лацкан стал» («Пелагея») – сияющий от ласки (кого гладят, холят, покрывают поцелуями) уподоблен лоснящимся от многолетней носки лацканам пиджака (тоже своего рода «ласка» – утюга, заботливых рук и пр.), хотя, возможно, что дела, в сущности, не меняет, имеется в виду атласная материя, из которой изготовлены лацканы. Заметим, что не чем иным, как именно аллитерационной игрой объясняются некоторые загадки в гингеровском творчестве, – например, уже упоминавшийся выше его псевдоним АГНия НАГАГо: как представляется, звуки А, Г, Н, И образуют «фонический костяк» и в псевдониме, и в подлинных имени и фамилии поэта – АлексаНдр ГиНГер³. Агния имела отчество, и неудивительно, что была она не Ивановна, Михайловна или Абрамовна, а ГеНнАди-

¹ Струве Г.П. Русская литература в изгнании. 3-е изд., испр. и доп. Париж: YMCA-Press; М.: Русский путь, 1996. С. 117 (1-е изд. – 1956). Оговаривая их, Хлебникова и Гингера, различие, Г. Струве пишет, что «Гингер не предается, впрочем, словотворчеству, но он любит словесные выверты, некоторое насилие над языком, не только затрудненность его, но и нарочитую (как будто) безграмотность. Есть в его стихах что-то вымученное» (Там же). Ср.: *Livak Leonid. Aleksandr Ginger // Twentieth-Century Russian Émigré Writers / Ed. by M. Rubins. Deitroit: Thomson Gale, 2005. P. 129.*

² *A Russian Cultural Revival: (A Critical Anthology of Émigré Literature before 1939) / Ed. and transl. by T. Pachmuss. Knoxville: The University of Tennessee Press, 1981. P. 393.* Ср. замечание Ю. Иваска о том, что несмотря на то, что Гингер – «старый парижанин», «едва ли его творчество для русско-парижской поэзии характерно», и далее он так объяснял свою мысль:

«В Париже, в особенности в 30-х гг., «культивировалась» *простота*, а Гингер – не прост. Он риторичен и склонен к стихотворным экспериментам. Его традиция державинская и отчасти футуристическая. Именно поэтому в Париже его как-то чуждались, хотя и признавали. Риторическая поэзия имеет плохую репутацию. От риторики часто «веет холодом», но не всегда. Риторические эффекты, жестикуляция могут быть внутренне оправданы и «согреты» страстностью, темпераментом» (Оп. 1957. Кн. 8. С. 134–135).

³ Говоря о «феминистичности» псевдонима Гингера, до известного предела, разумеется, можно вести речь о трансформации половой маски, связанной с общим «карнавальным» духом его творчества.

евна¹, т.е. и здесь вновь усиливалось, и, без сомнения, с сознательным прицелом, фоническое созвучие с фамилией Гингер.

Со всей категоричностью, однако, следует еще раз подчеркнуть, что Гингер все-таки не творец поэтической зауми или последовательный приверженец дадаистических или сюрреалистических опытов в поэзии, – его стихи, практически без исключения, опираются на смылосодержательную твердь, хотя внутри последней имеются свои, достаточно разнообразные и прихотливые, «темы и вариации». При всей левизне Гингера (или как осторожной выразился Ю. Терапиано, «умеренной левизне»²) его лишь самым поверхностным образом, лишь по касательной (да и то с серьезными оговорками) можно причислить к чистым поэтам-экспериментаторам, под чьим влиянием он, безусловно, находился и чьи взгляды, безусловно, разделял.

Стихи Гингера, человека начитанного и просвещенного, к тому же на редкость грамотного (о чем уже шла речь выше), пестрят, однако, нелепыми грамматическими ошибками, покушениями против образцов, правил и норм, принятых в русской письменной речи – словами «несуразными и неожиданными», если применительно к нему использовать строчку из стихотворения А. Хржановского «По А. Присмановой»³.

Всё это, безусловно, имело свою давнюю традицию в известном принципе европейского модернизма и декаданса – «слова на свободе»: «les mots mis en liberté» (А. Рембо) или «parole in libertà» (Ф. Маринетти). «Грамматические сдвиги» в стихах Гингера, как у всякого авангардиста, проистекали из убеждения презумпции поэтического слова над нормативным. Нельзя сказать, чтобы все его словесные эксперименты признавались тогда (или сегодня) стопроцентно удачными: даже у гингеровских друзей и почитателей, таких, например, как Г. Адамович, вызывало возражение излишнее и нарочитое манерничанье поэта. Больше того, ряд его друзей, занимавших, как и он сам, «левые» позиции в искусстве – Б. Божнев, Б. Поплавский и др., кого трудно заподозрить в «обывательском» отношении к творческому эксперименту, – не скрывали своего недоумения и даже негодования

¹ См. «Из записной книжки <3>» в разделе «Проза. Рассказы, очерки, эссе», а также письмо Н. Татищева Гингеру № 2, от 7 февраля 1949 г.

² *Терапиано Юрий*. Литературная жизнь русского Парижа за полвека (1924–1974): Эссе, воспоминания, статьи. Париж; Нью-Йорк: Альбатрос–Третья волна, 1987. С. 228.

³ *Хржановский Алексей*. Стихотворения. Париж, 1955. С. 37.

перед некоторыми крайностями Гингера (об их гневной реакции на участие Гингера в составлении вместе с С. Шаршуном знаменитых «листовок», помеси дада и Ницше, которые, что называется, изначально были *succès de scandale* – обречены на скандал, см. в письмах Б. Божнева, приведенных в томе II. Письма, №№ 1–3). Кроме того, Гингер был убежден в необходимости реформировать некоторые устоявшиеся орфографические правила и нормы русского языка, сблизить устную речь с ее письменным отображением¹.

Всё это закрепило за Гингером славу *homo ludens* – «человека играющего», имитационного, прячущего свою подлинную суть и выставляющего взамен нее – как в обыденном поведении, так и в творчестве – некие субституты.

Будучи по своей сути человеком высокой и всесторонней культуры, Гингер склонен разыгрывать простодушие и в поэзии, и в повседневной жизни, – свидетельствовал о нем Д. Кнут².

Нет никакой нужды ломиться в открытые двери и доказывать, что герой гингеровской поэзии носит лирическую маску, которая не совпадает с человеческим «я» поэта. Совершенно очевидно, что «сооруженье стихотворных строк» разворачивается у Гингера в игровой ситуации, при этом в качестве основной и излюбленной формы сознания субъекта поэтической речи доминируют такие качества, как примитивность, неискушенность, неуклюжесть, прямодушие, дилетантство – словом, вместо поэта-витии, поэта-вождя, поэта-пророка мы находим у Гингера простака, сиящегося понять «грамматику поэзии» и наивно полагающего, что стихотворные строки в самом деле сооружаются, подобно, скажем, тому, как у Поплавского «создаются» сны («Я прохожу. Тщеславен я и сир...»):

И понял я: городской, дитя,
Не знает, нет, моста к созданию снов,
Поэту достижимому хотя.

Стилизованно-косноязычных, «инфантилизованных» конструкций в стихах Гингера великое множество. В его ранней поэзии они в особенности распространены:

¹ Некоторые отголоски этого см. в письмах Гингера к С. Прегель (№№ 3 и 5) и письме к нему М. Талова (№ 6, от 1 марта 1965 г.), публикуемых в настоящем издании.

² Кнут I: 271.

Уцелевшим в действиях убойных
Трижды вожделенны очаги.
Помяни безвременно-покойных
И о них не плакать не моги.
(«Сердобольно, даже сокрушенно...»)

Тебе же, Марс, поклон без мысли задней,
Твой низок лоб, но вот пряма спина,
Кто скажет (хам), что мир войны повадней,
Того ногою следует пинать.
(«Хиромантия»)

Цитировать можно и дальше. Но здесь важнее отметить то, что речевой строй гингеровских стихов представляет собой не только (а в каком-то смысле и не столько) озвученное индивидуально-авторское лирическое настроение, но нечто гораздо более широкое и целокупное как в социально-историческом, так и в общечеловеческом смысле – художественную рефлексию поколения, культурно и творчески осознавшего себя «под чужими небесами».

Гингер – поэт принципиально ариторичный, шагающий не в ногу с остальными, если вообще куда-либо шагающий, автор своевольный, дерзкий, беззастенчиво нарушающий привычные представления о дозволенном и недозволенном в поэзии, поэт, изобилующий, по замечанию К. Мочульского, «нарочитым цинизмом» и «иронической терпкостью»¹. Стилизация неискренности, лирическая маска «примитива» (поемим ее так), ради чего, собственно, и забывается начитанность, высокая культура, изощренная поэтическая техника, тесно связаны с добровольно наложенной на себя аскезой – одной из «идеологических» конвенций, имевших для поэтов того поколенческого и мировоззренческого круга, к которому принадлежал Гингер, «стойк и нигилист», как назвал его Д. Кнут, крайне существенное значение.

Эта аскеза не просто стала источником образности, пронизывающей и пропитывающей стихи келейного братства – «своры», «палаты поэтов», но, в конце концов, оказалась тем фундаментальным морально-философским основанием художественного постижения

¹ Мочульский К. Молодые поэты // К.В. Мочульский. Кризис воображения: Статьи. Эссе. Портреты. Томск: Водолей, 1999. С. 290 (впервые: ПН. 1929. № 2004, 13 июня).

жизни в изгнании, которое во многом определило само значение и звучание «парижской ноты» русской поэзии. С предельной экспрессивностью этот «символ веры» и одно из главных мерил ценностей, какими они сложились в опыте молодого поколения эмиграции, сформулировал Поплавский:

Ясно, что удаваться и быть благополучным – греховно и мистически неприлично¹.

Сама потребность в речевой лирической исповеди поэтов «сворь» продиктована теми волнениями и жадой перевоплощений, которые человек, переживая «роман с Богом», испытывал в «начале мира». И хотя гингеровское «стихотворительное одержанье» сопровождается несколько грубоватой и «неотесанной» земной мудростью, но зато полно подлинной святости, духовности и веры. Кажущаяся «убогость» жизни в этом преследовании первородных инициаций оборачивается приближением к истинным философским основам мироздания и бытия². Тем же чувством проникнуты и главные герои творчества Гингера, кому он передоверяет роль носителей высшего духа и вековой морали и «телесность» которых совпадает с первозданной «земной телесностью», – философы-стоики, отшельники, атлеты, солдаты (см. в последнем случае сходную «армейскую» атрибутику в гингеровских стихах («Сердобольно, даже сокрушено...»), «Заматавши новые портянки...»), «Солдаты») и стихах Поплавского («диптих» «Армейские стансы») – все, кто воплощает в себе христианский идеал «опрошенного» и сурово-мужественного подвижничества. Перекличка Гингера

¹ Поплавский Б. О мистической атмосфере молодой литературы в эмиграции // Ч. 1930. № 2/3. С. 309.

² Ср. поэтическую реализацию этого «оксюморонного» принципа существования в 1-й части стихотворного цикла Б. Божнева «Из книги “Ayse”» (Ч. 1930. № 2/3. С. 14):

Я был в тот день исполнен всякой скверны,
Но отчего, когда я был убог,
Я слышал голос рифмы суеверной,
Твердившей мне – порог, дорог, строг, Бог...

Но днесь, когда я стал опять немного
Похож на звук божественных стихов,
Не нахожу я в небе рифмы Бога
Для сладостной гармонии богов...

и Поплавского в этом случае в особенности заметна и показательна: недаром для своих размышлений о существовании «парижской мистической школы» в русской эмигрантской литературе, достигающей «самораскрытия духа» именно в этом самом подвижничестве, Поплавский приводит заключительную строфу из стихотворения Гингера «Я считаю, что я недостаточно смел...»:

А когда спасения больше нет,
Нужно чистую рубаху надеть¹,
Чтобы Бог не сказал, что в предсмертный час²
Позабыл человек чистоту³.

В «оксюморонном герое» Гингера каким-то странным и, на первый взгляд, необъяснимым образом сочетаются противоположные и никак несоединимые качества – лирическая тонкость и пародийность, глубокая духовная жизнь и примитивность, грубость и нежность, философская глубина и юродство, эпикурейство и аскетизм. Вместе с тем в психологическом отношении это в высшей степени оправдано и объяснимо. В «Аполлоне Безобразов» Поплавского есть описание того, как травмированный эмигрантским существованием герой, стыдящийся своей бедности и неухоженности, живущий в состоянии постоянного страха и тревоги («трансцендентной униженности»), вдруг переживает нервно-психологический шок, после которого его угнетенное сознание делается мстительным, нарочито-эпатажным, едва ли не мазохистским:

Я смертельно боялся войти в магазин, даже если у меня было достаточно денег. Я жуликовато краснел, разговаривая с полицией. Я страдал решительно от всего, пока вдруг не переходил предел обнищания и с

¹ В оригинале: «Надо чистую рубаху надеть».

² В оригинале: «в смертный час».

³ Поплавский Б. О мистической атмосфере молодой литературы в эмиграции // Ч. 1930. № 2/3. С. 311. См. далее у Поплавского перечень «мужественных» профессий как некую параллель эмигрантским «поэтам, мечтателям и романтикам», которые «могли бы сделаться матросами, акробатами, рыбаками», что перекликается с концовкой стихотворения Гингера «Всеи душой полюбила душа моя...»:

Я привет под испорченным зонтиком
Голоском восклицаю скопца
Мореплавателям и охотникам,
Путешественникам и борцам.

какой-то зловеще-христианской гордостью начал выставлять разорванные промокшие ботинки, которые чавкали при каждом шаге¹.

Дуалистичность лирического «я» Гингера – реальный продукт этого душевного катаклизма, воплощенная в поэтическом образе одна из психологических испостасей «эмигрантского молодого человека». Своего рода оборонительным инстинктом уязвленного, ущербного сознания становится пародийно-саркастическая маска, шутовской колпак – способ самозащиты, известный издревле. Гингеровская поэзия выявляет во всем этом отчетливую художественную составляющую. Говоря по необходимости несколько упрощенно, вынужденное «опрошение» лишает фигуру поэта ореола жреческого величия и возвышенной риторики, выглядящих достаточно комично в соединении, если воспользоваться приведенным выше образом Поплавского, *с промокишими ботинками эмигранта, чавкающими при каждом шаге*.

Философия стоического «опрошения», аскетизма, притяия суровой бедности как способа первородного ощущения «голого человека на голой земле» оказалась для молодого поколения эмигрантов достаточно продуктивной формой творческого дискурса. Она воплотилась в большом количестве текстов – стихов, художественной прозы, эссе, критических статей, дневниковых записей, писем и пр., в особенности у тех, для кого литература осознавалась как «человеческий документ», пусть и наполненный духом метафизики. По общему мнению, одно из главных достижений литературы молодых стало творчество Поплавского, которого роднят с автором «Своры верных» и «Преданности» многие общие поэтические конвенции, а главный герой романа «Аполлон Безобразов» так и вовсе представляет собой, как известно, если не один из отголосков конкретной личности Гингера, то во всяком случае включает в свою философскую палитру гингеровский стоицизм.

«Опрошение» и огрубление героя, снятие поэтического величия не могли не затронуть такую область, как язык: эпатаж, ерничанье, юродство становятся формами самоутверждения лирического субъекта, его экспрессивной маской. Но Гингер не зря предупреждает в одном из стихотворений («Под одиночественной паутиной...»):

¹ БП-II: 11.

Не думай, друг, что словом несерьезным
Когда-нибудь я осквернил свой стих...

Подобно Пушкину, *обливавшемуся слезами над вымыслом*, Гингер омывает «током слезным» свои «четверострочья», и этот подлинно поэтический акт свидетельствует о такой мере внутренней серьезности и душевной сосредоточенности, перед которой становится очевидным бессилие и никчемность внешне эффектной трескучей риторики.

Гингер может нравиться или не нравиться, но он – поэт со своим голосом, или, как выразился Ю. Терапиано, – с «нотой»¹. Причем «ноту» эту он нашел едва ли не с первых своих стихов, оставаясь на протяжении всего творческого пути самобытным и ни на кого не похожим, движущимся по непроторенным и нехоженым поэтическим тропам.

Когда-то Ю. Иваск писал, обозревая поэзию «старой» эмиграции, т.е. той, что покинула Россию в результате большевистского переворота и последовавшей за ней гражданской распри:

Присманову и Гингера в Париже недостаточно ценили: их еще от-
кроют и ими будут очарованы².

Относительно первой части этого высказывания можно поспорить: одна из целей данной книги как раз и заключается в том, чтобы показать, что Гингер (и Присманова) занимал (занимали) важное место в истории русской эмигрантской поэзии, и этот факт освидетельствован многими современниками, а не является позднейшим «исследовательским выводом». Что же касается попытки прорицания того, что поэзия того и другого когда-нибудь найдет отклик в читательских сердцах, хочется поддержать его хотя бы чисто эмоционально.

Поэзия Гингера – при всех ее слабостях и неудачах – своей художественной значимостью и ценностью, безусловно, перерастает ограниченные рамки локального историко-литературного прецедента и приобретает не привязанную исключительно к конкретным временным обстоятельствам дальнюю перспективу, родственную и

¹ Терапиано Ю. Новые книги // РМ. 1965. № 2344, 7 авг. С. 6.

² Иваск Юрий. Поэзия «старой» эмиграции // Русская литература в эмиграции / Под ред. Н.П. Полторацкого. Питтсбург: Отдел славянских языков и литератур Питтсбургского университета, 1972. С. 65.

свойственную подлинному искусству. Звучащая в гингеровских стихах нота спасительного неблагополучия, связывающая их с местом и временем, внутри которых они создавались, преодолевает в то же время «историческую гравитацию» и выражает ту победу «духа над веществом», о которой Гингер писал в одном из своих писем¹ и о которой он готов поведать, если воспользоваться образом другого русского поэта, «векам, истории и мирозданию».

Чувство благодарности, которое составитель этой книги испытывает ко всем, кто на разных этапах, — когда она задумывалась, наполнялась материалом, «доводилась до кондиции» и издавалась, — помогал ему, выручал тем, что рылся в труднодоступных газетных подшивках или архивохранилищах, делился собственными копиями или, по крайней мере, подсказывал, где их можно отыскать, вряд ли могут быть выражены в заурядной словесной форме. Без помощи многочисленных друзей и коллег эта книга вряд ли могла бы увидеть свет.

Мы благодарны Андрею Устинову (San Francisco), вместе с которым много лет назад обсуждался проект такой книги и кто, по причудливой прихоти судьбы, дополнил ее некоторыми важными материалами на заключительном этапе, замкнув тем самым круг времени, в течение которого она задумывалась, собиралась и готовилась к печати. Неоценим вклад в это издание Владислава Резвого (Москва), который самоотверженно откликнулся на все наши просьбы. Среди бескорыстных помощников, которым хотелось бы выразить бесконечную сердечную признательность: Елена Погорельская, Евгения Варенцова, Анна Чулкова, Олег Коростелев и Дмитрий Неустроев (все — Москва), Елена Кряжева (Йошкар-Ола), Ричард Дэвис (Leeds), Татьяна Чеботарева (New York), Геннадий Обатнин и Ирина Лукка (Helsinki), Яша Клоц (New Haven), Мишель Карский и Борис Татищев (Paris), Лукаш Бабка (Prague), Ханна Махоуркова (Vienna), Елена Яковлева (Санкт-Петербург).

¹ В письме к Б. Зайцеву конца 1960 г., в том самом, в котором он рассказывал о смерти Присмановой, Гингер писал: «Кто не думает каждый день о победе духа над веществом, тем я не завидую» (Bakhmeteff Archive of Russian and East European History and Culture, Rare Book and Manuscript Library, Columbia University (New York). Ms. Coll. Zaitsev. Box 1; опубликовано в статье А.И. Чагина «“Насковзь мужественный мир” Александра Гингера» (1995) в кн.: *Чагин А.И. Пути и лица: О русской литературе XX века*. М.: ИМЛИ РАН, 2008. С. 372.

К сожалению, выхода книги не дождалась те, кто ждал ее с особым нетерпением, – сыновья Гингера и Присмановой, Basile и Serge, к кому мы испытываем немеркнувшее чувство благодарной памяти.

Владимир Хазан

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В КНИГЕ

- Альбом* – Альбом Гингера и Присмановой, заведенный для посетителей их «литературных сред» (University of Illinois Archives (Urbana-Champaign). Ms. 15/35/56 Sophie Pregel and Vadim Rudnev Coll.).
- Б – Журнал «Благонамеренный» (Брюссель) / Ред. Д.А. Шаховской (1926. №№ 1, 2).
- Бахрах 1980 – *Бахрах Александр*. По памяти, по записям: Литературные портреты. Париж: La press libre, 1980 (очерк о Гингере «Наш общий друг» впервые был опубликован в РМ. 1979. № 3264, 12 июля. С. 8–9).
- БП – *Поплавский Б.* Собрание сочинений: В 3-х томах / Сост., вступ. ст., коммент. Е. Менегальдо; подг. текстов А.Н. Богословского и Е. Менегальдо. М.: Книжница; Русский путь; Согласие, 2000–2009.
- Воз-1 – Ежедневная газета «Возрождение» (Париж; 1925–1940).
- Воз-2 – Журнал «Возрождение» (Париж; 1949–1974).
- ВР – Журнал «Воля России» (Прага; 1922–1932).
- Газданов 1966 – *Газданов Гайто*. Памяти Александра Гингера // НЖ. 1966. № 82. С. 126–132.
- Гр – Журнал «Грани» (с 1946 до 1991 издавался во Франкфурте-на-Майне).
- Если чудо вообще возможно за границей – «Если чудо вообще возможно за границей...»: Эпоха 1950-х гг. в переписке русских литераторов-эмигрантов / Сост., предисл. примеч. О.А. Коростелева. М.: Библиотека-фонд «Русское Зарубежье»; Русский путь, 2008.
- З – Журнал «Звено» (Париж; 1926–1928).
- Кнут – *Кнут Довид*. Собрание сочинений: В 2-х томах / Сост. и коммент. В. Хазана. Jerusalem: The Hebrew University of Jerusalem; The Dept. of Russian&Slavic Studies, 1997–1998.
- Кр – Альманах «Круг» (1936–1938. Кн. 1, 2, 3).
- Мс – Альманах «Мосты» (Мюнхен; 1958–1970. Кн. 1–15).
- Муза Диаспоры – Муза Диаспоры: Избранные стихи зарубежных поэтов. 1920–1960 / Под ред. Ю. Терапиано. Frankfurt am Main: Посев, 1960.
- На Западе – На Западе: Антология русской зарубежной поэзии / Сост. Ю. Иваск. Нью-Йорк: Изд-во им Чехова, 1953.

- НЖ – «Новый журнал» (Нью-Йорк, с 1942).
- Нов – Журнал «Новоселье» / Ред. С.Ю. Прегель (Нью-Йорк – Париж; 1942–1950).
- НРС – Газета «Новое русское слово» (Нью-Йорк, с 1910).
- ОНС – Отрывки из неоконченных стихотворений, подаренных Гингером Иде и Сергею Карским (1933); частный архив М. Карского (Париж).
- Оп – Журнал «Опыты» / Изд. М.С. Цетлина (Нью-Йорк; 1953–1958).
- Письма Адамовича – Письма Георгия Адамовича / Публ. и прим. В. Крейда // НЖ. 1994. № 194.
- Письма запрещенных людей – Письма запрещенных людей: Литература и жизнь эмиграции. 1950–1980-е годы: По материалам архива И.В. Чиннова / Сост. О.Ф. Кузнецова. М.: ИМЛИ РАН, 2003.
- ПН – Газета «Последние новости» (Париж; 1920–1940).
- Померанцев – *Померанцев Кирилл*. Сквозь смерть: Воспоминания. Overseas Publications Interchange Ltd, 1986.
- Поплавский*, Неизданное – *Поплавский Б.Ю.* Неизданное: Дневники, статьи, стихи, письма / Сост. и коммент. А. Богословского и Е. Менегальдо. М.: Христианское изд-во, 1996.
- СППК-I – Стихотворение: Поэзия и поэтическая критика. I. Париж, 1928.
- СППК-II – Стихотворение: Поэзия и поэтическая критика. II. Париж, 1928.
- РЗ – Журнал «Русские записки» (Париж; Шанхай; 1937–1939).
- РМ – Газета «Русская мысль» (Париж; с 1947).
- РН – Газета «Русские новости» / Ред. А.Ф. Ступницкий (Париж; 1945–1970).
- СЗ – Журнал «Современные записки» / Ред. Н.Д. Авксентьев, И.И. Бунаков (Фондаминский), М.В. Вишняк, А.И. Гуковский (до 1925), В.В. Руднев (Париж; 1920–1940).
- СП – Журнал «Своими путями» (Прага; 1924–1926. №№ 1/2–12/13).
- СсС – Сборник стихов Союза молодых поэтов и писателей в Париже <1–5 вып.>. 1929–1931.
- Хроника – Русское зарубежье: Хроника научной, культурной и общественной жизни. 1920–1975: Франция. Т. 1–8 / Под общ. ред. Л.А. Мнухина. Париж: УМСА-Press; М.: Русский путь, 1995–2002.

Ч – Журнал «Числа» / Ред. Н.А. Оцуп (Париж; 1930–1934. Кн. 1–10).

ЧС – Литературно-сатирический еженедельник «Честный слон» / Ред. Д.Ю. Кобяков (Париж; 3 марта – 8 декабря 1945; №№ 1–30).

Эстафета – Эстафета / Сост.-ред.: И. Яссен, В. Андреев, Ю. Терапиано. Париж; Нью-Йорк, 1948.

Якорь – Якорь / Сост. Г. Адамович и М. Кантор. Берлин: Петрополис, 1936.

ПОЭЗИЯ

СВОРА ВЕРНЫХ

* * *

Дор. Ш.

Просительной не стираю длани.
Покорно полузакрываю вежды.
Ведь гордость нищих – избегать надежды,
И сила немощных – не знать желаний.

Я думаю, что росам на поляне
Приятно увлажнить мои одежды.
Любезен шаг смиренного невежды
Тишайшим травам – нежности гуляний.

Благоуханная! коленисклонный
Вернулся скуден к Матернему лону.
Трепещет сердце, предвкушеньем радо.

Уста горят блаженным вождельем.
От ярых мечт – пречистая ограда! –
Избавлен я Земли произволением.

1921

КРЫМСКАЯ ПЕСНЯ

Скажем прямо: судьба – без управы.
Коли нет ни удачи, ни славы –
 Так уж нечего больше и ждать.
Замайнажится парус дырявый –
 Полно, братик, по волнам гулять.

Скучно, старый! а в море – свободно...
Залатай-ка ты парус негодный,
Почини ты прогнилый баркас
И отдайся волне непогодной,
Снарядись на единственный час.

Славно вирить под свежей низовкой.
Будь моряк бесшабашный и ловкий,
А на парусе будешь лежать –
Попрощаешься с жизнью-чертовкой
И промолвишь: Пора помирать.

МОЙ ПЕТЕРБУРГ

Мой Петербург, родны мне все трущобы
Твоей зловонной, гнилостной утробы –
Милей душе, чем сказки мудрецов.

Сияньем синеватых фонарей
Ты душу утишал.
На бой подков ответный стук торцов
Ласкал мой слух.
Под этот звук жила мечта бодрей.

1913

* * *

Вдруг помчатся испуганные лани.
Задрожали хрупкие рога.
Уносишь от ужаса закляний,
От ножей безбожного врага.

Бег копыт шумит по тундре вязкой.
Ланий лёт охотник уследит.
Млечный Путь течет над этой сказкой,
Горький ветер мучительно чудит.

Хладной ночи пьяная услада,
Страстной боли светлое вино...
Бьется обезумевшее стадо,
Трепетаньем страха пронзено.

ЭЛЕГИЧЕСКОЕ ДВУСТИШИЕ

Будешь ты помнить подругу, которой «на память» дарил ты;
Скоро забудешь о той, чьи засушил ты цветы.

1917

* * *

Она придет своей дорогой.
Вот подойдет и позовет –
И вдруг замолкнет разум строгий,
Смешное сердце зорю бьет.

Ты знаешь: кони табуна
Несутся вскачь, пусть нет дороги.
Страшна улыбка горбуна,
Глаза уроды-недотроги.

Бежать? Рыдать? Молиться Богу?
Всесилен враг: спасенья нет.
Она найдет свою дорогу,
Она пойдет тебе вослед.

Душа спала, душа ждала,
И были сны, и песен много.
Но подошла и позвала.
Она пришла своей дорогой.

1917

* * *

Константину Терешковичу

Голубеет небесный свод.
Распускается яблонь цвет.
Еле слышимо всплески вод
Безмятежный поют привет.

Где ты видел такие сны,
Бедный сын городов смешных?
Где ты встретил приход весны,
Вздых приветил плодов земных?

Зеленела под солнцем дня
Петербургская Сторона,
И, веселые льды гоня,
Пробуждалась Нева от сна.

Упоется робким сном
Нерастроченная душа.
В небывалом саду моем
Цветик малый дрожит, дыша.

1920

АКРОСТИХ

Прилежный стих разделен и согласен,
Отрадно ладен многогласый хор.
Эпитет строгий выбран, смел и ясен,

Терцинный возглас соразмерно скор.
Укромный вздох, в улете уловимый,
Фанфарный гром и дрожь огромных гор,

Измены смех, и стон любви гонимой,
Колосьев зыбких шепот золотой –
Слетятся звуки в рой неисчислимый.

Мгновенный зов, невинный и простой;
Аскета псалм, в восторге онемелый...
Найди закон, всем звонам дай устой,

Устрой слова и ряд сложи умелый.

1920

МЕСТЬ

Дрожь в дружине – ворог перемог.
Дайте волю поздней укоризне.
В пыль низринут княжий теремок,
Светлый стяг оплакан в горькой тризне.

Князь убит, но месть не иссякает:
Поднялась сыновняя рука.
Молодой соратников скликает,
И ему подводят жеребка.

Славный конь, кормленный жеребок,
Шибко мчится по зеленой воле.
Ах, ковыль расступчив и глубок –
Свистни, гикни на сыром раздолье.

Поспешай с товарищами вместе!
За тобою воины вослед –
Крепкий полк на дело верной мести,
Быстрый ветер бедствий и побед...

Дремлет победительная рать,
Множество шатров в большой долине.
Вам не след бы мирно отдыхать,
Новый бой принять придется ныне.

Выкупай победу свежей кровью.
Смерть идет – и княжий сын за ней.

Бей тревогу, белое становье,
Выводи разнузданных коней.

Спугнут сон, и отдых позабыт.
Наступает час последней встречи.
Прах клубит от яростных копыт,
Топоры скрестились в ясной сече.

Совершилось чайнное дело,
Злой насильник выбит из седла.
Одинок понесся конь вспотелый,
Закусив нагие удила...

Прославляйте радостную месть
Скоком, топом по равнинам голым.
Правьте павшим горестную честь,
Душу тещьте праздником веселым.

* * *

В.П.

Недвижный сон дышал тобой.
Был тусклый вечер, мрак печальный.
Раздельный возглас, звон прощальный –
Часов суровых ровный бой.

Был смутный час, еще шумящий,
Уже чреватый тишиной.
Наклонный дождь стучал в окно.
Ныл ветер легкий, зов щемящий.

И темнота была пуста.
Тогда пришла моя Улыбка –
И просветлела – робко, зыбко –
Обманутая темнота.

Твой шаг невинный и невидный
Развеял сны – так ты ясна!
И расцвела твоя весна
В тиши беззлобной, безобидной.

* * *

Я прославляю гнев и низвержение,
И наглый нож, и грубый пистолет –
Но жизнь мою влачу вдали сраженья
В постыдной медленности робких лет.

По временам я чую запах свежий
Сырой земли и вздох больших дождей,
И слышу я железа ржавый скрежет
И ржанье ошалелых лошадей.

Я пробуждаюсь новый и неожиданный,
Готов к борьбе, и строен, и суров.
Гляжу вперед сквозь белые туманы:
Там поле брани, множество шатров.

И я клянусь, что буду всех достойней.
Но снов дурных не в силах превозмочь,
Я покидаю вновь мой посох дольний
И опускаюсь в пагубную ночь.

Мне чудятся далекие раскаты
Военных гроз. Но неподвижен я.
В полночный час, мечтаньями богатый,
Хвала бойцам слагается моя.

СВОРА ВЕРНЫХ

М. М. Гингер

Свора верных, чутконосых,
Снежно мчит в лихую даль.
Счастье пляшет в пьяных взносах,
Ничего не жаль.

Взвевет вьюга влажных хлопий,
Захлестнет былые дни.
Прокляни удел холопий,
Свистни – и гони.

Простелившихся раздолий
Дико вспугнуты снега.
Глухо стонет в темной доле
Гиблая тайга.

На путях пустынь безмерных
Жизни радость разлита.
Воет ветер. Свора верных –
Чудо-быстрота.

1918

ПАМЯТИ БЛОКА

Незнакомкины губы подкрашены.
Разбился бокал.
И внезапно огни погашены
Около встревоженных зеркал.

Млечный протек Путь. Мороз
Винные сжег пары. Снег ночной
Град печальный занес.
Встал простор степной.

В страшном небе блистает зарница,
Очи слепит.
Выбивает безумная кобылица
Дробь татарских копыт.

1921

ЗАПАДНОЕ ПРЕДАНИЕ

Дядя Линч пришел один из первых
На раздолья Западного края.
Ранч поставил у истока Желтой речки.
Выгонял он тельную корову
И курил вонючую трубку.
Жил медведем, даже не брился –
Да и станешь ли бриться, товарищ,
Если женщин вовсе не встречаешь?
Сам с собой он вел разговоры,
Чтобы говорить не разучиться.

Потянулись на обширные земли
Крепких парней неумные оравы:
На ногах сапоги до брюха,
На руках рукавицы в гвоздочках,
У пояса пистолеты.

Дядя Линч прослыл старожилом.
Дождь и солнце кожу огрубили,
А труды одинокой жизни
Отвердили душу и мышцы.
Молодежь его уважала,
Присуждал он первые шпоры.
И никто спросить не посмел бы,
Почему с Востока ушел он
И покинул богатый город.

И сменились два поколения.
Кабаки обстали ровным строем

Улицы пастушьих поселков,
А ковбои сапогам изменили
Для мохнатых штанов с раструбом.

У постели старого Линча
Собралась наездничья братья
Вздых его принять на прощанье.
Линч сказал им: Слушайте, ребята!
Суд Правительства далек и неверен,
Чтобы вам не жить как шакалам,
Сами вы должны расправляться.
И убийцу вы пощадите,
Если он убил в бою открытом,
Потому что жизнь он ставил на кон.
Если ж кто из вас провинится,
Согрешит изменой перед другом,
Пусть у дерева он не трепещет
И не просит у товарищей прощенья.
Вот мое последнее слово.

Дяде Линчу глаза закрыли
И разъехались без плача, без речи.
Линчев суд остался до сегодня,
И не очень народ переменялся:
Вольнолюбен и беспощаден,
И на злое дело способен,
Да зато не боится петли
И встречает смерть без отговору
По завету старого Линча.

КАУ-БОЙ

Дальний Запад – луг неисходимый.
Там живет – и буйствует подчас –
Судьями восточными следимый
Бычий парень, шалый волопас.

Баламутит мирные селенья,
Лихо крутит пристальный аркан,
В кабаках чинит столпотворенье,
Сочной волей пьяно обуян.

Задаёт всеобщую попойку,
Дразнит нежноногих новичков
И горланит у салунной стойки
Песню возвращения быков.

На сырых степях неистощенных,
На лугах обильных и зеленых –
 Будто листья в свежем ветерке –
Табуны почти не укрощенных,
Сильных, легких, вспугнуто-вздыбленных –
 Выбирай любого в косяке.

Непокорный огонек крылатый,
Скакунок, охвачен без седла ты –
 Скинь того, кто властен над тобой.
 Гибко прям бестрепетный кау-бой.

Бычий пастырь вихрями оваян.
На просторе лошадю взлелеян
 В звонком ржанье, в топоте копыт
 Быстрых стран неистовый джигит.

КИНЕМАТОГРАФ

Кинематограф – верная отрада.
На плоскости нагого полотна
Душа опустошительного града
Великолепно запечатлена.

Соединенных Штатов оператор
На узенькую ленту наvertsел
Аляски снег, и пламенный Экватор,
И буйствованье корчащихся тел.

Рассказ фотографического мига
Разъят и многократно повторен,
Зажат в кругу катушечного двига
И на экране воспроизведен.

Стал близок нам пастух заокеанский,
Головорез, искусный в быстроте –
С нахальной рожей, в шляпе мексиканской,
Громадный револьвер на животе;

Шакалы, крокодилы и бизоны,
Пустыни воспаленная трава,
И пастбища зеленой Аризоны,
И всех морей чудные острова...

Дня городского суетно движенье,
И вечер электрический презрен.
Гнусны подземные сооружения
И взвизгиванье жалобных сирен;

Шумливые прерывистые ночи,
И фонари, терзающие взор,
И вялый камень современных зодчих,
И кружева железного узор.

Бездарный гном, скуднейший день вчерашний,
Явил дурной и малокровный вкус:
Ажурную циническую башню,
Исчадье Эйфелево, хилый брус...

Могучей скуки пленник терпеливый,
Я ничего не ждал и не желал,
Когда шеренгой нагло-торопливой
Неслись такси на биржу и вокзал.

Но я узнал великую утеху,
Обрадованный зрелищем немым:
То Чарли Чаплин, повелитель смеха,
Смятения мирского славный мим.

В толпе многообразной и безличной,
Меж полисменов с лицами горилл,
Прошел с улыбкою меланхоличной,
И всё вобрал и всё переварил.

В нелепости рассчитанных падений
И в дивной четкости внезапных мин –
Кинематографических видений
Всесветно чувствуемый господин.

1921

СЛАВНЫЙ СТОЛ

В те дни, когда я был еще моложе
И совершеннолетия не достиг,
Познал я радость не на тесном ложе
И не в пыли библиотечных книг.

Не за товарищескими пирами,
Где алкоголь расстраивает речь,
Соединял я вечера с утрами,
Не чувствуя потребности прилечь –

Но между лиц бесстрастных нарочито...
Уставлен столбиками славный стол –
И миг надежда гладкой картой бита
Иль вдруг бедняк богатство приобрел.

Забавен дьявол винной батарее!
Его походка валко весела,
Отравен дых, и смех его острее,
Чем режущая дерево пила.

Но игроку противно охмеленье,
Над ним безвластно нищее вино,
Зане игра не терпит разделенья
И сердце ею закрепощено.

Ее рабы свободны от соблазна
Дурных ночей, что портят цвет лица,
Когда глаза блистают несуразно
И перебойно мечутся сердца.

Пусть пышный кон включил большие счета –
Невозмутимо сердце игрока,
И безразличен голос банкомета,
И не дрожит сдающая рука.

О, только тот достоин уваженья
И между братьев мужественно прав,
Кто лишнего не сделает движенья,
Отчаянную ставку проиграв...

Спокойствием наставницы холодной
Мой бедный крик приятно заглушен,
И жребий мой, медлительно бесплодный,
И зависти и жадности лишен.

В делах и днях небрежно равнодушный,
Я научился с молодой поры
Рок низлагать покорностью послушной
И не жалеть проигранной игры.

ПРЕДАННОСТЬ

СПОКОЙСТВИЕ

Я думал прежде, что необходимо
Надеяться, и много говорить,
И радоваться, или быть любимым,
И злобствовать, и жизнь свою творить.

Но вдруг заметил, что несносна давка
Случайной и посредственной игры.
Я обойден у пышного прилавка –
Мой стук не юрок, ногти не остры.

И скинул я ужаснейшее бремя.
Святая лень роскошно расцвела,
И в сны я впал, и вот – жалею всеми,
Кто совершает хитрые дела.

Я твердо знаю, что иною властью
Мои дела отныне скреплены:
Бесплодному покорный сладострастью,
Я днем дремлю и ночью вижу сны.

И дни мои губительно прекрасны
И ночи ослепительно чисты.
Молчание – мой господин всечасный,
Мой чудный рай – дрожанье темноты.

Назначенные выпадают кости,
Прядется сладкий, дивно прочный лен,
И не испытывающему злости
Завидный выигрыш определен.

Дурному плену должно расковаться.
Мне милое блаженство суждено.
И мне ли тешиться и бесноваться –
Я буду спать, доколе спать дано.

1921

ПРЕДАННОСТЬ

П. К. Вейсбрему

С юных дней бытийственного плена –
Беспримерно сильная Земля! –
Обожаю вал высокопенный,
Поглотивший снасти корабля;

Сладковатый дух могильных тлений,
Палой плотью сытые цветы –
Принимаю в радости хвалений
Холода огромной высоты.

Млечный Путь великолепно плотен,
Тишину разъемлет звезд рука.
Ярче умилительных полотен
Славят Господина облака.

Светел шум божественного ряда:
Небеса – и диво без конца.
Есть одна веселию преграда –
Ваших грудей плоские сердца.

Безуспешно чада хитрой злобы
Соблазнить пытались бы меня.
Горе вам, повапленные гробы!
Ваши знаки – дрожь и суетня.

Проклиная груз обманных басен,
Затопивших нивы бытия,

Верю я, что вовсе не напрасен
Мой пожар – и преданность моя.

В полном счастье, в крайнем напряженьи,
Господин, исчезнуть повели –
Расточиться в золотом движеньи
Несказанно истинной Земли.

1922

ДВЕ МЕЧТЫ

Безделием и нежностью влекомый,
Компанию с другими я вожу,
Имею многочисленных знакомых
И в гости к ним нередко прихожу.

И с каждым разом горячей и тяжче
Раскаиваюсь, что явился к ним:
Ведь радующийся или грустящий –
Я для других всецело заменим.

С нелюбящими стоит ли встречаться
И отнимать чужие вечера?
Не следует, конечно, огорчаться,
Но раззнакомиться давно пора.

И если бы простая, как могила,
И обезлюженная пустота
Меня непобедимо окаймила,
Исполнилась бы первая мечта.

Избавиться бы мне от словопрений!
Я бережно словами бы владел,
Их сохраняя для стихотворений
И для серьезных и насущных дел.

Когда-нибудь содействие Господне
Позволит мне исполнить сей зарок,
И знаю, сделается превосходней
Сооруженье стихотворных строк.

1922

AMOURS

Борису Божневу

L'amour du jeu réunit tous les autres amours.

Boiste

На прозаизмами богатой лире
Распространиться разрешите мне
О трех любвях, известных в этом мире:
О женщинах, о картах, о вине.

Печальна ежедневная окрошка
Из пресных слов и неудачных доль.
Вы скажете: Попьянствуем немножко –
Старинный утешитель алкоголь.

К несчастью, нельзя остановиться.
Почти всегда отвратен результат:
Всё то, чем посчастливилось напиться,
Неумолимо вытечет назад.

А если к отравлению вы иммунны,
Отнюдь не стоек сей иммунитет.
Вы, организм изнашивая юный,
Обречены на гибель в цвете лет...

Неверен – до смешного быстротечный,
Чреватый скукою любовный час.
И вы разочаруетесь, конечно,
И любострастие обманет вас.

Ритмические глупые движенья!..
Представьте только, что способны вы
Оказываться в этом положении –
Вы не сдержать качанья головы.

Разврат обезволашивает темя
И крайне ослабляет мышцы ног.
О, предаваться этой гадкой теме
Я, не краснея, долее б не мог...

Любовь к игре безвредна для здоровья.
Кто не оплакивает кошелька,
Приобретает массу хладнокровья,
И жизнь его безгрешна и легка.

Итак, любовь к вину – порок нестройный,
Еще опаснее – любовь матрех;
Из всех любвей одна любви достойна –
Любовь к игре, сильнейшая из трех.

1922

ЖАЛОБА И ТОРЖЕСТВО

У каждого растет своя березка
И яблоня особая цветет.
Не следует чужого трогать воска
И медом пользоваться чуждых сот.

Я вас прошу настойчиво и прямо:
Не приходите на мою траву.
Интересуемся другими зря мы,
Тревожа их во сне и наяву.

Хотя бы в удивительном бездельи
Бесповоротно уходили дни,
Не нарушайте тихого веселья
Потрескиваниями болтовни.

Бодают ли меня коровки божьи,
И вышиваю ли я по канвам,
Питаюсь я пшеницей или рожью –
Поведайте, что нужды в этом вам.

Мне нравится неумолимый ветер
И английский прессованный табак
И шоколад молочный Гала-Петер;
В особенности же люблю собак.

В мыслительных усилиях нешибкий,
Сонливостью природной поражен,
Я провожаем жалостной улыбкой,
Презрением мужей и хладом жен.

Но всё же вы не более как пешки
Заранее разученной игры,
В отчаянной и недостойной спешке
Себя морочащие до поры.

И утверждая, что свободна воля,
И непроизводительность кляня,
Вы говорите: Он расслаблен, что ли? –
Вы к мертвецам относите меня.

Послушайте, ведь вы совсем не правы!
Ввиду того, что я живее всех,
Пускай проходит век мой нелукавый
Под ваш бессмысленный и быстрый смех.

1922

ВЕТЕР

За денным и вечерним пределом
Возникает ночная страна –
И душа, неразлучная с телом,
Сновидениям подчинена.

Но не женские пухлые ноги
И крестцы обнаженно дрожат,
И не спазмами томной тревоги
Ток сердечный расширен и сжат –

Порождения чистого бреда
Совершенны, прочны и живы,
И легки, точно горние среды,
Холодны, точно меч синевы.

Представляется слуху и взгляду
Важный плеск неизвестной реки,
Небеса небывалого лада,
Крутобоких кобыл косяки.

Растворяются в трепетном мраке
Пламена ледяного бича,
И большие играют собаки,
Оживленно грызясь и рыча.

Бесполезные бледные стаи
Собираются в радужный круг.
Не измерю и не сосчитаю
Изумительных цветов и дуг.

Но не солнце, которое шаткой
Обливает листву желтизной,
И не туч дождевая лошадка,
И не молний язвительный зной –

Рассеивает стихия иная
Превосходный, решительный хмель,
Золотые кусты погиная
На привольях безумных земель:

И безгрешно и бешено вея,
Страшный ветер посева клюет,

Над страной расточая моею
Гром открытый, отчаянный лёт.

1922

ПЯТЬ СТОП

С. М. Ромову

Заботящийся о душе и теле
Довольствуется паром вин и трав,
Я уважаю узкие постели
И не вкушаю сладостных отрав.

Ведь разве горечь рюмочек коньячных,
Распространяющих жар в животе,
Не заглушит позывов неудачных,
И не забудутся ли живо те,

К которым я влеком невыразимо?
(Хоть их тела отчасти и теплы –
Их слабых душ почти полярны зимы
И взгляды глазок безусловно злы.)

Бегу ухаживаний и влюблений,
И дев, и полудев, и суеты.
Публичный дом открыт для всех вихляний,
Но несомненно здоровей цветы.

А те цветы, что на стеклянной дверце
(Предпочитайте волю солнц и лун),
Всегда осадок оставляют в сердце
У каждого, кто сердцем тверд и юн.

Так если солнца горячи объятья,
И это совершенно я постиг,
То женщину возжажду ли объять я,
Прделаю ли с ней любовный тик?

И если лунные прикосновенья
Приятны для того, кто одинок, –
Приму ли бедные поползновенья
Послушных и волнующихся ног?

На всем вышеизложенном, однако,
Ни капли не настаиваю я.

1922

* * *

Ольге Каган-Катунал

Круг более совершать и подвиг вечный
И восходить на верх большой горы,
Хотеть удач и расточать дары
Пристало мужу в простоте беспечной.

Пыл солнечный – отеческий и вечный –
Отраден для гостей земной коры.
Стихов и воздуха вбирай пары,
В досадной мгле приветствуй путь свой млечный.

Спокойствие. С готовностью раба
Вмещающая колыбели и гроба,
В привычной скуке и в любви невзрачной

Остаться должен ты самим собой.
И договор с судьбою сделав брачный,
Приять предсказанный, но щедрый бой.

1922

МОЛОЧНАЯ ДОРОГА

Безоружный! в назойливой битве
Щит единственный – крепкие сны.

Ты вверяйся Господней молитве,
Власти солнца и власти луны.

Наблюдая высокие лики,
Неудачно и тайно живи.
Ты забудешь улыбки и клики,
Ты забудешь и жесты любви.

Хорошо, что раскаяний многих
Горький опыт тебя посетил:
Ведь для скромных, дурных и убогих
Существуют утехи светил.

Поклоняясь Диане и Фебу,
Ты от ранней до поздней зари
Шли восторги прелестному небу,
В ясных высях умильно пари.

Каждый день у порога ночного
Деву моря приветствуй, луну,
Утром солнце приветствуй, и снова
Отходи к избавителю сну –

Потому что на вышней поляне
Терпелива, бесполо, тиха
Дева белых и слабых желаний,
Влажных снов и больного стиха;

Дивным именем целкой Дианы
Целомудренно наречена,
Отраженным огнем одеянна,
Сердце нежных – немая луна.

И огонь, но уж не отраженный,
Деву моря поемлет в полон,
Пышный праздник, пожар обнаженный,
Знамя гордости – Феб-Аполлон.

Брат Дианы возникнет с востока
И прекрасные реки польет,
Растопляя легко и жестоко
Полуночный расслабленный лед.

И великим, на ласковом блюде,
Пылом выпренного колеса
Жадно дышат и гады и люди,
Дышат горы и дышат леса.

Обожай Аполлоновы стрелы,
Даже тело ему посвяти,
Сделай кожу свою загорелой,
Солнцем волосы позолоти.

Слугам солнца нелепо и стыдно
Домогаться любовных отрад,
И поэтому в жизни обидной
Понесешь ты немало утрат.

Но горюет ли солнечный воин!
В обещаниях неколебим,
И бесхитростен, и нераздовоен,
И всегда небесами любим –

Будет юн, и смешон, и незлобен,
Близок ветру, траве и зверям,
И в досаде младенцу подобен,
И по щедрости равен царям:

Так людей недостойных не трогай,
Шествуй сонный дорогой земной,
Восхищайся Молочной Дорогой,
Чудным солнцем и чудной луной.

1922

* * *

Забавлявшийся травлей и рогом,
Статный ростом – о нем не жалеи! –
Ныне всходит по новым дорогам
К Обладателю чистых полей.

Он предстанет веселый, могучий,
В лунном блеске и в шуме морском,
Поливанный дождями из тучи,
Посыпанный пустынным песком.

И у ног его тесные своры
Белоклыких всклокоченных псов –
Ими веданы гнезда и норы
И берлоги великих лесов,

Воздыманы болотные птицы,
Выслежаны глухие сурки,
Загоняны пушные лисицы,
Снеговые рваны беляки –

А за псами вприпляску идущий
Пышногрудый заливистый брат,
Острым ухом пугливо прядущий,
Не боящийся рвов и оград.

Круглоглазый! и весь – без изъяна.
Неистомен на резвых ногах.
Громко ржано и славно гуляно
На широких, на сладких лугах.

За хозяином вашим сырая
Мать-Земля не запомнит вины
И ворота Господнего рая
Пред охотником растворены.

1922

От начала и до окончанья
Дни твои да будут хороши.
Искус добровольного молчанья
Праведно и гордо соверши.

Ведь слова гремят в долине здешней,
И от них больней сердца стучат.
Побеждают горе жизни внешней
Только те, которые молчат.

И зачем нескромные поэты
Сочиняют звучные псалмы?
Те, кто знает внутренние светлы, –
Целомудренно глухонемы.

Твердо труд приняв с зарею ранней,
Так до поздней продолжай зари.
День твой полон разочарований,
О которых ты не говори.

Словом искренним должны пролиться
Дважды в сутки верные сердца:
Рано утром Господу молиться,
Поздно вечером хвалить Творца.

Целый день в груди великодушной
Мечутся словесные огни,
И горят в тревоге непослушной,
И безмолвные сгорят они.

Но душа не будет сиротлива,
И хотят немотствовать уста.
Слава сильным! Разве суетлива
Набожного сердца чистота?

Непроизносимые молитвы –
Достоянье Божьего раба,

А слова – рабам житейской битвы,
Потому что вера их слаба.

1922

* * *

Знают мифы: неистовой волей
Побеждается Мойра сама,
И Гераклу подземная доля
Уступает свои терема.

Так владетель душевной свободы
Горд и ясен. Звенят стремена.
Но пребудут урочные воды
Нам, безвольным, роднее вина.

И тебя ли враждебной помыслю,
Непонятная мать, Судьба, –
Ведь не мерю, не числю, не числю
Колыбели мои и гроба.

Отдаю терпеливые ноги
Всем дорогам! Водите меня.
Не боюсь и пожарной тревоги,
Не боюсь и холодного дня.

Не готовлю разумных копилоч,
Чтобы грели досуг старика.
Будет путь мой оранжев и пылок,
Если этого хочет река.

Кроет земли серебряный иней
Зимним утром. Туманны леса.
Будет путь мой мохнатый и синий,
Если этого ждуг небеса.

Рвется в ветер легчайшее судно,
По морям светлоглазым бежа,

И шипит за кормой безрассудной
Жадный оттиск, слепая межа.

Ты доволен сегодняшним светом?
Я доволен. Не плачь обо мне!
Жаром солнечным, солнечным светом
Я доволен: не плачь обо мне.

1922

* * *

Голосом могилы или Бога
Всех зовет назначенный конец,
Нас из дольного уносит лога
Исполнительный глухой гонец.

(Так взведенный непонятым пальцем
Без раздумья и падет курок,
Не пристало подчиненным мальчикам
Государев обсуждать урок.)

В мертвых зыбях, в вопле ураганов,
В добрых снах и в веренице бед –
С каждым мигом будущих курганов
Явно повышается хребет

(Ведь и по закону перспективы
То, что близко, кажется большим).
Мы ли, беззащитные, не льстивы!
Господи! да мы ли не спешим.

Чем усердней жжем мы наши свечи,
Тем обильней каплет стеарин,
И внятнее ангельское вече,
На земле страшнее бледный крин.

1923

Дусе Рысс

Сердобольно, даже сокрушенно
Мысли: рядовые и вожди
Призваны отстаивать знамена,
Получать различные дожди

(Я хочу сказать, что ливень вражий –
Из ружейных и гранатных рук,
Ну а небо в окаянном раже
Мерзкий ливень низвергает вдруг).

Ох, солдаты днями и ночами
Лишены привета и жены,
А мешки за трудными плечами
Беспардонно перегружены.

Много проще подвиг офицерский –
Налегке шагает господин.
Всё ж от раны полевой и зверской
Не упрятан честный ни один.

Но бывает отдых в душных маршах
На путях маневров и войны,
И солдаты по команде старших
Закурить, оправиться вольны.

Или – исторические даты –
Приступом берутся поезда,
По домам расходятся солдаты,
На балконах флаги в городах;

И расставшись с аккуратной скаткой
И шинель надевши в рукава,
С Пенелопой свидится – солдаткой –
Демобилизованный Иван.

И не так ли в платянице кисейном
Офицера невеста ждет.
Он вернется, звоном карусельным
Музыкальный ящик пойдет.

Пусть раздастся тонок и нахален
Голос канареечный – поют, –
Чтоб семейственно патриархален
Стал возобновившийся приют.

Уцелевшим в действиях убойных
Трижды возделенны очаги.
Помяни безвременно-покойных
И о них не плакать не могли.

1923

ПОВЕСТЬ

Я пишу, совсем себя вскрывая,
Точно неудачный акробат,
Речь моя как будто неживая,
Скудный стиль бессилен и горбат.

Среди лихих недоумений,
Среди раскаяний густых,
Смысла хочет менее и мене
Мой отчаянный, но жадный стих.

Мой растрепанный, придурковатый
И испуганный – противен он;
Мой язык обложен вялой ватой,
Томный ум тревогой удручен.

Только знаю, что материками
Славная испещрена вода,
Вот играет ветер с моряками,
Рыбаки закинут невода.

Малодушен и косноязычен
И лицом и сердцем непригож,
Всё же я от сволочи отличен
(Так ковер отличен от рогож),

Потому что даже и в ненастьи,
Даже в буре, даже и во мгле,
Я пылаю беспрестанной страстью
К дару, к дару, к радостной земле.

И встречая струй воздушных токи,
Всех желаю, всех светил огни,
Дни на западе и на востоке,
Южные и северные дни.

Также водопады и пороги,
И ключи, которых не найти,
Зимние, весенние дороги,
Летние, осенние пути.

Я ль достоин радости и дара?
Но зато всегда благодарю,
Не боюсь ни холода, ни жара,
Обожаю воздух и зарю.

Душным потом крепости облиты,
Неприветливы монастыри,
Безобразны городские плиты,
Сельские печальны пустыри.

Но Земля напоминает грушу
И отчасти даже апельсин,
Производит и моря и сушу
И леса из елей и осин.

И Земля, которая планета,
Некоей корой онесена,
А кора-земля травой одета,
На земле и ива и сосна.

Зеленеет луг для конской прыти,
И грибы семьей под сенью пня,
И заметных множество открытий
Сделано Колумбом до меня.

Он открыл Америки великой
Исторические острова,
Обитал их житель красноликий,
Там росла высокая трава.

Современные американцы
Нас обуревают без конца,
Посылают музыку и танцы
И покрой для брюк и для лица.

И кинематограф процветает
Лучше, чем роскошные цветы.
Я смотрю, и сердце слабо тает,
Ну а ты, смотреть не любишь ты?

Я люблю гулять по вольной воле,
И сейчас в любви я объяснюсь.
Не Аделаиды и не Оли,
А земли растроганно коснусь.

Так хотя бы стужа угрожала
Омертвить вселенной воздух весь,
Иль хотя бы солнечные жала
Так изнеможили град и весь,

Что легло б измученное стадо
В умирающий обидный круг,
Что и людям стало бы не надо
Строить козни против друга друг

(Дело в том, что строят эти козни
Злые люди лишь когда бодры,
Если ж солнечней или морозней
Воздуха становятся пары –

Притихают эти люди злые,
Грудям их стеснения не снести,
Частым стуком зубы их гнилые
Не дают им хлеб насущный есть), –

И тогда бы – верный сын вселенной, –
Прославляя солнце и луну,
Встал бы я, как ныне вдохновенный,
И сказал бы: Дай к тебе прильну,

Грудь сырая! так люблю, богиня,
Так люблю я, так тебя люблю,
Что княгиня или герцогиня
Не могли сказать бы королю;

Привилегированные лица
Разговор умеют повести,
Но и им пришлось бы удалиться,
Слов и им бы не изобрести.

Я теперь кончаю повесть эту
И поклон старательно кричу
Лунному и солнечному свету,
Хладному и жаркому лучу.

*Июль 1923
Париж*

ХИРОМАНТИЯ

Борису Поплавскому

Небрежно ли, нарядно ли одеты,
В мундир или в халат облачены,
Мы неизбежно мечены – поэты –
Холмом Венеры и холмом Луны.

И неосуществимо мы мечтаем
О том, что радостно и далеко;

Так умираем и безбрежно таем
И Изабеллин нюхаем платок.

Нам странен инженеров белокурых
Уверенный, несокрушимый глаз,
Что речь помещика о пестрых курах
Для тех, кто был в деревне мало раз...

Иным – Юпитер, покровитель гордых:
Главенствует над пышной их судьбой,
Селит пред ними страх в покорных ордах
Блестящий царь, Юпитер громобой.

Другим Сатурн приносит груды денег,
Премягко устилает их стези.
У них пророс цветами грубый веник,
А наш без листьев, как ни егози.

Они венцом венков обрящут каждый,
А нам, несчастным, грустно нет травы,
Волшебный ключ владеет ихней жаждой,
Для нас пребудут высохшими рвы.

А Аполлон с противной старой лирой
Отнюдь не наш, он музыкантам отц,
Они форсят пред Кирой или Ирой,
Они играют очень много нот.

А торговаша Меркурий быстроглазый
Мизинцем под, конечно, приютит.
Что ж, в этой жизни надо быть пролазой,
И хорошо тому, кто Китыч Тит.

Тебе же, Марс, поклон без мысли задней,
Твой низок лоб, но вот пряма спина,
Кто скажет (хам), что мир войны повадней,
Того ногою следует пинать.

Но нам – поэтам – эти горки чужды,
Для нас горбы Венеры и Луны –
Не по его делом ли, коемуждо
Прогулки, льды и судьбы возданы.

Октябрь 1923

ЧУВСТВО

Илье Зданевичу

Как сидел во кресле неудобном
(Я в кинематографе седел),
На экране белом бесподобном
Тьма происходила светлых дел.

Молодой мужчина молвил деве:
«Диво ненаглядное мое!»
Он ее лобзал ничуть не в гневе,
Целовал и лобызал ее.

Точно так же псов полярных своры
(Свора верных! детище балды!)
Драли (так от фараона воры)
Через угрожающие льды.

(И однако ж сколько огорчений –
Как ты скажешь? – людям суждено!
Для аристократов и для черни
Их испытывать не всё ль одно.)

Изнасиловать подонок грубый
Безуспешно цельную хотел
(Оператор милый бригоубый
Их вертел, аж вовсе употел).

Там еще оленье было стадо
В поисках желательного мха

(Глада муки – муки ада, ада;
Съешь и брата – долго ль до греха).

В это время много разных мыслей
Думал, и тебе их расскажу.
Чтобы во мозгу они не кисли,
На бумагу их теперь ложу.

Молодой мужчина скажет деве:
«Роза ненаглядная моя!
Был Адам всецело предан Еве:
Так тебе до гроба верен я».

Вот, пылая страстью страшно чистой,
О, не знает, ива где, где клен.
Ишь какой курчавый и речистый!
Потому что бабой ослеплен.

Гадок он: в годину Божья гнева –
В миг пожара, в час потопных Лаб –
Будет сам он дева, сам он Ева,
Перед Богом виноват и слаб.

Ибо прелесть женская извечно
Змия у ужасного в плену:
Блядский плат ли, платье ль подвенечно –
Всё душа что птица на клену.

Разведя ликующие трели,
Наши очи птица поклует,
Повелит: «Молчите, менестрели!»
Нас, короче, подло подкует.

И понятно прав, который духом
Одинок; он любит мощных псов
И не льнет ни капли к молодухам
(Велико лукавство сладких Соф!!): –

Но вперяет глаз в большие дали
Золотых перистых облаков.
Эх, напрасно люди раскидали
Побасенки эллинских веков:

Ведь разливы Пановой свирели
Раздаются в рощах больше не,
Города изрядно посерели,
Отвратительно и во и вне –

И обиженные поколения
Пожимают дланями виски:
Им досталась только грусть оленья,
Лишь тоски собачьей им куски.

Ноябрь 1923

СОНЕТ V

Владимиру Кемецкому

О Изабелла, милая ладья,
Вдруг вычерпавшая крутое море –
Кровь сердца! Я умру. Любовной кори
Никто не врач, а душам кто судья?

Прощание, не жалоба. Ведь я
Знал грустный рок, но сладостное горе.
Была полна, потом легка, и вскоре
Пуста использованная бадья.

Самоубийственно нетерпеливый
Иду к постели с верой торопливой,
В могилу добровольную ложусь.

Возлюбленнойшая! Сомкнулись очи.
Приснись. Увижу – и не нагложусь:
Так станет вечным сон единой ночи.

Январь 1924

СОНЕТ VI

Прочтите. Стол (что толку!) стонет мною.
Стоит (старайсь!) стар, хмур, хитер хирург.
На мне нема ни полтъ, ни плотных бурк.
Пространно: пот под простыней одною.

Лежу и жулю: еле боль – но ною.
Кобыла как была без сивк и бурк –
Сих слуг сохи и плуга – без каурк,
Так, рана, ты так рано, ба! без гною.

О Изабелла! Кой облезлый кий
Той койки уже, что как лыжа (ski)?
Да, стало тихо. Операционный

Мигнул – я мнил – скальпéль или ланцет.
Миг вдумчив. Нож мил репарационный.
Зе у французов зед, у немцев цет.

Январь 1924

ИЗАБЕЛЛА

О чем скажу, когда густые воды
Густой души неразрешимо спят;
Восходит замок лиха-воеводы,
Обида урожается сам-пят.

А я хочу стихов, и театральных
Великих представлений, и лучей.
А жить не в силах вне лучей астральных
Могучих Изабеллиных очей.

Не то, не то, что ты обворожила
Святого сердца благородный ключ –
И ведьма ты, и ты кулак и жила,
Для счастья неподходящий ключ,

И разве стиснешь тонкоперстой дланью
Святого сердца непреклонный ключ,
Хотя бы брызнул долгожданной ланью
Твоих очей непобедимый луч, –

Но взбудоражен, но и взбаламучен,
Но наконец поправлен только так,
И только так честнейший так измучен
Души моей испуганный пятак.

Январь 1924

АВТОБИОГРАФИЯ

СТИХИ БЕЗ МЕТРА

Сергею Шаршуну

Родился в Петербурге.
Был на военной службе (но не добровольцем,
а по обязательному набору).
Труслив, мало интересен.
Успехом не пользуюсь.
Думаю начать для здоровья принимать рыбий жир.

Январь 1924

ДУНЯ

Когда не любишь Евдокию
И не стремишь ко ней мечты,
И спросит кто-нибудь: Какие
Испытываешь чувства ты? –

Немедленно и откровенно
Ответствуй: О, она светла,
Ее люблю до крови венной,
До слез, до смерти и до гла.

Когда же страстью воспаленный
Ты изнывал и даже чах,
И плачешь ты на грядке ленной,
На огородах, на бахчах –

Непроницательный наперсник
Тебя, конечно, спросит:
Скажи по правде, тезка-сверстник,
Ты любишь дыню, горе-Сид? –

Тогда уверенно и звонко
Вдруг смехом грянешь, смехом вдруг:
Овдотью? – отопрешься – вон-ка!
Да ты в уме ли? вон из рук.

Январь 1924

УПРАЖНЕНИЕ

Грохочут речи, но бессильны.
В молчании дыши, дыши.
Словесный хлам, как хлам носильный,
Препятствует делам души.

Поймите, угрожать словами
Пристало детям, а не вам.
Иная часть да будет с вами –
Поступкам слава, не словам.

Так, глуховатый или хромкий,
Не думай: Говоря – царю!
Каштан речей как штан с бахромкой
Рабу, рабу, а не царю!

Февраль 1924

ПЕЛАГЕЯ

Когда явилась Пелагея,
Вот пленны стали я и стих,
Тогда достигла апогея
Такая страсть и стал я тих.

И неподдельно, непритворно
Я улыбался и шептал,
Что сдельно долей и повторно
Обласкан я что лацкан стал.

Играл с утра до самой ночи,
А в башмаке легка стопа,
И говорил, что одиноче
Меня в двусложной слог стопе
Иль даже в плотной гражданин толпе.

И заявлял и молвил: Мило.
Но вот уже она ушла.
Она меня не умалила,
Была недолго и ушла.

Февраль 1924

РАЗГОВОР АВТОРА С САМИМ СОБОЙ

Как страдающий одиночным пороком,
Сладострастный, но бессильный, перед собою
Идеальных и молодых воображает,
Так и ты, Александр, перечисляешь
Имена многосложные, и гурьбою
Их вверяешь стихотворным строкам.

Я хочу единственно ее,
Ощущаю счастье мое.

И бормочешь и лепечешь. Но правда ль
Этой жизни дикая гвоздика?

И довольно. Ветру: Гвозди-ка!
Ты – не правда ль? – Шуру покликай.

То – солёный. А сам уж и не помнишь.
Разве было? Видишь или не видишь.
Ветер, может. Одинокий! помни ж:
Одинокий на дорогу выйдешь.

Я подобен девственному зверю.
Я в твою любовь незаменимо верю.

Февраль 1924

ПЕСОК

В. Барту

Хотя невеста на вокзале
В буфете так была бедна,
Что некоторые казали:
Смотрите, как она бледна,

И в коридорчике вагонном
Лобзая губы, руки жмя,
Всё унывала пред прогоном:
Скажи, ты не забудешь мя? –

Свисток безапелляционный,
Путь полотняный и песок,
Тоски последней станционной
Засыпаны и ток и сок.

Ты видишь маленькие кровы
Людей, живущих по краям,
И пропитание коровы,
И лошадей у края ям.

Шаг паровозный, шум тревожный
По берегу рек (и Ок и Кам),

А также славный, мелкодрожный
Лесок прищпальный по бокам.

Железным и дорожным свистом
Начальник пискнул: Вам ползти.
И ты повенчан с машинистом.
Крути, Гаврила! Нам пора.

Февраль 1924

СЛЕЗЫ

В полночный час, мечтаньями богатый,
Хвала бойцам слагается моя.

1921

И раз еще скажу, последний, может, –
О, преданность моя!
О, искренность! мой стих не сразу может –
О том, чем полон я.

От горя плачут. Не умею: слезы
Не катятся, когда умирает член
Общества человеческого; только восторженные слезы
Знакомы мне и мил чудесный этот плен.

Безвольный, слабосильный,
В каком же зеркале отражусь?
И разве что в рядах команды слабосильной –
И то с грехом на треть – сражусь.

Приветствую побеги жизни грозной.
Перед мускулатурой – ниц.
Душой болезненной слезно
Люблю; душой вергнусь ниц.

Февраль 1924

* * *

Анне Присмановой

Смятение, рычание мирское
Ужели не претят мечте твоей,
Желающей победного покоя,
Лелеющей красивых голубей?

И ночью
Ты говоришь: Луна,
Бессонных покровительница, мочью
Стихотворительной наделена.

В обычный час встряхнулось неба лоно,
Взойдут цветы всевышнего огня.
Но заглушают лиру Аполлона
Волнения родившегося дня.

А ты, луна, свирелью света
Вернее будешь названа,
Не лирой, а свирелью света
Отлично будешь названа.

И белый корень золотого детства,
И белый камень золотого сна –
Луны шикарное наследство,
Луны, луны отменная сосна.

Умолкнет треск, тобою претерпенный
В течение распущенного дня;
Язык луны густую слижет пену
С боков воинствовавшего коня.

Март 1924

* * *

Что ж ты, сердце; дрожишь, полукровка?
Половинкой кровинки болишь!
Трепыхается жидкая кровка –
Бьешься, сердце, звенишь и шалишь.

Сердце бьется, когда неудача
Тошной кучей навалится вдруг.
Бабой всхлипывая и судача,
Бьется сердце, отбилось от рук.

Тишина отрицательно кроет
Колоссальную волю твою,
Черный сон утомляет и роет
Ненасытных мечтаний семью.

Сонм капризный молитв безоружных
Одиночеством ли стерегом?
Рвется сердце в ночах бесподружных.
Но довольно! Теперь о другом.

Ты ль не питано верой старинной,
Не Господним вином поено ль?
Взрос – дорога – наш сад белокринный,
Так не надо гулять по иной.

Торжество низойдет молчаливо
На ресницы большие мои.
Никого не люблю, кроме Бога.

Август 1924

ДОН ХУАН

Дон Хуан проходит, и за ним –
Что – ты спросишь – вьется острым паром?
Так бывает, что стремглав, но даром
Мчится крол, собаками гоним, –

Снежный нег следочками пятная,
Он пытается прибыть домой;
Мнит собака: Будешь ныне мой,
Ибо чую род сего пятна я.

Так: незримо, с ловкостью вора
Хоть и мог бы, малый, он уйти,
Оный запах явен на пути –
И нагонит чутконосых свора.

То борьба за жизнь, и се, пылая
Жизни жаждой, как несешься, крол!
Но душистое путем текло –
И достанут, пошутя, поляя.

А теперь: такой ползет за лоном
Женский осязаемый аромат
Ног и грудей, браных много крат,
Подлежалых на пути евоном,

Что проходит, запахом постели
Обволакиваемый до пят,
Царь мужчин, что с женщинами спят.
Слышишь, Анна, как зашелестели

Веера блядей и честных дам.
Запах плоти быстро нарастает,
Перед ним какая не растает,
Не промолвит полным сердцем: Дам.

Сентябрь 1924

НАДЕЖДА

Для смертного ужасней часа нет,
Как одинокий час преднощный.
Всё умерло кругом, затихнул свет,
Гул улицы погаснул мощный.

Лишь он один еще живет, но сон
Его придавит полновесно,
И, может быть, уж не очнется он
Для завтрашней юдоли тесной.

Ребенок плачет перед сном, затем
Что, круга не осознавая,
Уйти боится из привычных стен
В ночную неизвестность рая.

И только материнская рука
Боящегося безопасит,
Рок отступает от Земли, пока
Осуществляется причастье.

Так смертному скитаться по ночам;
И в круге predetermined
Смерть предстает испуганным очам,
Бессонницами воспаленным.

Но есть спасение судьбе земной,
Подверженной ночным тревогам
Пред наступлением судьбы иной,
Грозящей за ночным порогом:

Отвергнут рок, и одинокий страх
Сражен любовью сопричастной.
Рука в руке. Душа о двух сердцах
Встречает ночь с улыбкой ясной.

Октябрь 1924

УВЕРЕННОСТЬ

Любовью сердце неширокой
Людской не обременено,
Оно горит надеждой рока:
Судьбе покорствует оно.

На незнакомом перекрестке
Черты мелькали дев чужих.
Над ними реял ветер жесткий,
Мужчины увлекали их.

Но дорогое, золотое,
Заточено в толпе большой,
Сверкнуло мне лицо святое
Супруги, взысканной душой.

И мы увидели друг друга,
Но не переглянулись мы,
Нас вмиг разъединила вьюга
Общедоступной кутерьмы.

Уже давно, уже далеко
Улыбка твоего лица,
Но верен я надежде рока
До слез, до боли, до конца.

На перекрестке неизвестном
Тебя опять увижу я;
Мы обручимся взглядом тесным
И станешь ты жена моя.

Октябрь 1924

* * *

Под одиночественной паутиной
Плывут онанистические дни,
Затягиваются слюнявой тиной,
Ей обволакиваются они.

Не думай, друг, что словом несерьезным
Когда-нибудь я осквернил мой стих,
Четверострочья мыты током слезным,
Моя душа сопровождает их.

Моя любовь любит на синий
Немотствующий сухо нежный свод,
Отсталый мозг течет по сладкой сини
Доверчивых и беспредметных вод.

И в останавливающийся ветер
Дражайших снов ползучие лучи
В неисправимый бесприютный вечер
Пошелестят: Молчи, живи, молчи.

Твой исключительный и непролазный
Отважно почему не отжил
Жены кроветочивые соблазны
Твой стихотворный и богатый Нил? –

Давным-давно потехи и забавы
Первенствовали во главе моей,
Преузкий голосок унылой бабы
Нотацию долбил угрюмо ей.

Трусливый телом, а душой плюгавый,
Я Александр. Притягивать не мню.
Душой и голенастой и легавой
В разлуке копошусь, цветочки мну.

Очей моих кого интересуе
Непривлекательная западня,
Чей длинный перст ласкает иль рисует
Сии черты в необозримых днях?

Да, я забыл, когда женой целуем,
Когда бывал со срамом гладим я.
Теперь лети воздушным поцелуем,
Произведений слабая семья.

Ноябрь 1924

ОБЪЯСНЕНИЕ

Ты раздаешься, голубое пенье,
Ты, воркованье сизой пустоты.
Блаженной мысли сизое усенье
Как заполняет голубой пустырь!

Безумной дружбы суета сырая,
Падучих снов кривая простыня
Нас отдалают от прямого рая,
Нас отделяют от святого пня.

Не понимаешь, ты не понимаешь
Лесов, и слов, и сот, и воркотни;
Закутываешься и поднимаешь
Задумывающийся воротник.

А силы что? я говорю про силы,
Которые присущи Богу сил.
Ты уходила, ноги уносила,
Как вечный спич герой произносил.

И тишина. Но не совсем посмею
Сказать про нисхождение тишины.
Послушный чуду, весело немею,
И вот колеса, щастье шин на них.

Еще скажу: прости, когда постелью
Всесильные поля запружены.
Ты будешь виноградом или елью.
Любви глаза женой загружены.

Запряжены стальные молотилки,
Заряжены презренные стихи.
Меня знобит на небольшой подстилке,
Отставку подразумевает стих.

Меня знобит, и, может быть, последний,
Последний раз перед тобой валюсь;

Внимай призыв, неточный, но последний:
ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПЕРЕД ТОБОЙ ВАЛЮСЬ.

Знать не хочу и ничего не знаю,
Но ничего и ты не знаешь, ты;
Покорный воск на потолок роняет
Мои следы без всякой красоты.

Ноябрь 1924

* * *

Д.С.

Но вежливые фаталисты
Не млеко пьют и не вино.
Неимоверной силой истой
Спокойствие душе дано.

Потом скажу об этом млеке,
Вине об этом я скажу.
Пусть, жидкости, вы оба леки –
Но отдыха не нахожу.

Пусть мера есть долготерпенью –
Но меры нет любви, любви.
Ее не злом, ее не сенью,
Да и никак не назови.

Я говорю с моей судьбою.
Наедине, опять, опять.
Я говорил с самим собою
Разов, пожалуй, тридцать пять.

В руке с четырехстопным ямбом,
В груди с огнем, но без греха,
Приближусь я к жестоким дамбам
Вовек не лгущего стиха.

Ты помнишь, вера, как, бывало,
С тобой от счастья плакал я,
А горе далеко зевало
И присмыкалось, как змея.

Скорей, безумные скитальцы,
Смотрите: буквой прописной
Мои не оскорбили пальцы
Высокий звук (а не земной).

Какие строки или знаки
Мою любовь избороздят,
Каких полей какие злаки
Признание изобразят?

Нет, не тебе – не темноокой –
Молитва царская моя,
Не низенькой и не высокой,
Ни ты, ни тех не знаю я.

И не тебе, голубоглазой,
Которую не знаю я,
Не беленькой и не чумазой
Молитва страшная моя.

Так молоко, хотя оставит
След на губах как у детей;
Вино, хотя труды заставит
Великих множеством затей:

Долой, мои воспоминанья!
Тебя, судьба, одну тебя
Люблю, которой нет названья,
Которую умру любя.

Ноябрь 1924

ЖАЛОБА И ТОРЖЕСТВО

* * *

Стисни губы, воин честный,
Сердце верой ополча.

На равнине крайней славы
Под светилом ясных дней
Жги Диане среброглавой,
Празднуй деве, знай о ней.

Только стройной, хоть жестокой,
Предоставь любовь свою,
Льва руки и птицу ока
За нее сложи в бою.

Лейся-лейся надо гробом,
Самовольная луна,
С белым-белым гардеробом,
С волосами изо льна.

Иль над легшим станьте лестно,
Два Астартиных меча.

* * *

Памяти Е. А. Баратынского

Отец мой солнце, я с тобой сегодня
Лицом к лицу –
К тебе влекусь любовней и свободней,
Чем сын к отцу.

Ответственную клятву полагаю
К твоим ногам –
Отец мой солнце, покровитель гая
И птичьих гамм.

Зовет меня, но тщетно, воля злая
Людей чужих.
Им не желаю ни добра, ни зла я,
Не вижу их.

Каким щитом возможно оградиться
Мне от себя?
Сгореть в тебе, в тебе переродиться,
Тебя любя.

Звенит сирень запущенного сада,
Блестит пчела,
Уходит прочь житейская досада,
Земли дела.

Я отступлю в стремительное лето
От суеты.
Пребудь со мной, родник тепла и света –
Ты, отче, ты.

ПОКЕР

В мозгу смятенье, в сердце рана;
Ты скажешь: горевать пора.
Две пары попрыны бреланом
И оголен кусок ковра.

Но игроку, надежды сыну,
Отчаянье не предстоит:
Живой и днесь, патрон старинный
Летит, и знает, и следит.

Проворный Эрмий! Я, недавно,
К тебе воззвав из тьмы земной,
Услышал шорох своенравный:
Крылатоногий, ты – за мной.

Вот изменяется чудесно
Несчастных сдач неправый ряд.
Четыре дамы жмутся тесно
И о блаженстве говорят.

И жарко скипетрами блещут
Четыре добрых короля –
И жирно платит Крез зловещий,
Питомец хищного фуля.

А масть приходит ежечасно
И квинту вражескую бьет.
Мне внятен, Эрмий, шепот страстный,
Твоих судеб высокий ход:

Иссякнут в круге уstraшенном
Партнеров гордых погреба;
К тому, кто был всего лишенным,
Жетонов ринется гурьба –

Дабы прославилась победно
Твоя, о Эрмий, мощь и власть.
Унижен будет раб твой бледный,
Но ты ему не дашь упасть.

* * *

Голова моя поднята к небу,
Но пострижены волоса.
Мне бы лиру, хоть арфу мне бы,
Мне певцом бы на треть часа.

И за что обречен я, обрючен,
Зачем не женщина я,
Раз что так распластан и скрючен,
Так душа несущественная.

И не музыкой, а мужчиной
Пребываю, и не гожусь.
Я выделяваю овчину
Нестоящую. Лежу.

И как прежде, не много знаю,
Не много любим.
Мне и звезды не мигают,
Как же я отвечу им?

* * *

Корифей выходит перед хором.
Радость, братья! Действо начинаем.
Опадает шелест разговоров.
Ярко блещут зубы запевалы.

* * *

Заматавши новые портянки,
Побрели мы в отпуск двухнедельный.
Сладко по конюшням отдыхали,
На рассвете отправлялись дале.

Останавливались у баштанов,
Кавунами незрелыми питались.
Всё же нас встречали, точно званых,
Колонисты из немецких сел.

Молока немало перепито,
Много спано на чужой соломе,

А в одном гостеприимном доме
Даже в ванне выкупались мы.

Очень долго по Тираспольскому тракту
Мы ползли повадкою солдатской,
И мешки тащили вещевые,
Волочили ноги в пузырях.

А когда расстались напоследок —
Говорить нам вовсе не хотелось,
Потому что оба мы устали.

1921

* * *

Сырая мать. Ее нельзя любить,
Любовь такая сердцу не под силу.
Вот надорвется, и тогда не быть.
Земля сырая. Свежая могила.

В посмертный страшный день, когда на свете этом
На зеркало не выдыхает рот,
Я гнить хочу скорей и стать теплом и светом,
Скорей войти, скорей, в веществ круговорот.

Сюда, мой голый червь, хозяин скромный мой!
Во славу вящую земли непобедимой
Питайся мной, веди меня домой.
Так сделаться землей родимой.

МАНИЯ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

Так лечат душу: выскажи скорее
Насильно вслух необоримый страх —
И рухнет он подрубленную реей,
Сойдет с пути и обратится в прах.

Стихотворительное одержанье,
Язык богов, гармония комет!
Бессонный клин, сознательное ржанье
Моих разлук, моих плачевных смет.

О том, что знаю и чего не знаю,
Перо, тебе докладываю я.
С тобой теперь поминки начинаю
По злой тревоге моего житья.

Боюсь других в моем уме бессильном,
Хоть и они хлопочут точно я,
Подобные оплеванным рассыльным
На площади рябого бытия.

И вот во мне поет моя обуза,
Внутри грохочет мания моя,
И мелкий шар, как сердце, тонет в лузу,
Подстреленное властью кия.

Смотри меня через очки незрячей,
Могучей беспорядочной любви;
Твоей души горячей ключ горячий
Себе на помощь страстно призови.

Застенчивая речь: – Душа дрянная!
Ты как моя похабна и нища;
Ты колобродишь, семена роняя,
Беспочвенные семечки луца.

Но ты покрыта толстою корою
Святых трудов и совершенных дней. –
Вот разговор, который ты порою
С душой ведешь, с ней говоря о ней.

С душой другого, облегчая словом
Ее отчаянную тошноту,
Беседуешь на мостике еловом,
Ее даришь любовью налету.

Так подари меня любовью нужной,
Преследовательный разбей недуг,
Страх расколи рукой доброподружной,
Заботливым рисунком бровных дуг.

1925

* * *

Всею душой полюбила душа моя
Тех, кто ходит в чужие края,
Кто и за гору ходит и за море,
Для кого и закат и маяк.

Для кого поселянка румяная
Исходила парным молоком,
В ком разгуливала безымянная
Кровь, а сердце большим молотком.

От кого рассыпается в ужасе
Зеленное зверье по тайгам,
Чьей рукой основательно тужится
Безошибочная тетива.

Посмотри, блудный сын возвращается
Весь в репейнике и бороде,
Только пес признает и ласкается:
Чуден странник для глупых людей.

Я привет под испорченным зонтиком
Голоском восклицаю скопца
Мореплавателям и охотникам,
Путешественникам и борцам.

* * *

Я считаю, что я недостаточно смел
И что это большой грех,
И поэтому смелым раздать готов
Весь запас дорогих венков.

Не вдаваясь в оценку флагов и слов,
В рассмотрение партийных основ,
Я привык утверждать, что всегда хороша
Мускулистых шей краснота.

А когда спасения больше нет,
Надо чистую рубашку надеть,
Чтобы Бог не сказал, что в смертный час
Позабыл человек чистоту.

ВЕРНОСТЬ

Перед тем как выйти на ратный подвиг,
Каждый муж должен помолиться.
Без поддержки верховных духов
Может он оказаться слабым
И предателем пред друзьями брани.

Должен муж, преклоня колени,
Вызвать Воинов ангельского стана:
Кровь вручить до единой капли
Меченосцу, окруженному бурей,
И вручить свободную волю
Томноокому Расточителю смерти,
Окруженному тишиной нездешней.

Совершив обряд омовенья,
Встанет храбрый на встречу рока.
Он оставит надежду – робких пристань:
Чает боя опустошенное сердце.

Он любовь земную отринет:
Превозмогший жажду мягких объятий
Будет весел на лугах славы.
Грудь одев добровольным пленом,
Твердо скажет муж: верю в Бога.

* * *

Три страсти есть, которыми отвек
Уничтожается дом человека.

Вот Богом проклятые имена:
Плоть женщины, плеск карт и пар вина.

Спасайтесь, вышибайте клином клин,
Лепите дух в противоборстве глин.

Брось женщину, подумай об ином,
Осуществи забвение вином.

*А ты, вино, осенней стужи друг,
Минутное забвенье горьких мук,*

Отступишь перед женскими плечами,
Отступишь перед женскими ночами.

Так с любострастьем борется вино,
Сим чашам равновесье суждено.

Но всепобедная встает игра,
Быстрее мух, острее топора.

И третья страсть глумится над врагами.
И в жадном сердце дикими лугами

Распространяется Шестерка Пик,
Стальной мечей и тверже статных пик.

УТРЕННЯЯ ПРОГУЛКА

Подымайся, лядащий, лежащий,
Погулять, по деревне гулять.
Ты отправишься аможе аще –
Всюду утро, пора щеголять.

Аккуратно проснулся алектор,
Рассылает свои ко-ре-ку.
Вран стервятник... грешу я, о лектор:
Лыко в строку – так лыко реку;

И пишу, словеса обнажая,
И язык уморительно гня.
Режу души друзьям без ножа я,
А враги не жалеют меня...

Аккуратный алектор играет,
Разбужает людей и скотов.
Вран коллектор куражится, грает –
Взятки гладки с ворон и с котов.

Вас мечтательно я возлюбила,
Я, мечта – Вас, отличный горлан,
Деревенское сильное било,
Неустанный куриный улан.

ПТИЦЕЛОВ

С ладонью ищущей, с открытым лбом,
Я подошел к немилосердным дням.
Стучусь – тик-так, стучусь – бим-бом:
– Не впустите ли вы меня? –

– Ты птицелов, а мы богатых ждем,
Богатых духом или кошельком.
Ступай скорей в Господень дом,
Ляг в уголок слепым комком.

Не колоннад обманчивый устой,
Не портиков позорная резьба:
Храм подлинный есть дом простой,
Без красного угла изба –

Приют последний, страшная страна,
Пристанище божественной души,
Пустое, как сама она,
Иль как без сердца камыши.

С тобой да будет Повелитель сил,
Прошений не приемлющий вовек. –
Дней словеса я оросил
Горохом из-под теплых век.

И я бежал и был освобожден.
Без сердца днесь – о радость, Господин! –
Для нового житья рожден –
С тобой, с собой, один.

* * *

Есть слезы счастья: той достойной влагой
Глазам родительницы изойти,
Когда вернулся сын, служивший флагу
Своей страны на Марсовом пути.

А слезы горя! Гнутые ресницы
Покинутой супруги – их приют.
Так, в жизни двух – единство только снится,
Его достигнуть судьбы не дают.

О, третьи слезы... Но молчи об этом:
О преисподней – о слезах стыда,
О жалком зле, не раз тобою петом,
Об этой ране, свежей навсегда.

* * *

Я молюсь перед Богом моим
И к нему ползу и к нему лечу в непроницаемой мгле,
Как на коне бедуин стелется по земле,
Рассекает ветры плащом своим.

Духу счастья и славы молюсь из юдоли земной,
Бьется сердце в клетке грудной.

Слов ищу простых – с отцом говорить,
Но таких найти не могу,
И хочу молчать, но умереть не могу,
И хочу не дышать, но не смею себя убить.

Вознесись к отцу, молитва, мой конь,
Подстрекаемый пятками моей любви,
Низойди на меня, отчий огонь,
Сильный поток любви.

ПЕРСТЕНЬ I

О нехорошем горе несуразном
Ломаем перья, голосом поем.
Но как сказать о счастье безобразном,
О счастье патетическом своем?

И не моими ль рыбьими словами
Изобразить веселые дела:
Как Божий раб куражился над львами,
Как совесть закушала удила;

Как лещ, сигая по водопроводу,
Рапортовал и плакал впопыхах,
А сонмы туч пошли, шумя про воду,
И дождик пал, и шелком садик пах.

Не забывайте перстень Поликрата –
Ведь незабвенная моя душа
Вконец раздета, брошена двукраты,
А вот вернулась, тяжело дыша.

И вот она без надоедной тины
И несказуемо упрощена,
Как «отоприте» блудного детины,
Как вмиг раскаявшаяся жена.

Сказать о всем претрудно и не время.
О, ненавистная, ложись, душа!
Взвали на грудь возлюбленное бремя
И вновь прижми – не спя, но не дыша.

ПЕРСТЕНЬ II

Не думайте, чтоб добрые деянья
Всегда бывали вознаграждены.
Нет, не всегда сторицей подаянье
Возмещено старателям денным.

И не всегда за преступленье кара
На провинившегося с небеси,
Дабы поползновения Икара
Подтаяли и сверзились без сил.

Разочаровывают справедливых
Фемидины сокрытые глаза.
Обычный суд пожаловал счастливых,
Презрительность несчастным оказав.

Клонитесь, ивы гибнущего мира,
Раскапывайся, тощая руда.
Скажи, диалектическая лира,
О неосуществившихся трудах.

Воркуй нежней, родная голубица,
Метрическая грустная игра.
Поет кларнет, гармония клубится,
Развертывается большой парад.

Восходит лес, любовно возвращенный,
В кустах перекликается добро,
Блестит на пальце перстень возвращенный,
Слагает крылья посрамленный рок.

* * *

И как бы немо иль гугниво
Ни проходила жизнь моя,
Солдата и его огнива
Наверно не забуду я.

И помню, были три собаки,
С глазами разных величин.
Передник ведьмин у рубаки,
И не боится нижний чин.

* * *

Ослиная в руке Самсона челюсть...
Дано поднять не всякому тебя.
Есть в слабости болезненная прелесть –
Не для других, а только для себя.

Есть в слабости покорная досада.
Так выздоравливающий идет,
Садится робко на скамейку сада
И новой жизни с недоверьем ждет.

СЕРДЦЕ

Недостойному, мне ли пристало
О великом, о тайном начать?
Но об этом душа зашептала,
И об этом нельзя умолчать.

Не уйду от тебя никуда я,
Ненасытная совесть моя.
Некрепка моя вера худая,
Маловерная вера моя.

И когда бы чужое насилье
Повелело: покинь, отойди –
Я бы сбросил духовные крылья,
Сердце выбросил бы из груди.

Оттого-то, в последний, быть может,
Я скажу о духовных делах.
Ведь и вас это дело тревожит,
Ведь и вас посещает Аллах.

В мире наших ужасных волнений,
В море яда, в чугунном бреду,
Преклоняю старинно колени,
Славословлю, поклоны кладу.

Вас приветствую, слабые храмы,
Сад единственный в пропасти зла –
Острия католической Дамы,
Православных церквей купола.

Мусульманский высокий обычай:
Чистым сердцем и чистой пятой...
Бейся, сердце, от разных обличий
Человеческой веры святой.

О, святая святых синагоги!
Если б я среди набожных рос,
Я бывал бы в печальном чертоге
Очистительно жалобных роз.

Нет, я вырос без церкви, без быта.
Как же стало, что с каждой весной
Очевидней, сильнее открыта
Глубина, ширина надо мной?

Неужели до самой кончины
Буду я не оставлен тобой
И тобой награжден без причины,
Дивный воздух, покров голубой.

Сколько радости было дано мне!
Эти сорок счастливейших лет.
Не бывает удача огромней,
Не бывает блистательней свет.

Хоть мученье, позор и увечье
На меня бы теперь низошло –
Совершилось мое человечье
Незаслуженное ремесло.

Как безумно, как страшно, как дико
Сердце Мира вполне возлюбить;
Жадным волком, собакою дикой
Перед смертью об этом провить.

Потому что не скажется словом
Безграничное поле любви:
Снежным пламенем в небе свинцовом,
Разложением в смертной крови.

1937

* * *

Нас поджидает счастье за углом.
Туда бы нам, как пчелам на пыльцу.
Не можем знать, что, обогнувши дом,
Мы встретились бы с ним лицом к лицу.

АННЕ ПРИСМАНОВОЙ

Для Вас пишу любя и нарочито,
В прямом доверии и в простоте.
Читайте тридцатипятичито,
Хоть этот почерк и осточертел.

А там стихопечатальной машиной,
Которой век пороги обмелил,
Смят почерк этот чисто камышинный,
Побит свинцом и стерт с лица земли.

Глядите верно – ведь еще возможно, –
Пока набор писца не оборвал:
Я друг – и твердый и еще не ложно –
Еще не холощенные слова.

ВЕСТЬ

ШАР

На что нам чудеса! Когда б ослепли мы,
когда бы слышать перестали –
мы к бурям бы рвались из медленной тюрьмы
и о пожарах бы мечтали.
Но несказанный шар сейчас осветит нас,
и знак подаст; и звуки встанут.
И будет слышать слух, и будет видеть глаз,
а ночь и глушь в могилу канут.
Каких чудес желать? Ведь их не может быть:
они уже у нас и с нами.
О том, чтоб не заснуть. О том, чтоб не забыть.
О том, чтоб не забыться снами.

1949

ВЕСТЬ

Ознобов и бессонниц тайных
нас утомляет череда
сцепленьем слов необычайных,
не оставляющих следа.

Средь ночи добровольно пленной
при поощреньи щедрой тьмы
мы пишем письма всей вселенной,
живым и мертвым пишем мы.

Мы пишем как жених невесте,
нам перебоев не унять,
чужим и дальним шлем мы вести
о том, чего нельзя понять.

Мы прокричим, но не услышат,
не вспыхнут и не возгорят,
ответных писем не напишут
и с нами не заговорят.

Тогда о чем же ты хлопочешь,
тонический отживший звон,
зачем поешь, чего ты хочешь,
куда из сердца рвешься вон?

1948

ГАЗЕЛА

Всем привет! Мудрец не знает ничего,
опыт нам не прибавляет ничего.

Время льется как холодная вода –
не дает, не отнимает ничего.

Солнце всходит и заходит, день исчез;
человек не понимает ничего.

Месяц всходит и заходит, день настал;
человек не вспоминает ничего.

Лжет язык любви, хвалу выводит льстец;
слово лжи не объясняет ничего.

В этих бейтах злую правду видишь ты;
ах! и правда не меняет ничего.

Слушай, слушатель! назойливый редиф
ключ всего тебе являет: ничего.

Бейты: двуступишия. Редиф: повтор. (Прим. автора.)

1953

ФАКЕЛ

Эстафетный бег являет взорам
зрелище, которому найти
невозможно равного; с которым,
муза, не тебе ли по пути?

Муза, ты бродячему сюжету
передачи факела верна.
Если ты о жизни скажешь свету –
об огне ты говорить должна.

Наши нам назначены стоянки,
точные намечены места.
Под пятой – зеленые полянки,
над челом – святая пустота.

На местах законно неизменных,
на песках дорожки круговой,
бегуны команд четверочленных
думают о славе групповой.

И когда по звуку пистолета
выпущена первая стрела –
в кулаке зажата эстафета,
плотный пламень, дружные дела.

Впереди же, руку приготовя,
поджидает вполуоборот
переемщик, полный свежей крови,
взгляд назад, а тело наперед.

У того, который в беге ныне,
гром в висках; в мутящемся мозгу
мысль одна, оазисом в пустыне:
я дойду, сойти я не могу.

Он бежит, совсем уже кончаясь,
припадая к матери сырой;
и молчит, почти совсем отчаясь,
зрителей сочувствующий рой.

Нет: другой, сосредоточь вниманье,
твердый светоч ловко получи,
таинство сверши перениманья...
Замолчи, о муза, замолчи!

Из груди до горла – сердце наше
радости решительным броском,
слез неупиваемая чаша –
из груди до горла, быстрый ком.

На траву он валится, распятем
руки он раскидывает; в гроб
он стремится к теплomu разъятью
земляных и гнилостных утроб.

Все мы гости праздника земного,
в землю мы воротимся домой.
Торжеству квадратная основа –
я, мой сын, мой внук и правнук мой.

Я хочу тебя увидеть, правнук,
не хочу я скоро умереть,
мне бы жить примерно, жить исправно,
чтобы очень медленно стареть.

Век хочу исполнить Тицианов,
девяносто девять здешних лет;
если ж надо мне покинуть рано
этот глупый, но приятный свет –

не прошу я горя после жизни,
умоляю: траур упраздни;
легким смехом на обильной тризне,
шумом театральной помяни.

И когда я буду за барьером,
честь воздайте мне ядром, шестом,
и копьем, и диском, и барьером
даже в поколении шестом.

Я тебя люблю, благое лето;
хорошо, что не умрешь со мной.

Я сойду, отдавши эстафету
новым слугам прелести земной.

1939

ИМЯ

Никогда я не буду героем
ни в гражданской войне, ни в другой,
но зато малодушья не скрою
перед Богом и перед собой.

О бездонная горькая честность –
одинокая смелость моя!
Соблазнительная неуместность
нарциссического бытия...

Я люблю на меня не похожих:
пехотинца, месящего грязь,
и лубочного всадника тоже,
под шрапнелью держащего связь.

Но геройству не счесть категорий:
сколько крови, и гноя, и слез,
горя женщин и детского горя,
седины... этот пепел волос!

Не солдат, кто других убивает,
но солдат, кто другими убит.
Только жертвенность путь очищает
и душе о душе говорит.

Оттого-то широкорамный
нам не люб низколобый атлет,
лишний груз для души современной,
для труда наступающих лет.

Пусть я буду пустой чужестранец,
но могу я тебя восхвалить,
слабый: туберкулезный румянец,
сильный: воли вощенная нить.

Воспаленный чахоточным жаром
узкогрудый воздушный герой!
Пред тобою склонились недаром
поколенья, и бредят тобой.

В небеси совершенныя славы
(это – официальный Приказ)
ты в легенду вступаешь по праву,
кинув имя. Осталось для нас.

Вдоль сухого латинского сада
есть название улицы, есть.
В этом гордость столичного града
и о духе бессмертная весть.

Я хотел бы на улице этой
проживать, и мечтать о тебе,
в зимней стуже и в пламени лета
вспоминать о воздушной судьбе,

высекая мечтой лапидарной
в камне сердца – из выпретенных сфер
три луча для земли благодарной:
Гинемер. Гинемер. Гинемер.

1940

УГОЛ

Незаслуженное чудо
ожидает за углом
тех, которым очень худо.
Обогни стоячий дом.

Усмири тревожный трепет
в шумной и большой груди.
Удержи сердечный лепет.
Темный угол обойди.

Воцари в спокойном сердце
золотую пустоту,
победи в пустынном сердце
кровяную суету.

Темный угол, угол дома
обойди и обогни.
Грянули раскаты грома,
брызнули его огни.

Тех, которым было худо,
белым счастьем обожгло.
Неожиданное чудо
не случиться не могло.

1955

УТРО

Теките, сутки. Просыпайся, спящий,
ценою тишины волнение купи.
В котел денной, обидами кипящий,
доверчиво вступи.

Да, этот свет и этот шум прекрасны,
затем что видишь ты, затем что слышишь ты,
покинув мир небесный, но неясный
покоя и мечты.

О счастье берущих и дающих,
тех, кто опять не слеп, тех, кто опять не глух,
неверующих или верующих;
о зрение и слух!

Седмижды на неделе воскрешенный,
благодари, благодари, благодари
за новый шум, среди ночи предрешенный,
за новый свет зари.

И утренних наплыв недоумений
сознательным умом в груди останови.
Вставайте, дни – высокие ступени
уверенной любви.

1950

ДОВЕРИЕ

Как жалок лепет слов твоих напрасных
в беспомощных молитвенных стихах,
как жарок ворох роз приснопрекрасных
в твоих руках, в чахоточных руках!

Сюда, Тереза, умершая рано,
мне, смертному, на помощь поспеши;
явись благоприятною охраной
в ночи, в ночи, во мгле, в глуши, в тиши.

Под сводами томления ночного
всё прошлое и пусто и темно,
но иногда блаженной вестью новой
воображение потрясено.

И в каждом вздохе, сердца в каждом бьеньи:
сюда, Тереза! ворох роз сюда!..
Проходят дни, растет уединенье,
встает гора греха, труда, стыда –

но ты, чахоточная королева,
пребудь с рабом, к слепому низлети,
оборони от грусти и от гнева
и руку горя властно отвори.

1944

СВЕТИТ МЕСЯЦ

*Дочь моя живет в Лизгоре,
с мужем ей не скучно там.
А навязчивое горе
ходит по другим местам.*

Бестелесно, но костляво
и косою ополчено,
всюду близко, вечно право –
прочно царствует оно.

Истожились наши силы,
страха нам не победить.
Мертвые легли в могилы,
приказав недолго жить.

Братья, сестры! Перед этим
жалким ужасом земным
станем мы подобно детям,
руки мы соединим

и, не плача и не споря,
будем верить чудесам.
*Тварк ушел давно уж в море,
жив иль нет – узнаешь сам.*

1947

СЕСТРА

Не говори как все: одной не миновать,
двум не бывать. Не две – неисчислимо много.
Отряд живых смертей с тобой шагает в ногу.
Забудь. Не вызывай. Страшись именовать.

Пока твоя болезнь тебя не обняла,
как сладострастница, которая потушит

твой пыл, умрет сама, но и тебя задушит, —
справляй в молчании привычные дела.

Не думай об ее коварных западнях.
Твоим житейским дням довлеет жизни злоба.
Не зная друга друг, перемогайтесь оба.
Бок о бок с ней живи в неблагодарных днях.

Ты знаешь, мы в бреду, и всё — туман и страх.
Но празднуй всем богам за то, что ты не болен,
что ты еще здоров, еще свободоволен
и к небесам взлетать, и опускаться в прах.

Она уже с тобой, хоть не пришла пора
тебе ее познать и с ней соединиться, —
намеченная тень, враждебная близница:
болезнь предвзятая, безмолвная сестра!

1948

ЗРЕНИЕ

Среди полета и паденья
уравновешивая путь,
неукоснительного бденья
прямым хранителем пребудь...

На склоне зрелости срединной
годов утраченных не жаль.
Назначен глазу опыт длинный:
слабее вблизи, сильнее вдаль.

Не так же ль в зрении сердечном
есть возрасты и времена?
Всё переменно, всё конечно,
и жизнь по-разному смутна.

Но постоянно умозрима
успокоительная ночь.
Случайное проходит мимо,
условное уходит прочь...

Дела отчаянья и розни
бесповоротно отмети;
ревнуй о том, чтоб к смерти поздней
с бесстрашным сердцем подойти.

1948

ТИБЕТСКАЯ ПЕСНЯ

Хвала вам, шесть концов: Восток, Юг, Запад, Север,
Зенит, Надир;
пусть будет мир для всех; для ангела, для зверя
пусть будет мир.

Я одолел подъем дороги нетенистой –
вот верх горы;
привет вам, шесть концов, с вершины каменистой
земной коры.

Как все, кто до меня стоял на перевале,
я вниз гляжу;
пред спуском, – как и те, что здесь перебивали, –
я положу

на кучу камень мой. Хвала живущим, жившим
вблизи, вдали –
на грани облаков свой камень приложившим
к трудам земли.

1953

ИЗ КНИГИ «СЕРДЦЕ»

КОРАБЛИ

Сколько б нам ни говорили худа
о стране соединенных звезд –
все ж она прекрасна, и оттуда
к нашей славе перекинут мост.

Путь побед над синей глубиною –
для наживы, для земной мечты!
Оголтелой страшной матроснею,
Новый Свет, был открываем ты.

Неудачникам и проходимцам
ничего не надо вспоминать;
им тянуться к даровым гостинцам,
их кибиткам травы уминать.

Все они уходят к жизни новой
и от нищеты и от суда,
капитанов яростное слово
их грузит на зыбкие суда;

и подонки европейских обществ
хриплым гамом полнят корабли –
люди-волки с кличками без отчеств,
пионеры девственной земли.

Понутру им здесь обосноваться,
поплечу им и вставать чуть свет
и рубить и петь и напиваться.
Новым людям будет Новый Свет

колыбелью новой, новым гробом.
Их стадам на западе пастись,
на востоке чудо-небоскребам
из гранитной почвы вознестись.

Сочно всходит семя иммигрантов –
атлетические богачи;
набегают волны эмигрантов,
молот возводительно стучит.

Там восторгнут факела румянец
И туда отчаянный бежит:
Бледный швед и бедный итальянец
И гонимый варварами жид.

От ярма помещиков веселых,
от обиды бешеных владык
уплывает стадо новоселов
на другую сторону Воды.

КРОВАТЬ

Пока еще ты блещешь в небесах,
пока живешь – еще живу и я.
О, сильный друг, стоящий на часах
коротких дней! отец и мать моя!

Когда-нибудь придется умирать.
Мой правнук, будь со мной на склоне дней,
на солнце выставь смертную кровать
и с ней меня, лежащего на ней.

НЕ ВОШЕДШЕЕ В КНИГИ

STAR-SPANGLED

1

Всё в Америке не так, как в Европе.
Новый Свет! Соединенные Штаты!
Развевается над очагами храбрых
Звездами усеянное знамя.

Неудачники, проходимцы –
Упрямые пионеры,
Их потомки выбриты гладко,
Страна богата и многолюдна.

Пастбища, небоскребы,
Веси Запада, города Востока.
Ах, в Америке быстрые кони,
Быстрые паровозы.

Давно и очень исправно
Занимались боксом англичане,
Но со времени первого чемпионата
Чемпион мира всегда американец.

Пусть Кнут Гамсун не любит янки
За отсутствие аристократизма –
Лучше быть американским гражданином,
Чем подданным Короля Норвежцев.

О, я знаю, заокеанские вкусы
Крайне поверхностны и грубы,
Знаю, что совершенно несносны
Вашингтонские старые девы –

Но красивы американские солдаты,
У них египетские фигуры,
А матросы у американцев
Не то что у немцев или французов...

Вообще, хорошие матросы,
Но не будем говорить об этом.

1922

* * *

Бесцельно ревностью напрасной
Себя ты мучишь и меня.
Слезой блещет взор твой ясный
И в поцелуе нет огня.

Не вспоминай о том, что было,
За увлечения не клейми.
О прошлом сердце позабыло.
Пойми – прости – и обними.

Скажи о счастье, о надежде
Улыбкой милого лица.
Моя любовь сильна, как прежде –
Она растет – ей нет конца.

ПЕРЕВОД ПЕСНИ, КОТОРУЮ ПЕЛИ НА ТИТАНИКЕ

О Боже, я – к тебе,
тесней – к тебе.
Заветный крест скорбей
встает в моей судьбе.
О Боже, я – к тебе,
тесней – к тебе.

Призыв любви моей:
к тебе – тесней.
В часы труда и муки
я простираю руки:
прими меня к себе.
Тесней – к тебе.
Тесней – к тебе, Господь,
тесней – к тебе.
Возьми земную плоть
тесней – к себе.
Среди беды и страха
к тебе влекусь из праха.
Еще тесней – к тебе,
тесней – к тебе.

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО ПРИ ЖИЗНИ

ВАЛЕНТИНУ ПАРНАХУ

Вот тело хрупкое пророка и танцора,
Вместившее огромный дух...
Ты хрупок стал от частых голодух,
От негрской музыки и от движений скорых.

О ручки детские! Ботинки «garçonet»,
Воротнички тридцать четвертый номер
(Любой поэт от удушенья б помер!),
Шерсть рыжая на брюхе и спине.

Эротоман ужасно изощренный,
Неисчерпаемый в мечте ночей,
На дню же – целомудренно ничей
И женским посягательством смущенный.

Прости, наставник, дерзкий мой язык:
Создателю размеров беспримерных
Не повредят укусы своры верных
И смех кинематографических заик.

1921

* * *

От Александра, Самсонова сына (хранящего в сердце
Верную память отца) Вениамину привет.
Здравствуй, любезный приятель, двоюродный брат в Аполлоне,
И благодарность прими от недостойного хвал.

Кажется, лучше жене и значительно спала горячка,
 Так что Асклепиев жрец к нам не являлся совсем.
Если опять не случится такой же печальной задержки,
 Ждите нас в месяце сем двадцать девятого дня.
Дам своевременно знать, а пока прерываю посланье,
 Надо рабочим платить, надо счета проверять.
Всё мы обсудим при встрече, о чем ты в письме рассуждаешь.
 Знай, что уныние – грех. Слава бессмертным богам.

* * *

От Александра из веси Нормандской в Паризиев город
 Вениамину привет. Я совершенно здоров.
В день, посвященный Венере, в число же четыре на десять
 В вашу столицу грядут Анна, Василий, Сергей.
Я прибываю вослед им, Сатурнова дня на закате.
 По телефону звоню. Сектор зовется Карно.
Вежливо номер потребуешь ты: шестьдесят, дальше восемь,
 Снова потом шестьдесят, после четыре. Алло!
То кабинет зубоучный меня породившей Марии,
 Зуб удалившей тебе дивным искусством своим.
Там избираем жилище. В сей оперативной квартире
 Дней приблизительно пять Анна пребудет с детьми.
Я ж из столицы отбуду в сырую нормандскую землю
 Утром в Меркуриев день счетное дело вести.
Ныне тебе сообщаю: в сей месяц, число же семнадцать,
 День, посвященный Луне, есть юбилей рождества.
Именно пять семилетий того человека, который
 Это письмо сочинил. Слава всевышним богам.

* * *

Слава бессмертным. (Другого не будет на свете начала
 От посылающих весть, от получающих весть.)
Снова приходится нам отложить посещение Парижа.
 Всё же «увы» не скажу, несправедливо роптать.

Были последнее время больны и жена, и ребята,
Были простужены все, нынче же все на ногах.
Тридцать и восемь и много десятых на прошлой неделе
Было у Анны опять! Нынче ж всего тридцать семь.
Что же могу я сказать? Не теряем, конечно, надежды
Скоро тебя повидать в граде великом твоём.
В цирк нам весьма бы хотелось пойти и с двумя сыновьями,
Клоунов там посмотреть, диких зверей и т.д.
Также сходить в синема: интересно увидеть «Путевку
В жизнь» и услышать речей русских забывшийся звук.
Зубы я должен лечить у бесплатной придворной врачихи,
А у цирюльника мне следует волосы стричь.
Кроме того, и немало покупок намерены сделать
В городе-светоче мы. Надо теперь уповать.
Если позволит здоровье и новой препоны не будет,
Явимся к вам Ноября мы во второй Четверток.
Всем посылаем привет от тебя ж ожидаем известий.
Если здоров – хорошо, если же болен – лечись.

* * *

...Дружественны моему здоровью
Проявления природных сил,
И подверженного малокровью
Ни один сквозняк не подкосил...

О МОРЯКАХ

Хоть к Марии, не к древней Диане
Воззывают из бурь современных,
Только ты же и в смене названий
Покровительница дерзновенных...

ПО ПОВОДУ УПРЯЖНЫХ СОБАК И ПР.

Вам бывать не приходится если
В странах тех, где полярна зима...
Оставаясь в оплаченном кресле,
Вы увидите их в синема...

АКРОТЕРЦИНЫ

Алмазная гора воспоминаний,
Разбейся, расколись!.. Текут года.
Каков итог заветных упований? –

Астрономическое «никогда».
Дела и дни позорно суетливы –
Испепеляющая череда!

Юдольный рок: приливы и отливы.

1946

АКРОСТИХ

Листок альбомный ждал, а муза всё молчала.
Изменница, я так тебя просил!
Даешь стихи! Не ты ли обещала?
Исполни долг – лиха беда начало –
Я помогу тебе по мере слабых сил.

6 октября 1946

ΠΡΟΖΑ

РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ, ЭССЕ

ВЕЧЕР НА ВОКЗАЛЕ

В нашем нормандском городке последняя выемка писем в 9 часов вечера.

О, как я ненавижу Нормандию! их богатство, и горький сидр, и женщин, которые одновременно развратны, как женщины виноградных мест, и расчетливы, как белобрысые красавицы! Этот народ не верен своему слову. Даже мебель их я ненавижу.

Тяжело жить среди этих людей. Иногда, правда, хочется их простить: это когда находишься в компании нормандских пьяниц и во власти семидесятиградусного самогонного кальвадоса. Жуткое северное опьянение, столь несвойственное латинским частям Франции, вот что дала здешней расе скандинавская кровь; да разве еще лазурные нормандские глаза.

Вечером после последней выемки приходится идти отправлять письма на вокзал.

Здесь, в этой Нормандии, души лишены французской ясности. Здесь случается проходить мимо разных людей, которые как будто вырваны из литературы или врываются в нее. Не так у настоящих французов: в Париже меньше неожиданного и таинственного, чем в Берлине или Нью-Йорке. Гуляешь ночью по парижским улицам и знаешь с тоской, что не будет никакой встречи, никакой бесплатной любви.

Опустив письмо в вокзальный почтовый ящик, я вошел внутрь вокзала, в небольшую ожидальную, со скамейками вдоль стен и с круглой печкой, заставляющей вспоминать те печки, около которых греются старики в американских фильмах. Уютны эти печки, в магазине, например, куда заходят индейцы со своими мехами, а за прилавком гражданин Соединенных Штатов. Такие не европейские печки, не французские.

Наш городок скорее захудалый, но станция узловая, одна из довольно жирных точек на карте железнодорожных сообщений. Каж-

дый раз, опустивши письмо, я вхожу в ожидальную, в надежде, что какая-нибудь пересадочная пассажирка сидит на скамейке, закинув ногу на ногу, давая возможность сладострастно любоваться своими икрами и частями ляжек. Но чаще всего на скамейках храпят матросы и солдаты, лежа на спине и опустив утомленную отсутствием мыслей голову прямо так, на скамейку. Их носы вызывающе торчат; обнаженные шеи матросов заставляют меня еще и еще раз думать об аде воротничков.

На этот раз редкие пассажиры на скамейках и вся комната с круглой печкой, всё было насыщено книжным духом, тем духом человеческой жизни и путешествий, без которого не может быть книг о людях и путешествиях, но которого нет в жизни и нет в путешествиях.

Молодая красивая женщина, почти дама, сидела, закинув ногу на ногу. Светлые чулки не морщили, и на них не было пятнышек грязи, жалобно и неуместно пестрящих женские ноги в скверную погоду. Она держала на руках грудного ребенка, а другой, постарше, спал рядом с ней, сидя и приткнув голову к ее локтю. Она смеялась, открывая большие белые зубы.

Перед ней стоял маленький человек, очевидно, ее муж. Чем может заниматься такой маленький человек? Он, во всяком случае, небогат и неинтересен и никому, никому не нужен, разве что старой матери, которая его любит и, может быть, даже не понимает, что ее сына могло бы и не быть, что он и физически хуже многих других. И зачем он осмелился жениться на красивой женщине? Она могла бы встретить другого, недостойного соблазнителя; женщина с прошлым ведь часто и женщина с будущим; ей, может быть, удалось бы жить, иметь разные желания, а потом она написала бы, быть может, свои воспоминания, и критики писали бы об ее книге. А теперь, замужней, ей нельзя ничего захотеть: никто не хочет невозможного; у нее двое детей, ее муж никогда не разбогатеет, и перед ней нет ни мемуаров, ни кольца с настоящей жемчужиной.

Недалеко от печки сидел молодой человек с бледным и тупым лицом и довольно длинными волосами; виолончелист, как я потом узнал. Он держал в руках зеленоватую фетровую шляпу, и черные волосы врезались углом в лоб дегенерата. Но этот треугольник был сбрит, чтобы лоб казался больше...

Я стал у печки и долго с упоением смотрел на этот увеличенный лоб, пылая брезгливостью и презрением. Когда бледное лицо

поворачивалось, был виден ничтожный профиль, маленький череп с бессильно висящей тряпкой волос. Час спустя оказалось, что этот молодой человек начитан и даже смышлен и собирается записаться в авиационную часть. Лишний раз, и теперь уже навсегда, я убедился, что нельзя судить людей, не послушав их разговора, не ощупав их так же внимательно, как слепой ощупывает незнакомый предмет.

Впрочем, я не простил ему его двух больших пальцев с короткими ногтями. Пришлось волей-неволей видеть эти пальцы, пока руки виолончелиста, неряшливо, как обычно руки человека простого происхождения, перелистывали дневник колониального солдата.

В то время, как я стоял у печки, колониальный солдат появился в зале. Он сделал несколько шагов неуверенной походкой человека, знающего, что он одет неудобно и некрасиво, и поставил свой сундучок на скамейку, неподалеку от длинноволосого.

Солдат был высокий, молодой, узкоплечий. Однако я не удивился, узнав потом об его гомерических драках с американскими матросами: его шея была широка, и из коротких рукавов гимнастерки вылезали тяжелые предплечья длинных рук-рычагов. Но узкие кисти, раскрывавшие сундучок, кончались тонкими смуглыми пальцами с обточенными и почти чистыми ногтями. Эти пальцы, и вся его фигура резко дыхательного типа, и маленькая кудрявая голова под слишком маленьким кэпи, и серые, немного косящие глаза, всё это делало его похожим на искателя приключений, на добровольца, набирающегося впечатлений и потом опишущего свою жизнь.

Когда человек на что-нибудь похож, он ведь таков и есть, и зачем думать, что из тысячи лотерейных билетов номер 666 имеет меньше шансов выпасть, чем любой другой, простой, не странный номер. Солдат расстегнул ремешок, стягивавший его сундучок, сделал неловкое и лишнее движение, и ремешок остался у него в руке, лопнув с упругим струнным звуком.

Литературный воздух сгустился и невидимые электрические волны заполнили станционную комнату. Печка была красна; муж и жена замолчали и вместе вздохнули; виолончелист потянул носом и повернул голову в сторону солдата.

В раскрытом сундучке оказались три пары солдатских башмаков с необыкновенно толстыми подметками; мне показалось, что у одной из пар подметки были деревянными. Башмаки лежали на тугой куче всякого скарба; их сбитые каблуки впивались в ворох шуршащих пред-

метов. Невольно переведя глаза на ноги солдата, я увидел, что обувь у него не солдатская, а вольная, и относительно щегольская.

Солдат запустил руку в ворох, и я с замиранием сердца ожидал, что сейчас появится одна из тех книжек в ярких обложках, кроме которых никаких книжек не читает средний французский народ; и это значило бы, что солдат был обыкновенным солдатом. Но он вынул приличное издание «Отверженных» и собирался погрузиться в чтение. Я понял, что это один из тех счастливых самоучек, которые уже взрослыми читают книжные шедевры, давно забытые привилегированными школьниками.

– Чего-чего, а уже сапогов у вас наверно хватит, – неожиданно сказал длинноволосый.

Солдат покосился на него, порывлся в сундучке и извлек из глубины тетрадку.

– Вот, не хотите ли взглянуть, это мои впечатления (он так и сказал: «впечатления»). Это вам не Виктор Гюго, конечно. Насчет стиля...

– Ну, ничего, – тупо сказал длинноволосый, принимая тетрадку.

Меня солдат и не заметил. Я кипел у печки, и моя злоба была краснее, чем она сама. Неужели этот колониальный путешественник и воин не понимает, что не этому идиоту должен бы дать на прочтение свой дневник? И ведь я как раз тут, и так близко! Правда, я ничего не сказал. Но как он мог не почувствовать, что именно я, у печки, писатель, игрок и иностранец, и что мое сердце регистрирует электрические волны, литературными токами бегущие по комнате.

Кретин смотрел в тетрадку, держа ее своими кривыми пальцами музыканта. Солдат уселся рядом с сундучком с «Отверженными» в руках. Он старался заставить себя читать, но его тонкие пальцы слегка дрожали, и слегка косящие глаза то и дело обращались в сторону соседа. Он вытащил из внутреннего кармана бумажник со вложенным в него вечным пером, открыл его, но тотчас же закрыл и всунул обратно в карман.

Досада и печаль душили меня. Я обвел комнату глазами и заметил, что у противоположной стены сидел новый пассажир, бесшумно проникший в нашу залу и примостившийся в углу. Его профессия была неопределима. Во всяком случае, это не был коммивояжер, так как при нем не было чемодана. Никогда еще я не встречал во Франции такого загадочного и такого бритого человека. Он продремал весь вечер и

так ничем и не проявил себя, но и его благородное бритое лицо стало одним из узлов электрических вихрей.

Я сел между музыкантом и солдатом и старался хоть что-нибудь рассмотреть в заветной тетрадке. Музыкант читал не торопясь. По временам он взглядывал на солдата, будто желая что-то спросить, но не решался. Солдат держал перед собой «Отверженных», но подносил книгу то слишком, то недостаточно близко к глазам, и было видно, что он думает о своем собственном сочинении.

Дверь тихо распахнулась и через нее вошли гуськом три красавца матроса. Они оживленно болтали; по голосу и выговору следовало принять их за совершенно воспитанных людей.

Книжная атмосфера достигла своего апогея. Молодая мать попросила слабым голосом закрыть дверь, чтобы сквозняк не повредил ее младенцу, и один из матросов округлым движением захлопнул дверь.

Мое сердце сжималось и расширялось. Длинноволосый потянул носом. Солдат с ненавистью посмотрел на матросов. Казалось, он завидует их хорошо пригнанной одежде и не знает, хорошо ли сделал, что не поступил во флот. Бритый вздрогнул во сне, и муж испуганно закурил папиросу. Матросы проследовали в залу 1-го класса, откуда стала доноситься возня и веселый, но скромный смех.

Я пытался заглянуть в тетрадь через плечо виолончелиста, но он вел себя так, как всегда в таких случаях инстинктивно ведут себя дурно воспитанные люди: он поворачивался таким образом, что мне ничего не было видно, как будто нарочно хотел заявить права собственности на тетрадь, так случайно попавшую в его недостойные руки. Все, что мне удалось рассмотреть, это три-четыре рисунка, показавшиеся мне вполне грамотно нарисованными, да еще то, что почерк был писарски-старательный, но без пошлых завитков – подлинный почерк самоучки.

Я решил дожидаться, когда дурак кончит читать, и потом просто попросить солдата дать почитать и мне, хоть это и было обидно для самолюбия. Единственное, чего я боялся, это того, что солдату надо будет сейчас уехать, а с ним и его тетрадке; я думал, что какой-нибудь чужак в таком случае на моем месте купил бы наскоро билет и поехал бы вместе с солдатом; я думал, что и я, может быть, поступлю так же, но потом вспомнил, что при мне нет денег, и сообразил, что нет поезда раньше двух часов утра.

Времени было достаточно. Об этом свидетельствовала храпящая на скамейках чернь, успевшая незаметно войти, растянуться и заснуть, пока я предавался своим размышлениям, чинно сидя между виолончелистом и солдатом.

Проходило время, пальцы виолончелиста переворачивали страницу за страницей. Солдат делал вид, что дремлет, но старался при этом иметь интеллигентное лицо. Комната была полна легких звуков, раздающихся всегда на каждом постоялом дворе, в сонном царстве чуждых друг другу людей, объединенных сонной одурью и безопасным ожиданием назначенных в расписании сроков.

– А фотография при вас? – с улыбкой спросил длинноволосый, возвращая тетрадь солдату.

Тот что-то ответил, но я не понял смысла его слов, так сильно билось мое сердце. Он уже поворачивался полуравнодушно, полувыжидательно к своему сундучку.

– А рисуночки вы сами рисовали? – сказал я. – Это очень интересно. Не позволите ли вы и мне посмотреть вашу тетрадь?

– Ну, что вы, право, не стоит. Право, это не заслуживает внимания. Это заметки изо дня в день, я их даже и не успел привести в надлежащий вид. Мне тогда было двадцать лет.

Солдат говорил складно, видно было по его интонациям, что он воспитал себя и постарался изгнать из своей речи следы своего социального класса.

– Вы предполагаете это опубликовать? – спросил я, протягивая руку.

Солдат отвечал, смущенный и, видимо, польщенный, что до этого еще далеко и что он не смеет мечтать об этом, хоть и был бы счастлив, если бы когда-нибудь, через много лет...

– Что ни говорите, а мне бы так никогда не написать, – вставил музыкант.

Они стали беседовать, а я занялся полученной тетрадкой. Время от времени я прислушивался к их разговору и узнал, что солдат раньше работал в декоративной мастерской, и что жажда приключений заставила его поступить в колониальные войска, и что его бедный отец постарался дать ему не по средствам хорошее образование.

Взявши тетрадку, я с неудовольствием почувствовал, что она принадлежит к типу пухлых школьных французских тетрадок, заключающих в себе около сотни страниц, то есть, если хотите, шесть листов. В

сердце у меня немедленно образовалась своеобразная утомительная пустота, как это бывает каждый раз, когда приходится держать в руках длинное произведение какого-нибудь собрата, и знаешь, что необходимо приступить к чтению, а потом еще и высказать мнение.

Это был, действительно, дневник, исправленный и переписанный набело.

Всё это происходило в 1927-м году. В дневнике колониального солдата рассказывалось о поездке его части в Китай и об его пребывании в Пекине. (Я так и не понял, почему они ездили в Китай.) Рисунки были недурны, но при близком рассмотрении обличали неопытного любителя тщательностью растушевки и вообще отсутствием экономии в средствах.

В тетради было чрезвычайно много дурного тона. На первой странице была нарисована толстоногая китаянка, со следующей подписью: «О, где вы, легкие ножки парижанок!»

Я читал дневник, стараясь пропускать неинтересные места. Это был настоящий человеческий документ, как и все сочинения этого рода, интересный не столько содержанием, сколько личностью автора, проявляющейся помимо его воли. «Впечатления» были изложены почти сплошь при помощи общих мест, вроде: «зрители тесным кольцом окружали уличных акробатов». Эти общие места были так многочисленны и так удачны, что приходилось поражаться человеческой культуре, сделавшей возможным изъяснение мыслей и даже чувств без всякого личного усилия, без всякого языкового мышления.

Но наиболее любопытной особенностью дневника было умение автора подмечать решительно всё, кроме наиболее существенного. Факты и внешние формы были описаны крайне подробно, но души людей и вещей отсутствовали, что, впрочем, могло быть поставлено в вину отчасти и молодости наблюдателя.

Рисунки были не лишены ценности в качестве документации: колокол храма; женский головной убор; китаянка, едящая на улице завтрак, только что купленный с лотка у бродячего продавца предметов питания. Были в дневнике и смешные места, подтверждавшие, что чувство юмора незнакомо многим людям, особенно молодым и активным: например, история о кутеже новоиспеченного унтер-офицера с перепившими его американцами, об его возвращении на квартиру и о неприятном разговоре с капитаном, кончавшемся следующим образом: «Я дал ему честное слово солдата, что больше это не повторится».

«Впечатления из путешествия в Пекин» были не без претенциозности разделены на части и на главы, с заголовками разной величины, большею частью шаблонно-широковещательными: «Первый успех», «Всё ради женщины». В главе «Первый успех» шла речь об экзамене автора на унтер-офицерский чин и о последовавшем назначении. Я узнал из этой главы об удивительно сложной системе баллов, применяемой на этих экзаменах, и о том, что автор был первым по правописанию, что меня не удивило – во всем дневнике была только одна ошибка, правда, часто попадавшаяся: в слове «чувствую» была лишняя буква.

Многие фразы были подчеркнуты, некоторые даже красными чернилами. Это были фразы, выражавшие категорические суждения, например: «Пекин есть не что иное, как обширная клоака».

В общем же, в моих руках был дневник действительных событий.

Я узнал много интересного о Пекине. Автор утверждал, что в китайской части города санитарная сторона обстоит весьма слабо и что китайцы не придерживаются даже и самых элементарных требований гигиены. Нередко приходится видеть на людной улице пять-шесть китайцев, рядком сидящих на корточках. Прохожих это ничуть не смущает, и когда сидящий завидит знакомого, он, не приподнимаясь, вежливо приветствует его, несколько раз кланяясь всем корпусом.

Взлелеянный западной цивилизацией, автор грустил в древней столице физической и моральной заразы. Согласно обычаю тоскующих европейцев, он развлекался, как умел, в притонах различной пробы. Случайное знакомство в одном ресторане круто изменило направление его мыслей. Он влюбился без ума в подавальщицу Нину Мельникову.

Нина Мельникова! Одиннадцать лет я во Франции, но та страна неотступно преследует меня: случайным словом и делом, вопросом цыгана, обращенным ко мне прямо по-русски среди толпы в самом сердце Парижа, и теперь дневником колониального солдата на вокзале нормандского городка.

Надо сказать, что любовь началась (как, впрочем, и следует) с интимных отношений. Не очень красивая, но обворожительная, Нина заполонила молодого человека. Они оба знали несколько слов по-английски – интернациональный багаж, достаточный в делах экзотической любви. Автор дневника учился русскому языку; как я потом выяснил, первое, что он узнал, были, понятно, слова: «я вас люблю».

Любовь казалась прочной, телесные наслаждения, восхищавшие неопытного солдата, сочетались с духовной прелестью живой и остроумной девицы...

После трех недель романа Нина подарила, наконец, свою фотографию, в которой долго и непонятно отказывала. Но через несколько дней корабль любви дал первую трещину. Колониальный солдат застал в комнате Нины американского матроса. Здесь следует описание кулачного боя, пестрящее боксерскими терминами, правильно написанными по-английски.

Дойдя до этого места, я поднял голову. Публика дремала. Три матроса прошли через комнату, вышли и вернулись через короткое время с двумя бутылками белого вина. Я еще раз полюбовался на их сутулые матросские фигуры, на их выпуклые сзади головы – так стригутся французские матросы, на свежие щеки с небольшими лапками. Я вспомнил, что часто бывает первая трещина после первой фотографии.

Американский матрос был не без труда изгнан, после чего произошло примирение молодых любовников, полное поцелуев и обещаний. Сердце унтер-офицера еще беззаветнее отдалось любви, и это обстоятельство даже невыгодно отражалось на обучении солдат пулеметной стрельбе.

Однако взаимной верности вскоре был нанесен удар, и на этот раз решительный. Нина стояла посреди своей комнаты, закинув руки на шею американского матроса (другого).

Опять автор полез драться, но получил сильный удар в нос, и, кроме того, откуда-то вынырнул товарищ матроса и тоже стал колотить француза. Ему бы несдобровать, если бы, привлеченный шумом, не появился пьяный и очень долговязый англичанин, немедленно ставший на сторону того, кто дрался один против двух.

И все на сей раз вышло сложнее и смутнее, чем прежде; Нина не выказала особого раскаяния, и солдат воротился к себе на квартиру с неприятным осадком в груди, с распухшим лицом, с разочарованием в добродетели Нины и женщин вообще, и с твердым решением порвать окончательно. Вскоре после этого воинская часть автора уехала из Китая, и так ненужно и неопределенно кончился его первый роман.

А сколько было трогательного за время этого знакомства: русско-французская чета гуляла по Пекину, осматривая достопримечательности города и наблюдая нравы туземцев в свободное от подавания время.

Нина, Нина! Как я ревновал, читая об этой Нине, читая то, что действительно было, о Нине, которая и сейчас, должно быть, живет в Пекине. Она, вероятно, очень опытна в любви, и как обидно, что я не могу с ней познакомиться. Как ужасно сознание своего бессилия. Мир мал, но разве я могу поехать к Нине в Пекин, и разве не далеко даже и до Парижа от нашего нормандского городка?

Я вернул тетрадку с благодарностью. Виолончелист сказал солдату, что знаком с редактором большой провинциальной газеты и мог бы составить ему протекцию, но солдат, не без достоинства, повторил, что об этом не может быть и речи.

Он рассказал нам о жизни французских солдат в колониях и о лихорадке, доходящей до 43 градусов. Неопрятный санитар делает впрыскивания в ягодицы толстой и длинной иглой, и во время строевых занятий кровь и гной из тропических нарывов просачиваются через плотное сукно солдатских штанов...

Мы поговорили о Пекине и о русском языке. Солдат вздохнул:
– Что ж? Я хоть немного научился по-русски.

Произносил он недурно, знал русскую азбуку, умел считать до ста и очень смеялся, когда я написал ему одно русское слово, состоящее целиком из звуков, не произносимых французами: хлыщ. После этого между нами троими завязался общий разговор на лингвистические темы, причем туполицый музыкант проявил недюжинную эрудицию.

Часто бывает, что говоришь с посторонним человеком о любимом предмете, и оказывается, что и он сам об этом думал и этим интересовался.

В пылу спора о бретонском языке, а попутно и об его социальном значении, виолончелист сделал широкое движение рукой и сильно задел печную трубу, уходящую в потолок.

Я услышал тихий звук, которого никогда и нигде не слышал с самого раннего, так беспощадно вытесненного, моего детства. В толстом бархатном переплете альбома семейных фотографий был вделан маленький вал и всё, что полагается для музыкального ящика. Перед тем, как остановиться, когда уже кончился завод, бывает, что вал приподнимет в своем последнем движении пластинку, и она скользнет слабо по бугорку и упадет с тихим металлическим визгом.

Металлический визг полоснул по литературному воздуху залы. Труба вдруг расчленилась в середине, одно колено вышло из другого,

и из отверстия посыпалась сажа. Мы кинулись поправлять, и высокий солдат сделал это без особого труда.

Моим собеседникам пора было готовиться к отъезду. Солдат пошел доставать веревочку, чтобы кое-как восстановить лопнувший ремешок. Виолончелист протянул мне руку и хотел что-то сказать, но ему помешал местный фермер, который грубо распахнул дверь и грубо вошел, грубо потирая руки. Он стал у печки и сказал то, что многие поколения его предков говорили в это время года, входя в натопленное помещение: «Да у вас тут, пожалуй, лучше, чем на дворе».

Он вынул из карманов хлеб, колбасу и перочинный ножик и стал есть, как едят крестьяне во всех странах: отрезая ножиком кусочек за кусочком, орудуя большим пальцем, точно бы это был кухонный стол, и задумчиво жуя, с таким выражением в глазах, какое бывает у случающихся собак.

У какого из питомцев небольшой французской земли нет своего карманного (скажем «гастрономического») ножа из плохой французской стали? В России, бывало, приходили со своей ложкой хлебать чужое, а здесь каждый со своим ножичком. Так и сервируют гостю: вилку дадут, а нож нет. Да и насчет ложки слабовато, а уж об ложечке и говорить нечего: яичко всмятку надо хлебом выгребать...

Кто хочет не любить крестьян, тот пусть с ними кушает. Послушайте, как ест суп деревенская девица, у которой чулки по воскресеньям шелковые и волосы пострижены таким мыском на затылке, «как сейчас мода в Париже». И послушайте, как ложка девицы, с каким остервенением стучит по тарелке, когда суп приходит к концу.

Солдат вернулся с веревочкой и с бокалом без ножки, раздобытым у кого-то из железнодорожников. Мы выпили по очереди обыкновенного красного вина, которое он наливал из своей большой фляги, и распрощались.

Литературный воздух колебался, и дикая жизнь всё больше и больше прохватывала его. Станционный смотритель деловым шагом прошел в залу первого класса и попросил матросов очистить помещение. Они не роптали. Бритый человек встал и высморкался. Он был очень мал ростом, и это делало его смешным...

Контролер отворил дверь на перрон. Небогатый муж взял за руку старшего ребенка, жена с младенцем на руках улыбнулась мужу. Ее стройные ноги тоже исчезли за дверью, чистое видение этого вечера!..

ЗОЛОТЫЕ НАДПИСИ ВАЛЕРИ

В одной из золотых надписей, о коих речь ниже, Поль Валери говорит о «возлюбленном труде, укрепляющем художника» – но сам он себя сжег напряженной и неблагодарной умственной работой. Он был тем поэтом, о котором Брюсов сказал:

Всего будь холодный свидетель,
На всё устремляя свой взор,
Да будет твоя добродетель –
Готовность взойти на костер.

Поля Валери никак нельзя отнести к «непризнанным», хотя это и было бы естественно для поборника чистой мысли, подобной «чистому искусству», т.е. вне возможности непосредственного приложения. Он мало доступен широким массам, но французская верхушка, в том числе и правительство довоенной республиканской Франции, состоявшее главным образом из представителей богатого, образованного класса, неоднократно награждало писателя знаками своего внимания, порой и вещественными.

Многие из наших читателей, да и многие французы, не знают, конечно, что Поль Валери еще при жизни удостоился чрезвычайной чести: в Париже («столице света», по словам русского поэта), в одном из самых заметных зданий – большие золотые буквы передают потомству частицу литературного наследия Поля Валери.

Незадолго до войны, во время последней международной выставки в Париже, когда вместо уютно-нелепого Трокадеро был возведен теперешний, не лишенный великолепия, дворец Шайо – Полем Валери, по заказу правительства, были сочинены антологические «формулы, маленькие стихотворения в прозе» в старинно-лапидарном стиле. Лапидарные надписи немного теряют свою прелесть в переводе, но мы всё же решимся ознакомить читателей с этими образцами творчества покойного академика. Надписи указывают на назначение дворца Шайо – храма искусств и наук, заключающего в себе выставочные помещения и залы зрелищ. Наш перевод сохраняет смысл, но никак не литературные достоинства этой весьма совершенной и насыщенной лаконичной прозы, обладающей особым, ей одной свойственным, ритмом.

Золотые надписи дворца Шайо вызвали в свое время оживленную полемику, и многие, например, небезызвестный памфлетист Жорж де ла Фушардьер, находили их вовсе неуместными на стенах общественного здания и оскорбительно-непонятными для обыкновенного прохожего, для среднего француза, которому предстоит – в течение веков, быть может! – читать эти «умственные бредни». Всех надписей – четыре (две – со стороны площади Трокадеро, две – со стороны террасы), в каждой – пять строк; все они касаются проблем искусства. Дворец Шайо от первого лица обращается к прохожему.

* * *

В сих стенах, чудесам посвященных,
Я приемлю и храню созданья
Руки художника необычайной –
Сестры и соперницы его мысли,
Порознь каждая не существует.

* * *

То, что странно, и то, что прекрасно,
Здесь, в искусном подборе,
Дает наставление глазу
Смотреть на все вещи мира
Как на невиданные донныне.

* * *

Человек творит, как и дышит,
Сам об этом не размышляя.
Но художник живет в созиданьи,
Существом своим ему отдаваясь;
Труд возлюбленный его укрепляет.

* * *

От тебя, прохожий, зависит:
Быть могилой мне или кладом,
Говорить или молчать мне;
Сам ты это определяешь.
О, друг, не входи бесстрастным!

ЦЫГАНСКИЙ РОМАНС

Памяти М.И.И.

Многим обывателям русского довоенного Парижа была хорошо знакома высокая фигура певца-гитариста и страстного библиофила Михаила Ивановича И., а кое-кто помнит его и другим: кожа да кости, чеховская борода... Да и болезнь, увы, была чеховская – чахотка. Он отлично пел цыганские романсы, аккомпанируя себе на «подруге одиннадцатиструнной» – великолепной гитаре с приставным грифом; его умные светлые глаза внимательно смотрели на слушателей, точно приглашая их разделить удовольствие, которое он сам испытывал от своего тщательно продуманного и всегда «личного» исполнения.

Он был большим знатоком музыки – и легкой, и самой серьезной, доступной только посвященным. Он работал в ночных заведениях не за страх, а за совесть, пел не для наживы и здоровья своего не щадил. Эта ночная работа и погубила его: люди с хрупкими легкими такой жизни не выдерживают; а когда он слег, то не умел и не хотел лечиться, и никто не мог его спасти: ни врачи, которые его любили, ни даже самоотверженная жена, целиком отдавшаяся уходу за ним. В последний период болезни на него было трудно смотреть: крупный мужчина весил не больше, чем мальчик, ноги его не держали; чахотка сделала с ним то, что над здоровыми людьми проделывалось в «уничтожительных лагерях».

Михаил Иванович всегда держался с достоинством; так же он вел себя и перед лицом смерти: не знал ее, но и не боялся; умер ондушным летним утром 1943 года, успев сказать жене: «<М>не кажется, я умираю». Он всем интересовался и обо всем беседовал с друзьями до самой смерти, и друзьям частенько влетало: непрерывный неумолимый жар делал его раздражительным; когда ему возражали, он сразу начинал горячиться и даже браниться, и посетители его утомляли. Впрочем, ко мне он благоволил; я садилась в кресло и слушала всё, что он рассказывал между приступами мучительного кашля.

Ему очень хотелось дожить до того времени, когда Россия как живой организм выбросит из себя инородное тело. Дожить не удалось, но уж многое было сделано в то время, и Старый Оскол, родина Михаила Ивановича, был освобожден (а с ним и Новый Оскол), а главное – была надежда, больше чем надежда: уверенность. В ко-

нечной победе русского оружия больной не сомневался. С каждым днем надежда возрастала; но надежда больного на выздоровление уменьшалась с каждым днем.

После музыки страстью Михаила Ивановича были книги: несколько полок с надписью: «Старо-Оскольская библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина. Книги на дом не выдаются». Но и на месте читать эти книги было не каждому дозволено, и, в общем, абонентами библиотеки явились не те, кто ею пользовался, а те, кто ее пополнял. Доброхотные жертвователи бывали вознаграждены: нельзя было без волнения смотреть на счастливое лицо этого изможденного, уже не земного человека, любовно вертевшего в руках новую книгу – нового члена старо-оскольской семьи. Меня Михаил Иванович иногда посылал к переплетчику с самыми подробными наставлениями касательно корешка и обреза и т.п.

Его литературный вкус был очень тонок, и этот исполнитель цыганских романсов действительно страдал, когда слова какой-нибудь песни были безграмотными или вульгарными. Однажды он попросил меня написать наново слова на музыку одного романса, который пользовался успехом у публики, но по безграмотности являлся исключительным шедевром. Первоначальный текст у меня не сохранился; помню только из второго куплета (всего их – три):

Так вот молю я о прощеньи
И всё, что было, позабыть.

За каждым куплетом следует припев, который мы решили оставить в неприкосновенности:

Не сердись, не ревнуй,
Приласкай, поцелуй.

Я исполнила просьбу Михаила Ивановича; кое-кто в Париже слышал этот романс в исполнении М.И.И. в новой версии, но никто, кроме писателя Г.Г., не знал о моем участии в «реформировании» текста (я не знаю автора «оригинальной версии»; возможно, что ее слова были искажены поколениями певцов, как это часто бывает с произведениями такого рода). Я не страдаю чрезмерным авторским самолюбием, но уж если предавать это мое произведение суду современников (и нелицеприятного потомства!), то где это сделать, как

не на страницах «Честного Слона»? Что напечатано типографской машиной, того не вырубить топором: пусть же этот романс даст нам с Михаилом Ивановичем маленькое журнальное бессмертие.

* * *

Бесцельно ревностью напрасной
Себя ты мучишь и меня.
Слезой блещет взор твой ясный
И в поцелуе нет огня.

Не вспоминай о том, что было,
За увлеченья не клейми.
О прошлом сердце позабыло.
Пойми – прости – и обними.

Скажи о счастье, о надежде
Улыбкой милого лица.
Моя любовь сильна, как прежде –
Она растет – ей нет конца.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

<1>

Дети отняли у взрослых большие сокровища: Робинзона, Дон-Кихота, Гулливера. И Книгу Джунглей. Но разве дети могут понять путевую песню Бандарлогов – эту песню, звучащую над миром?

Помнят ли бывшие жители бывшей столицы дядю Ваню и французскую борьбу (которая во Франции называется греко-римской)? «Мерсиданке парадальле музыкамарш». Развертывается большой парад под песню Бандарлогов.

Это присказки, а вот и сказка. Не возвращаются домой убитые и пропавшие без вести (десятки миллионов – но не эта общая цифра, пусть и астрономическая, важна для матери своего сына и для его вдовы, и для его сирот). Зато возвращаются раненые и калеки. И обрубки: ни одной руки, ни одной ноги. Один такой обрубок потерял и зрение: он «вернулся» и теперь говорит – клянусь, что это правда, – «я рад, что уцелел».

А мы, повапленные гробы, будем по-прежнему заниматься нашими презренными любвями и ненавистями! И гробы будут судить и казнить друг друга, пока огонь не очистит Землю от проклятых сынов Адама, как некогда воды поглотили горделивых Атлантов.

Огонь и вода очищают преступную Землю.

Какой кровавый, какой дикий балаган: война и мир, преступление и наказание... И боги, которые не понимают людей именно потому, что бессмертные не могут понять смертных. Мы говорим с богами, и боги говорят с нами, но мы говорим на разных языках, и каждый понимает только самого себя.

Я люблю богов и люблю их непонятный монолог, когда лето и солнце – и воздух колышется, и небесная музыка скользит по воздушным волнам и проникает в меня, уже пустую, уже бездумную, бездушную, «выключившуюся», всем телом внимающую, хоть и не понимающую. Но так жаль и себя и всех людей – презренных, трусливых...

Храбрецы, которые уцелели, – еще не герои: они не положили свою земную жизнь за своих земных ближних; а те, кто пожертвовал собой, – уже не герои: их больше нет с нами, они умерли, и дело их не живет; они молчат, и недостойные говорят за них. Альбер Камю

необыкновенно точно сказал про них, что, обретя право говорить, они тем самым лишились возможности осуществлять это право.

А японцы? Я удивляюсь и негодную. Хакакири, банзай, самурай... Почему же они испугались атомной бомбы? Как они посмели нарушить легенду японского бесстрашия? Я цепляюсь за жизнь и очень боюсь смерти, я бы не хотела погибнуть ни от бомбы, ни от чего другого; но ведь мне это можно, я не героиня и не японка.

Этот японский случай – последнее и окончательное подтверждение, что лучше и не говорить и не думать о «героях»; а ведь сколько я вынесла сердитых отповедей и нареканий – «цинизм, упадничество» – за все те годы, что я это повторяю: с самых тех пор, как мне что-то открылось, что-то неясное, но огромное, как-то даже не уместяющееся в моей слабой груди. Что это?

Об этом сказано у Анны Присмановой:

Лишь жалость впрямь и вплоть должна быть с нами,
Всё остальное – плод ночной мечты.

Жалость и презрение к людям, презрение-жалость: двойственное и вместе слитное, единое, всеобъемлющее чувство; такое страшное, такое непосильное для меня. Будда (да будет благословенно его имя!) презирал и жалел; но я-то никого не имею права презирать – к сожалению. И всё кончается этой игрой слов.

А пока что клоуны судят клоунов. В сердце ночи роковой ящичек радио между двумя кусками граммофонной музыки извергает смертный приговор. О, мрак! Но: «Внимание! Врач просит сыворотку для умирающего». О, солнце! Среди безумного балагана раздается голос божественного Братства...

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

<2>

«Хорошо приобретать понемногу привычку ничего не понимать». Это – слова Метерлинка в неуклюжем переводе. Я повторяю эту фразу утром и вечером и среди дня, повторяю ее с благодарностью: она помогает мне не приходиться в уныние.

Понимать нельзя, но можно ли вспоминать? Это страшно трудно. В одной эзотерической школе, знакомой многим русским, имеется одиннадцать степеней посвящения; первая из них – «встревоженный», так как с тревоги начинается путь духовного восхождения. «Вспоминающий» – пятая степень. Какую, значит, надо проделать работу, неустанную и многолетнюю, чтобы дойти до пятой ступени лестницы, раз и самая первая ступень очень многим недоступна!

Я это знаю; вся моя жизнь – покушение с негодными средствами: не пройдя постепенно четыре первые ступени, я пытаюсь, беспрерывно и всегда безуспешно, вспомнить хоть что-нибудь, хоть немного – мое детство, мою молодость, всё, что так беспощадно «вытеснено», как говорят психоаналитики. Целый день в моей памяти возникают в беспорядке куски воспоминаний, обрывки, клочья, тряпки... и самые тряпки эти распадаются на волокна, а из волокон составляется канва моих снов. Таким образом, днем и ночью я живу в непроявленных воспоминаниях, и сама себе я начинаю казаться расплывчатой и неосуществленной, как плохо вышедший персонаж на неудачном снимке.

Когда-то я попробовала написать об этом:

Волокна тряпок неперегорелых
В моей душе шуршат и не спешат.
Ваш шепоток, любовь, когда-то грел их,
Как мышь-родительша своих мышат.

Мне замечают: полно, не пора ли
Осунуться, но жалоб не растить.
Рыдали все, и многие орали,
А ты умей, не говоря, грустить.

Помню, как покойный Борис Поплавский повторял: «Рыдали все, и многие орали»... С тех пор прошло много лет, и не всё оказалось нелепым в стихах: действительно, я осунулась и научилась грустить молча. У меня нет дневника и нет записной книжки; моя записная книжка – это я сама; редактор «Честного Слона» встречает меня в вагоне подземной железной дороги; он ужасно настойчив...

Иногда мне хотелось бы стать мужчиной, хоть на короткое время, чтобы проверить: правда ли, что мужчины как-то иначе, как-то действительно существуют. Меня нет и не было, и чем больше я

стремлюсь вспомнить о себе, тем мучительнее я знаю, что всегда не я жила, а кто-то жил во мне, плакал и смеялся, и я не знала, почему я плачу и смеюсь; и этот «кто-то» всегда чего-то хотел, а я никогда не знала, чего я хочу, что чувствую и о чем думаю; и этот «кто-то» поступал, а я потом замечала, что совершила поступок. Разве вы не такие же, Лизочка и Ядвига?

Мне было около тринадцати лет, а Вите – шестнадцать. Мы были в ссоре, и он сказал: «Я тебя обниму насильно, вот и помиримся». Вдруг я неистово разрыдалась: я прижималась к старшей сестре и всё повторяла: «Я его боюсь». Разве я тогда что-нибудь понимала? Много времени спустя я поняла, что тогда плакало во мне пресловутое «вечно-женское», вечно страдательное; я поняла это, когда прочла стихи Фета:

Долго снились мне вопли рыданий твоих,
То был голос обиды, бессилия плач.

Мне кажется, что теперь уж недалеко то время, когда я привыкну ничего не понимать, но едва ли когда-нибудь мне удастся дойти до пятой степени посвящения и стать «вспоминающей»; только волокна воспоминаний-тряпок, только канва снов... Но первая ступень – о да, я взошла на первую ступень и не сойду с нее: я встревожена; о, как я встревожена!..

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

<3>

Она сидела на полу
И грудку писем разбирала...

Эти сиденья на полу, и пожелтевшая бумага, и поблекшие чернила – всё это старость. Не надо стареть, надо развязать знаменитую розовую или голубую ленточку и подарить ее незнакомой девочке, а с конвертов надо снять старорежимные марки и раздарить их коллекционерам (только не вздумайте отлеплять эти марки: отрывайте

кусок конверта с мясом, не то вы ненароком повредите какой-нибудь сакраментальный зубец, необычайно ценный для коллекционера).

И тогда не будет старости, потому что прошлое станет настоящим. И беспокойная покойница – прошлая душа вновь заживет в нынешнем теле. Нет старости там, где нет фетишизма реликвий. И не смейте рассматривать старые фотографии, где такие-то группы родственников, и кто-то сидит на полу, поджав ноги, или девочка с локонами (это я) стоит в бархатном платье, положив руку с пухлыми пальцами на непонятный барьер, тоже обитый бархатом... Прочь, реликвии!

Всё кончится тоской такой большою,
Что кажется, повешусь я на ней, –

как говорит один современный поэт.

Уже розданы мои ленточки и почтовые марки, я не сижу на полу, потому что для этого нужен ковер и камин, и никаких груд я не разбираю; но случается наткнуться на какой-нибудь листок, листок-то оказывается пожелтелым... Но ничего, не надо огорчаться; когда-нибудь моя дочь, быть может, скажет вслед за Анной Ахматовой:

Ты свободен, я свободна,
Завтра лучше, чем вчера
Над Невою многоводной...

Сейчас я смотрю на «Перевоз» № 10. Четыре олимпиады! Сергей Шаршун (русский дадаист, редкий случай!) и «орнаментальный кубист», был приятелем моей сестры и часто приходил к нам в гости до самого ее отъезда в Парагвай. В начале нашего знакомства с Сергеем Ивановичем я была еще девочкой, но скоро он покорило мое сердце тем, что начал разговаривать со мной (или, вернее, молчать) как со взрослой, называя меня Агния Геннадиевна, и дарил мне свои «Перевозы» с собственноручными надписями.

Это были листовки «дада». Номер первый вышел в 1922 году. В то время я только начинала учиться грамоте; но к десятому номеру я настолько подросла, что Шаршун предложил мне принять в нем участие. Дело в том, что моя сестра, как все старшие сестры, – выдала мою тайну, и он знал, что я храню плоды своего писательства в жестяной коробке из-под бисквитов.

Это происходило в 1929 году; мне никогда раньше не приходило в голову, что я тоже могу печататься. Мне смешно теперь вспомнить, с каким замиранием сердца я вручила любезному дадаисту свои литературные опыты...

Четыре олимпиады! Впоследствии я участвовала и в 11-м и в 12-ом выпусках «Перевоза»; последний вышел в 1934 году. Его создатель с тех пор успел много сделать и в литературе, и в живописи, а я, грешная, писала мало и вяло, но ничего: не надо огорчаться.

Я не хочу стареть и даже быть взрослой; и вот на белый листок я списываю некоторые из моих вещиц с этой листовки, уже начинающей желтеть:

Когда люди сердятся, они кажутся игрушечными.

Чтобы что-нибудь сделать, надо иметь перед собой три дня: первый день можно ничего не делать, и все-таки остается еще два.

Вот какие фруктовые воды я пила в киоске в Алуште: 1) Апельсинная; 2) Ананасная; 3) Ромовая; 4) Гренадиновая; 5) Лимонная; 6) Вишневая; 7) Свежее сено; 8) Малиновая; 9) Ванилевая; 10) Земляничная; 11) Розовая; 12) Грушевая. Там были, знаете, такие высокие стеклянные сосуды!..

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА ВО ФРАНЦИИ

Мы нередко сетуем на денационализацию молодого поколения за рубежом, на постепенный отрыв от родины старших. Но кто, как не мы сами, виноваты в том, что в одних русских семьях дети вовсе не говорят по-русски, а только понимают, а в других – говорят, но не пишут, в третьих – и говорят, и пишут (конечно, с ошибками), но плохо знают русскую историю и русскую литературу. А между тем именно во Франции преподавание русского языка и литературы (для французов) давно и прочно поставлено. Нет лучшего способа (как это ни парадоксально!) окунуться в стихию русской цивилизации, как прослушать лекции французских ученых-«русистов».

Мне пришлось побывать за последнее время на лекциях проф<ессора> П. Паскаля в Школе Живых Восточных Языков и на лекциях проф<ессора> Р. Лабри в Сорбонне. Проф<ессор> А. Мазон, автор превосходной «Грамматики русского языка», вышедшей в 1943 году, недавно закончил свой курс в «Коллеж де Франс». Посещение этих лекций – поистине соединение приятного с полезным. Состав аудитории самый разнообразный – писатели, учителя, военные и главным образом, естественно, молодежь обоего пола, преимущественно из окончивших курс средней школы. Заметим, что число слушателей на русских лекциях французских «русистов» по крайней мере утроилось по сравнению с довоенными временами.

В Школе Восточных Языков с учениками проф<ессора> П. Паскаля ведет практические занятия очень популярная русская лектриса В.П. Кончаловская, начинавшая свою педагогическую деятельность у проф<ессора> П. Буайе. П. Буайе в течение полувека был подлинным пионером в деле франко-русск<их> культурных взаимоотношений. Нет во Франции «русиста», который не был бы многим обязан как печатным трудам П. Буайе, так и его педагогической системе. Замечу, кстати, что русский отдел библиотеки Школы Вост<очных> Языков чрезвычайно богат – одних русских каталогов там несколько десятков.

В Сорбонне, в Институте Славянских Изысканий, читает лекции профессор русского языка, литературы и цивилизации Р. Лабри, автор известного труда о Герцене. Кафедра проф<ессора> Лабри, искренно

и глубоко любящего русский язык, не имеет ничего общего с сухим изложением школьных предметов, его курс непосредственно связан со всем, чем живет Россия сегодняшнего дня. Проф<ессор> Лабри говорил пишущему эти строки, как интересуется он той огромной созидательной работой, которая производится в нынешней России, о том восхищении, которое, вне всякой политики, вызывают во французских научных кругах советские достижения в области народного образования и ликвидации безграмотности. Заметим, что проф<ессор> Лабри (как, впрочем, и другие французские «русисты») долго жил в России и хорошо ее знает.

– Изучение и преподавание русского языка во Франции, – рассказывает Р. Лабри, – было начато с высшей школы. В настоящее время заметен постепенный процесс углубления и расширения этого преподавания через среднюю школу к низшей. Французские «русисты» рассматривают русский язык не просто как лингвистическую ветку, а как орудие целостной культуры. Научная работа Сорбонны протекает в тесной связи, с одной стороны, с Коллеж де Франс, с другой – со Школой Живых Восточных Языков. Кроме парижского университета, совершенно самостоятельные кафедры русского языка и литературы имеются в четырех провинциальных университетах: в Лилле, Лионе, Страсбурге и Бордо.

Вот уже два года как производится опыт распространения русских предметов на учебные заведения второй ступени (лицеи, коллежи). В учебном округе Париж-Версаль русский язык преподается в настоящее время в тринадцати средних учебных заведениях (семи мужских и шести женских), а кроме того, в лицеях Лилля, Рубэ, Туркуэна, Лиона, Клермона, Бордо и Экса. С учебного года 1946–1947 русский язык официально включен в программы аттестата зрелости и становится «вторым языком», т.е. будет играть роль, предоставленную лишь четырем языкам: английскому, итальянскому, испанскому и немецкому. Это, несомненно, сразу же заметно увеличит количество молодых людей, изучающих русский язык в средних учебных заведениях Франции.

Следует указать, что каждый профессор-француз (и в высших, и в средних школах) имеет при себе как бы «ассистента» – лектора, непременно русского (обычно из б<ывших> слушателей профессоров Буайе, Мазона, Паскаля и других). Незаменимой помощницей проф<ессора> Р. Лабри является Н.М. Прохницкая. Роль этих русских

репетиторов очень велика: практические работы, диктовки, терпеливые объяснения – какие движения должны произвести органы речи, чтобы получился первый звук слова «хорошо», второй звук слова «дым» и т.д.

Преподавание проф<ессора> Р. Лабри лишено всякой сухости. По четвергам утром он читает со своими учениками и комментирует статьи «Правды», орудует злободневным материалом, знакомит учеников с современными техническими терминами.

– К сожалению, – говорит профессор, – «Правду» не всегда удастся достать. Обмен культурно-просветительными пособиями налажен крайне недостаточно. Пять французских университетов мечтают, например, о сочинениях Максима Горького. В преподавании русского языка много сил идет на добывание текстов. Нам нужны тексты! Книги, журналы!.. Мы хотели бы получать издания советской Академии Наук не оказией, а полностью и регулярно для каждого из наших университетов. Я мечтаю заняться с моими учениками романом Алексея Толстого «Петр Первый». Но как быть? Где его взять?

– Как было бы хорошо, если бы мы могли выписывать из Советского Союза книги и журналы в необходимом количестве экземпляров. А следующий этап – о котором пока еще можно только мечтать – это возможность организовать взаимные визиты учащейся молодежи, как это практикуется между Францией и некоторыми другими странами...

О РАЗНОВИДНОСТЯХ РУССКОГО ПЯТИСТОПНОГО ЯМБА

Две у людей, а у зверей четыре
Стопы, но в некий час узнала я,
Что у иных, в трехмерном этом мире,
Бывают пятистопные друзья.

Анна Присманова

Старинный бич – варварская терминология – до сих пор терзает русское стихосложение. Да это и понятно: наш век не ищет точности в определениях явлений, не затрагивающих прямые основы вещественного бытия. Античная метрика была основана на долготе и краткости слогов: стихи пелись. Но мы, говоря о лирике, не думаем о лире, и столь частая в русской классической поэзии замена слова «поэт» словом «певец» кажется нам поэтической условностью. Однако тоска по утраченному словесно-музыкальному раю не умирает в душах стихотворцев, и часто поэт читает свои стихи с подвыванием, ничуть не обусловленным логическим содержанием стихотворения. Так читал и Пушкин, по словам современников.

Русская тоническая версификация орудует ударенностью и неударенностью. Французский театральный способ читки стихов с патетическим растягиванием – совершенно чужд русскому уху, но надо думать, что он в некотором отношении ближе к античному скандированию; а французский традиционный александрийский стих едва ли не ближе к гекзаметру, чем русские ритмы «размером подлинника» – хоть такое утверждение и может показаться парадоксальным по отношению к французскому стихосложению; ведь оно именуется силлабическим грубо и неточно (еще недостаточнее, чем наше – тоническим), и условные схемы так же не покрывают его возможностей, как казенные формулы не соответствуют подлинным данным русского стихосложения. Впрочем, в русской поэтике уже принято называть русское литературное (а не народное) стихосложение силлабо-тоническим.

Греческие названия, заимствованные из греческой же метрики – досадная помеха, как и все чужое и отжившее. Но как быть? Реформа трудна, да и мало кто о ней заботится: «век шествует путем

своим железным». Следует допустить, что наш современник, владеющий чешским или венгерским языком, может составить себе довольно правильное представление о древнем скандировании, так как в этих языках количество может не совпадать с качеством, то есть в одном и том же слове долгота может падать на один слог, а ударение на другой. Многие из нас ясно это поймут, вспомнив русские военные команды с их разделением на предварительную и исполнительную. Как срывались голоса у прапорщиков: «Рота – стой!» Тут в слове «рота» ударение явно на первом слоге, а долгота на втором. Или старинное «слушай!», где второй слог настолько долог, что в русском слуховом восприятии заимствовал ударенность первого слога, что позволяет Пушкину рифмовать слушай – плошай, а Гольц-Миллер (революционер 60-ых годов) построил на этой особенности целое большое стихотворение: «Слу-шай»!

Ямб, хорей, дактиль, анапест, амфибрахий – эти объедки с барского стола – оказались до того неудобоваримыми, что не так давно в русской теории стихосложения (вплоть до начальных учебников!) появились пресловутые пеоны, о которых в XIX-ом веке неоднократно печаталось в специальных сочинениях, например, в хороших, хотя и не лишенных несуразностей, «Правилах стихосложения» 1838-го года. Но эти «пеоны», во-первых, не имеют ничего общего с пеонами, как понимали их греки, а во-вторых, сбивают и затемняют и без того нелепую систему пяти заимствованных метров. Действительно, благо пеоны принимаются в лоно российской словесности, почему не пойти по этому пути и дальше? Почему не ввести, кроме четырех пеонов и четыре эпитрита? Например: «друг спал крепко» – эпитрит четвертый!

В древней метрике было 28 видов стоп, и при некотором напряжении можно на любую из них (и на любую их комбинацию) сочинить пример по-русски, заменяя долготу ударенностью, что, по существу, совершенно неубедительно. Попыты в этом направлении были сделаны Валерием Брюсовым, в частности, в его книге, которая и называется «Попыты». «Велосипедист был бит». Почему не сказать, что эта строка двустопна и состоит из дипиррихия или прокелевсматика (четыре кратких: велосипе) и тримакра или молоса (три долгих: дИстбЫл-бИт)?! Нет, лучше уж придерживаться школьных навыков и подгонять эту строку под четырехстопный хорей (вЕлосИпе-дИст-был-бИт). Конечно, недостатки классификации ничуть не препятствовали много-

численным попыткам перевода «размером подлинника» с древних языков (проф. Зелинский и пр.). Переводились самые невероятные размеры.

Несостоятельность принятой системы ясна, но попытки упорядочения еще не стали достоянием школы. В 1837-ом году вышла «Теория русского стихосложения» А. Кубарева, в которой автор предлагал систему тактов взамен традиционных ямбов и пр. Этой системе, очевидно, не хватало качеств, необходимых для того, чтобы русская школьная традиция решилась расстаться с общепринятой терминологией. За неимением рациональной терминологии можно вслед за А. Белым («Символизм») говорить о «полуударениях» каждый раз, как данная строка не сплошь покрывается принципиальной метрической формулой. «Мой дядя самых честных правил»: нормальный четырехстопный ямб (четыре ударения, по одному на каждый четный слог). «Когда не в шутку занемог»: полуударение на третьей стопе, на слоге «за». На самом же деле, никакого полуударения и даже четверти ударения нет и в помине! Это – пиррихии, о которых говорит еще «Русская Просодия для благородных воспитанников Университетского пансиона» 1814-го года. Впрочем, нам от этого не легче...

Игра «полуударений» представляет обширные возможности, в значительной мере использованные Пушкиным («Адмиралтейская игла», где из четырех номинальных ударений осталось два реальных; и т.п.). Эта игра в пятистопном ямбе еще живее, чем в четырехстопном. Но не следует упускать из виду, что это не более как один из элементов в использовании возможностей стиха: цезурные особенности и размещение слов различного удельного веса, связанное со всем этим распределение пауз и интонаций – словом, все то, что составляет фактуру стиха, – заставляет звучать по-разному два стиха, отвечающие одной и той же схеме в системе полуударений: «Роняет лес багряный свой убор» и «Утратил праздник светлый свой наряд» не равнозначны для внимательного слуха.

С точки зрения распределения ударений (другими словами, с точки зрения распределения призрачных полуударений или фактических пиррихий), мы приводим в заключение настоящей статьи 15 образцов пятистопного ямба, из которых лишь № 15 есть классический ямб, пересаженный на чуждую почву так называемого тонического сложения. В нашу таблицу вошли только «натуральные» ямбы, то есть ямбы с обычной иностасой – пиррихией; мы не останавливаемся на

таких случаях, где ямба умышленно перебивается введением инородной стопы, как например:

Плавно катились нежные коляски.

Мы означаем римскими цифрами (и отмечаем прописными гласными) те стопы, на которые падает ударение. Пятая стопа необходимо несет на себе ударение, и потому мы ее не выделяем ни в одном из случаев. Для единообразия наши примеры состоят исключительно из мужских стихов.

Но если мы примем во внимание, что любая из пяти стоп нашего натурального пятистопного ямба может быть заменена спондеем, а также и две стопы из пяти и т.д., то это даст нам еще 31 возможную комбинацию, ни одну из которых мы не поместили в нашу таблицу. Приведем для ясности два примера. Замена первой ямбической стопы спондеической стопой:

Мать, сыну будешь ты возвращена.

Замена третьей стопы:

Резец, орган, кисть! Счастлив, кто влеком...

Это – чудовищный стих любимого нами Е.А. Баратынского. Здесь мы бесконечно далеки от пушкинских размышлений из «Домика в Коломне»:

Признаться вам, я в пятистопной строчке
Люблю цезуру на второй стопе...

Впрочем, про Баратынского нельзя сказать, что это «пример, достойный подражания». Что дозволено богу...

Здесь уместно будет сказать о том, что уже отмечалось в исследованиях о русской поэтике: фонетическое восприятие стихов значительно меняется из поколения в поколение, и когда Пушкин говорит:

Все кажется мне, будто в тряском беге
По мерзлой пашне мчусь я на телеге

– о пятистопном ямбе, не имеющем цезуры на второй стопе, то читатель XX-го века не совсем его понимает, так как ухо этого читателя давно привыкло ко всевозможным разновидностям стиха. Кстати, «Все кажется мне...» есть как бы бледный прообраз резкого «Резец, орган, кисть...». Стало быть, современнику Пушкина чувствовалась шероховатость в стихах, которые представляются гладкими нашему современнику. Покойный В. Ходасевич не выносил шестистопного ямба без цезуры и считал его верным признаком безграмотности в стихотворном ремесле; но кто поручится, что наши близкие потомки не будут слышать этот ямб без всякого отвращения, если сейчас найдется хороший поэт, который напишет этим размером удачные произведения?

А вот и обратный пример: наш современник чувствует шероховатость в стихах Кантемира, казавшихся гладкими современнику Кантемира. Стиховед Квятковский указал, что при правильном чтении

Уме, незрелый плод
Недолгой науки...

звучит приблизительно как

Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали...

В самом деле: русский интеллигент XVIII века был воспитан на французской метрике, в которой ритм обуславливается чередованием звуковых групп, несравненно менее подчеркнутых, чем в русской речи; французское ударение настолько слабее русского, что французы почти не ощущают в словах своего языка того, что кажется отличительным его признаком иностранцу: ударения на последнем слоге!

Наша таблица может быть любопытна для любителей стихов. Но в ней нет ничего исчерпывающего, и можно даже сказать, что те разновидности русского пятистопного ямба, которые нашли в ней место, и та точка зрения, с которой они нами рассмотрены, это – капля в море бесконечных вариаций, из которого каждый автор берет свои, только ему нужные и родственные элементы, и этим отбором создает свой личный неповторимый тембр (мы не говорим, понятно, о дурных поэтах, не имеющих своего лица). Четырехстопный ямб был в большом употреблении у Пушкина и его современников («Им пишет

всякий»), однако железный ямб князя П. Вяземского очень далек от пушкинского по тембру.

Кому из профессионалов стихотворства не известно, что органическая и подсознательная склонность к благозвучию так же свойственна некоторым поэтам, как другим – органическое же и непреодолимое влечение к какофонии (что может не исключать больших поэтических способностей)! Стихи – это и есть музыка, и мысль, и воля: совершенное равновесие этих элементов недостижимо на земле.

- 1) I обрУшивающиеся дома
- 2) II необитАемые острова
- 3) III и велосипеИсты отдохнут
- 4) IV индустриализациОнный год

- 5) I-II завИдный вБИгрыш определен
- 6) I-III сердЕчные предАнья оживи
- 7) I-IV напУтствовали старикИИ детей
- 8) II-III пересекаТЬ пустЬнную страну
- 9) II-IV необозрИмая толпа зевак
- 10) III-IV и переночевАть в лесУ глухом

- 11) I-II-III служЕнье мУз не тЕрпит суеты
- 12) I-II-IV моЯ любОвь, непобедИмый враг
- 13) I-III-IV минутное забвЕнье гОрьких мук
- 14) II-III-IV превозносИ дела старИнных дней

- 15) I-II-III-IV глядИм назАд, следОв не вИдя там.

БОРЬБА ЗА ТЕПЛО

Я не могу писать толково и связно: мне хочется сказать о речитативе летучей команды и о смешении искусств, о стихах на службе у колдовства и о борьбе за тепло – и обо всем сразу.

Может быть, в том, что я пишу, – много ошибочного или поверхностного. «Когда ученик готов, тогда является учитель». Но как же готовиться без учителя? Я учусь у себя самой и научилась только одному: понимать и любить пустоту. Как я устала! Учителя всё нет, и значит я всё еще не готова; и никто не подозревает, как я страдаю.

Я знаю, что никто меня не любит, а к этому так же нельзя привыкнуть, как нельзя привыкнуть к голоду и к холоду; и если бы у меня были крылья, они были бы подрезаны равнодушием окружающих.

Моя записная книжка – это я сама. По ночам я себя перечитываю, и речитатив летучей команды, как и тогда, заставляет замирать мое сердце...

Французские стихи в большинстве случаев мало действуют на русский слух, и французское поэзийное благозвучие не вполне доходит до русского человека, более или менее знающего французский язык; то же относится и к французскому пению, и к французскому театральному возгласению (так некогда называлась декламация). Нельзя сказать этого о стихах немецких или английских. Приходится думать, что неувязка коренится в основных свойствах языка, в его интонационных особенностях.

Однако это касается лишь литературы; там же, где стихи – не литература, а составная часть человеческого бытия, там чужое становится своим: французские народные песни, заговоры деревенских колдунов, причитания и заплачки, кое-где сохранившиеся, детские считалки (об их стародавнем происхождении написаны научные труды) и, наконец, самое древнее, самое большое чудо – речитатив труда, отмечающий последовательные усилия рабочей артели и определяющий их количество и качество.

Совсем молодой еще девушкой мне привелось гостить в нормандском заводском селе. Завод работал день и ночь, в три смены; каждый рабочий принадлежал к определенному цеху, но была и ле-

тучая команда, состоявшая из татуированных молодых, ни к чему не пригодных, но на всё способных.

Темно-синие глаза, дионисийские попойки – так пьют, вероятно, в скандинавских странах нормандские дяди нормандских племянников, богатырского еще народа, уже загубленного алкоголем и Афродитой.

Летучей команде всегда находилось применение: разбивать, волочить, потрошить... Бывало, что заводская администрация пыталась повысить в чине кого-нибудь из летучей команды, но к оседлой работе никто из них не был склонен, у станка засыпал, и попытка кончалась убытком.

Однажды, во время прогулки, я застала летучую команду за какой-то черной работой. Они что-то выкорчевывали, а потом закапывали; не знаю, что это было, я никогда ничего не могла понять в технике. Знаю только, что было несколько движений и что работа требовала совместных и точных усилий.

Я подошла поближе. Старшой стоял неподвижно и напевал хриплым речитативом, точно неумолимый граммофон. Вот перевод – так теперь, через два десятка лет, это звучит в моей памяти:

Первый пойдет,
Первый пошел,
Первый идет,
Первый уйдет,
Первый ушел.

Второй пойдет,
Второй пошел,
Второй идет,
Второй уйдет,
Второй ушел.

Третий пойдет...

Лицо старшого выражало сосредоточенность, как это должно быть у жреца, совершающего магическое действие; и странно и сладко было слушать эту волшебную речь-музыку, слетавшую с губ нормандского пропойцы и кровосмесителя.

У меня в глазах стояли слезы; я имею обыкновение плакать каждый раз, как присутствую при уничтожении времени: при встрече наших дней с древностью, при общении живущих с умершими или

при установлении контакта между людьми, разделенными пространством – окаменелым временем.

Я стояла, зачарованная, до самого конца урока. Темп работы не менялся, но когда, с последним ударом молота, замолк и последний звук припева, все рабочие вдруг стали похожи на мертвых птиц, и видно было, что они так устали, что даже не знают, как им начать отдыхать.

Это было так, как бывает у марокканских стрелков: под старинный заунывный напев бойцы идут легко, и ноги сами собой передвигаются, но после перехода – ноги в крови; песни больше нет, и уж нет сил переступить через порог у входа в казарму.

Или еще, когда знахарь заговорит зуб, и зуб не болит, а воспалительный процесс продолжается; и потом... нет, я не хочу сказать, что человек умирает: лучше и не думать и не говорить об этом.

А старшой тоже утомился, подобно сидячему болельщику, следящему за каждым движением футбольной команды. Не надо издеваться над зрителями спортивных состязаний, не занимающимися физкультурой.

Речитатив летучей команды – это были не стихи и не пение, а именно это страшное, вечное: голый ритм, живущий в мире вне человека и владеющий человеком помимо его воли. И рабочие-автоматы летучей команды были похожи на доисторических плясунов: «Мера стихов первоначально заимствована от мерного топоту ног в пляске, которую должно почитать предтечею музыки и поэзии и первую их руководительницею».

Какой губительный яд – эти звуки, эти ритмы, опьяняющие человека; какой яд – все эти марсельезы, заставляющие убивать и умирать без страха и без воли!

Стихи – это и музыка, и мысль, и воля. Не только голый ритм бывает на службе у колдовства: идеоморфная поэзия производит чудеса.

Как много чудес на свете! Впрочем, я не иду так далеко, как Пурун Б<х>агат из второй Книги джунглей: «он думал, что всё есть не что иное, как огромное чудо», – я расскажу, как при помощи стихов я боролась с холодом в нетопленной комнате.

Я не имею права сказать, достигла ли я цели в своей борьбе за тепло. В этой области плоды личного опыта почти неразделимы, и

мне было бы стыдно, если бы я узнала, что мои высказывания побудили кого-нибудь отказаться от покупки печки... Кстати, не только в нетопленной комнате можно вести борьбу за тепло: вы можете и на воздухе прорабатывать ваши мыслеформы, соразмеряя их ритм с ритмом вашего шага.

Я буду говорить о стихах термогенных, но, разумеется, это только удобный пример, и более широкая тема – стихи на службе у колдовства – затрагивает различные области жизни.

В русской поэзии можно найти, несомненно, немало материала, пригодного для умной борьбы против холода (умной в том смысле, как бывает умная молитва и умный взор, то есть молитва без помощи органов речи и взор без помощи органов зрения).

Я остановилась на одном четверостишии князя П. Вяземского, которое меня поразило, когда я читала стихотворение «Масленица на чужой стороне» (1853):

Игры, братские попойки;
Настежь двери и сердца!
Пышут бешеные тройки,
Снег топоча у крыльца.

Но прежде чем приступить к рассказу о борьбе за тепло, я скажу о мучительном (в частности для писателя) вопросе о соотношении между формой-звуком и содержанием-смыслом. Об этом были и будут написаны книги. Но я не умею писать книг и даже не очень хорошо умею их читать. Простите меня за «взгляд и нечто», за «вокруг да около»; ах, как легко провалиться на экзамене – особенно на письменном – из-за неумения и нежелания ограничить себя!

Уместны ли переводы священного писания? Ведь первоначальный язык откровения есть орудие, посредством которого откровение проникает в умы; и спрашивается, не есть ли перевод – порча орудия. Церковь экзотерическая (протестантство) легче примиряется с переводом церковных книг, чем эзотерическая (католичество). Богослужение, заключающее в себе все благородные элементы театрального действия, вплоть до античной переклички хора с корифеем, безусловно, делает установку на звуковое качество слова преимущественно перед его смысловым качеством.

Но и в печатном слове не следует обращать пристальное внимание на чисто графическую его физиономию: наши буквы – не иероглифы

и могут быть только условной транскрипцией звуков. То, что видит глаз, принадлежит живописи, а не литературе, и лесенки Маяковского, якобы подчеркивающие ритм, обременяют стихотворение бесполезным рисунком.

Боязнь словесных новшеств в церкви имеет прочные основания, и было бы недобросовестно приписывать ее косности, свойственной вообще людским установлениям. Но имеется ли в звуках древнего языка нечто, сообщающее слову значимость, которая умалется вследствие перевода?

То, что одним кажется ребяческими бреднями, другим представляется физиологической действительностью: эти последние думают, что у древних сочинителей был ключ, утерянный нами и ошупью разыскиваемый теми, кто говорит о магии слов.

В нашем мире духовное одето веществом. Музыка – это колебания, и законы ее влияния на нас – физические законы акустики. И вот, говорят нам, псалмопевцы обладали знанием законов, управляющих особой музыкой слов; они «глаголом жгли сердца людей» не только благодаря смыслу этого глагола, но и благодаря его звуковому одеянию. Не потому ли, когда богослужение производится на одном из новых языков, некоторые фразы умышленно оставляются нетронутыми и произносятся на языке подлинника?

К несчастью, мучительные поиски утерянного ключа (вспомним хотя бы А. Белого) нередко искажают здоровое восприятие слова, имеющего собственные законы. Тональность слова – не тон музыки, и красочность слова – не краска живописи!

У каждого искусства есть начало и граница: начало – необходимая насыщенность, фактура, без которой получается любительство и покушение с негодными средствами; граница – предел выразительности (в круге возможностей данного искусства), за которым начинается смятение и суета. И потому так произвольны опыты смешения искусств, и недаром малиновый звон есть испорченный географический термин, а не передача красочного ощущения. А сонет Рембо о цвете гласных!? Сомнительно и случайно.

Актеры совершают роковую ошибку, желая выразить голосом больше, чем может дать слово, сказанное вслух. Отсюда болезненное взаимное непонимание между актерами и поэтами в деле чтения стихов. Возглашение стихов актерами – предприятие, обреченное на неудачу. В лучшем случае, физическое тело слова помогает душе сло-

ва – его смыслу. В среднем случае, эта звуковая оболочка нейтральна и не мешает: слова разных языков, звучащие по-разному, но значащие одно и то же, вызывают однородные ассоциации. Но в третьем – худшем – случае, физическое тело слова вредит душе слова – его смыслу. И поэтому так убоги наборы ничем не оправданных аллитераций.

Один мой знакомый антропософ заметил, что в заклинательном четверостишии князя Вяземского только третий стих магичен, так как борьба за тепло выражена в самых его звуках. Может быть, это и так, но звуки не всегда главное в слове: можно орудовать и размышлением.

Но прежде чем в борьбе за тепло вы начнете пользоваться данным четверостишием, вы должны привести свое тело в то состояние покоя, которое хорошо знакомо мистикам и атлетам: ваша мышечная система должна прийти в безразличие – раскрепоститься, как говорят танцовщицы. В духовной литературе встречается выражение «распустить члены». Это раскрепощение необходимо и для полного отдыха, и для полного усилия. Так гиревик подходит к штанге перед рывком, так отдыхает кошка.

Я сказала «безразличие»... Не только мышцам оно иногда пристало. Один известный святой говорит: «Состояние безразличия есть состояние ангелов». Конечно, он под безразличием разумел не равнодушие, а готовность к восприятию высшей воли...

Когда ваши мышцы раскрепощены, вы мало чувствуете свое тело, и оно как бы выключилось из обычного круга, ваше внимание нейтрально, и вы уже готовы к размышлению. Этого еще не достаточно для перехода сознания в другой план, но уже достаточно для борьбы за тепло.

Часто бывает, что размышление распадается на три периода; четверостишие князя Вяземского само распадается на три части, и вы постепенно переходите от одной части к другой. Я даю вам только схему, только намек. Здесь нет ни одной незаменимой детали. Но не останавливайтесь на идее отрицания. Не думайте: «мне не холодно», но думайте: «мне тепло». Пусть идея враждебного холода блекнет, пусть проясняется идея желанного тепла!

Часть первая, «Игры, братские попойки». В глубине комнаты камин. Жар дров. Недалеко от огня стол. Вы отходите от камина и

идете к этому веселому столу, уставленному яствами. Дружба, хорошее настроение. И пейте: подвыпившие не простужаются.

Часть вторая. Вы отдаляетесь мало-помалу от источника тепла и приближаетесь к выходу – к источнику холода. Это и есть ваш мыслительный путь: постепенный отход от очага навстречу морозному воздуху; но вам не только не становится холоднее, а напротив, ваше внутреннее тепло дает вам ощущение совершенной неуязвимости. «Настежь двери и сердца!» Вы приближаетесь к выходу с сердцем нараспашку, вы отворяете двери, но внешний холод вас не пронизывает: вы чувствуете, как ваше собственное тепло одевает вас лучистой оболочкой. Ваша кожа защищает вас лучше, чем плотная одежда.

Часть третья. Вы без страха вышли наружу. «Пышут бешеные тройки, Снег топоча у крыльца». У лошадей столько животного тепла, что оно разливается вокруг, и ваше личное тепло вливается в общий резервуар. И вам будет тепло. Вам тепло.

КОЛЛЕКТИВНОЕ ТВОРЧЕСТВО

ПЕРЕВОЗ № 11. ТРОЕ

Моим шестнадцатым летом
Ей было около тринадцати.

Мы были в ссоре, и я сказал:
Обниму насильно – и мир готов.

Вдруг она неистово разрыдалась.
Прижималась к сестре: Я боюсь его.

Это плачет вечная женскость,
Вечно страдательное.

«Долго снились мне вопли рыданий твоих,
То был голос обиды, бессилия, плач».

Рассказ Часового

По Уставу, как ртуть переступит
Пятнадцать ниже нуля,
Часовому в теплом тулупе
Только час на посту стоять.

Я стоял у полкового театра,
Тридцать пять градусов мороз,
И ветер, что прямо жарко,
Стал нос, что твоя папироса.

А тулуп во вшах – живой.
Разводящего ждешь, как депеши,

Так и чешешься сам не свой
(И не мрут от холоду, лешие).

Теперь слушай, какая история:
Смена приходит, наконец,
И сменились даже без разговору,
А я, значит, иду обедать.

Пока дошли до гауптвахты –
А там помещались караулы, –
Не осталось от супа ни капли,
Ни кусочка от буханки колупнуть.

И вечером история та же,
Совершенно без ужина остался,
И чаю еле хлебнул даже,
А сказать взводному – заругается.

Круглые сутки не жравши.
От снега только что не ослеп.
Теперь видишь, какое житье наше,
Можно сказать, свирепое.

Руки – щупалки, губы – целовалки – жаль! бездействуют.

...В кухню спускаться по лестнице. Гадала по картам: «Он топчет смерть свою ногами». Заревел, кувыркком по лестнице в кухню к няне.

Ты видишь, как блестят глаза живого врага, но погасишь. А скалы глухие, скалы обрушиваются.

...заплакал в свой день рождения. 48. Не подымал головы и на всё бормотал: «ничего, ничего».

Сон во время болезни: ледяное поле без концов, мчусь по нему помимо воли и не знаю, чем это кончится.

Puella quae unguis habet similes feminae maturaе meretricula.

<...>

ПЕРЕВОЗ № 12

<...>

1

В Марселе, в Старом Порту
Мы никого не боялись:
Дети за нас держались.
Кто ж обидит чету
С маленькими сынами!
Арабы следили за нами
Глазами,
Бритва в кармане.
Из публичных домов
Выходили в пеньюарах
Много молодых и старых
Женщин без сынов.
В Старом Порту, в Марселе
Тебе не поможет кулак,
А пистолет – еле-еле.
Эх, холостяк...

2

И как бы немо иль гугниво
Ни проходила жизнь моя,
Солдата и его огнива
Наверно не забуду я.
И помню, были три собаки
С глазами разных величин.
Передник ведьмин у рубаки,
И не боится нижний чин.

3

Большую часть моей жизни я трачу на сон.
Окружающие говорят, что я
Позорно уклоняюсь от борьбы.
Они упрекают меня
За крайнюю слабость моей воли
И за мою бездейственность.
Меня жалеют и презирают.
Но я знаю, что я силен.
Я ВИЖУ ТЕБЯ ВО СНЕ
И ТЫ СО МНОЙ.
Мне не надо быть любимым тобой,
Но мне надо любить тебя.
Моя любовь к тебе – моя сила.

4

Мы были смущены до глубины последней
Киргизской песней. Волновались мы.

5

Нам говорят, что воздух городской
Дыханием фабричным отравляем,
И мы охотно город оставляем
Для дивных гор и свежести морской.

И ежегодно скопы богачей
Трехмесячный препровождают отдых
В целебных грязях и на кислых водах
У лекарем предписанных ключей.
Надеявшийся облегчить недуг
Помог ли переутомленным легким
Вмешательством поверхностным и легким
Курортных дней и минеральных сжук?

6

Пишу безошибочно по всем орфографиям,
По старой, по новой и как у эс-эров:
С ятями – с ерами; без еров – без ятей;
И с ятями, но без еров.

7

Это стихи без метра. Ночью
Я видел очень хороший сон.
Я сказал ей что-то приятное,
И у нее посветлели глаза:
Неужели ты меня так любишь?
Жаль, что часто сны лучше яви,
А может быть, это хорошо.
Сон – сокровенная жизнь.
Святая у человека
И недоступная пересказу.
Стихи без метра бессильны и бледны.
Скупыми словами говорит богатая душа.
Ведь наши дни нищенски трепещут,
В них есть ритм и нет размера,
Точно в стихах без метра.

8

Когда писать о смерти захотим,
Тогда вскричит сердечной муки кочет;

Метнется сердце, верить не захочет,
Что мы и впрямь в пространства улетим.

9

Нас поджидает счастье за углом.
Туда бы нам, как пчелам на пыльцу!
Не можем знать, что, обогнувши дом,
Мы встретились бы с ним лицом к лицу.

10

Терапевтическая сила
Стихотворений, ты меня
На воздух часто выносила
Из омуты или огня.

АВТОГРАФЫ СТИХОТВОРЕНИЙ ГИНГЕРА

СОНЕТ

Просительной не простираю длани.
Покорно ползакрываю вежды.
Всё гордость нищих — избегать надежды,
и сила немощных — не знать желаний.

Я думаю, что росам на поляне
приятно увлажнить мои одежды.
Любезен шал смиренного неведьбы
тишайшим травам — нежности гуляний.

Благоуханная! коленосклонный
вернулся скучен к матернему лону.
Трепещет сердце, предвкушаем рада.

Уста горят блаженным возделаньем.
От ярых мечт — прегистая ограда! —
избавлен я земли произволением.

1921

Александр Гингер

Сонет («Просительной не простираю длани...»)

Свора верных

Свора верных, чужоносных,
Стороно мигит в мизору даль.
Счастие тиллит в пьломых взносах,
Ничего не даль.

Взывает вояа вларных млопий,
Зачекает бемле дни.
Прокляни удые колоний,
Свистони — и гони.

Простелившихся раздольи
Дико всадумуты скота.
Глухо, стоиет в тёмной долт
Губная тайга.

На путях пустынь бездирных
Жизни радость разлита.
Вост ветер. Свора верных —
Удо-бистрота.

1918

Александр Гингер

Свора верных

Кау-бой

Дальний Запад - луг несходимый.
Там живет - и существует подчас -
Судьями восточными сидимый
Обий парень, шайбы волопас.

4295

Баламутит мирные селеня,
Лихо крутит призмальный аркан,
В кабаках чинит столпотворенье,
Согной волей пьяно обьяны.

Задаст всеобщую попойку,
Гразит торжественных новичков,
И горлежит у салунной стойки
Пьяню возвращений бгнов.

На сырых стенах нестоценных,
На лугах обильных и зеленых —
Будто листья в степях вперях —
Табурты почти - неукращенные,
Сильных, легких, вступают - выдвигенных —
Выбирай любого в косяк.

Непокорный огонь кроватный,
Скажешь, ослален без судла ты —
Скляк тою, кто властек рад тобой....
Губко приди Сутренетский кау-бой.

Обий пастырь всеридии овьяк.
На просторах лемядыт вымляк
В звонком рожавь, в топоты копыт,
Быстрые страж нестоветий дружит.

Александр
Титов

Западное предание

Дядя Лиря пришел один из первых
На раздолье Западного края.
Рамы поставил у истока Желтой реки.
Выгонил он темную корову
И куриц вокругю трубку.
Жил медведям, даже не брився —
Да и стачеши ли бритвы, товарищ,
Если французы вовсе не встречались?
Сам с собой он вел разговоры,
Чтобы говорить не разучиться.

Потынувшись на обширных землях
Крупные парши кедровых оравы:
На ногах сапоги до бровей,
На руках рукавицы в лоджках,
У пояса пара пистолетов.

Дядя Лиря прославил старожилем.
Дождь и солнце кожу огрубели,
А труды одинокой жизни
Отвердели душу и мышцы.
Молодежь его уважала,
Присудили он первый ипорке.
И никто спросить не посмел бы
Почему с Востока ушел он
И покинул богатый город.

Западное предание

И ситовники два поколения,
Кабаки обетам ровным строим
Лизги пастушеские поселков,
А ковбой сапогам изумленным
Для махнутах штанов с расструбил.

У постели старого Липга
Собрались нарядничья братья
Вздох его принять на прощанье.
Липг сказал им: Сущайте, ребята!
Суд Правительства даиск и невтерек.
Чтобы вам не жить как шакалам
Сами вы должны расправляться.
И убишу вы пощадите,
Если он убит в бою открытои,
Потомуто фидель он ставил на кон.
Если же кто из вас провинится,
Сорочим изышкой перед другом,
Личь у дерева он не трещит
И не просит у товарищей прощенья.
Вот мое последнее слово.

Дядя Липгу глаза закрыли,
И разлхались без плача, без рыки.
Липгов суд остался до сегодня,
И не очень народ переживался:
Вольнолюбек и безпогадак,
И на деле дило способек,
Да зато не боится петли
И встречает смерть без отговору
По завьту старого Липга.

Александр Пушкин

ШАР

На что нам чудеса! Когда б ослепли мы,
когда бы слышать перестали —
мы к бурям бы рвались из медленной тюрьмы
и о пожарах бы мечтали.

Но неслыханный шар сейчас осветит нас,
и знак подаст; и звуки встанут.
И будет слышать слух, и будет видеть глаз,
а ночь и ~~жизнь~~ в могилу канут.

Каких чудес желать? Ведь их не может быть:
они уже у нас и с нами.
О том что не заснуть. О том что не забыть.
О том что не забьются снами.

Александр Тингер

Шар

*

Никогда я не буду героем
Ни в гражданской войне, ни в другой,
Но зато малодушья не скрою
Перед Богом и перед собой.

О бездонная горькая честность,
Одинокая смелость моя,
Соблазнительная нечестность
Нарциссического бытия!

Я люблю на меня непохожих:
Плотинича, месящюго грядб,
И любочного владника тожа,
Под шрапнелью держащего свадьб.

Но геройству не сметь категорий.
Сколько крови, и слез, и гоня,
Горя жещицик и детского горя,
Седины этот пепел волос!

Не солдат, кто других убивает,
Но солдат, кто дружили збит.
Только жертвенность путь очищает
И душе о душе говорит.

Оттого то широкорамекный
Нам не люб узколобий атлет,
Лишний грех для души современной,
Для труда наступающих лет.

Классицизм: ту держклезный румянец,
Синий: боли вошекая нитб.

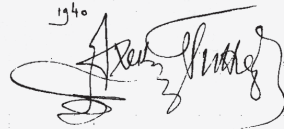
Воспаленный гохотный жаром
Узкоплечий воздушный герой!
Пред тобой склонились недаром
Поклоненя, и бредят тобой.

« В небеси совершенна слава »
(Это - официальный Приказ)
Ты в легенду вступаешь по праву,
Кинув имя. Осталось для нас.

Влюб латинского гудного сада
Есть название улицы, есть
В этом гордость столичного града
И для духа бессмертная весть.

Я хотел бы на улице этой
Противать, и мечтать о тебе,
В зилкей ступе и в платехи лет
Вспоминать о воздушной судьбе,

Высшая мечтой латидарной
В камне сердца - из выпрених сфер
При луча для земли благодарной:
Тинелер. Тинелер. Тинелер.

1940


Имя («Никогда я не буду героем...»)

КОММЕНТАРИИ

В письме И. Чиннову от 29 мая 1955 г., говоря о тех поэтах-эмигрантах, кто при всех обстоятельствах оставался самим собой и «имел смелость» не подделываться «под всякие неземные утонченности», Г. Адамович называет, впрочем, без особой симпатии, Ант. Ладинского и в качестве исключения упоминает Гингера, к которому всегда, а в последние годы в особенности, испытывал искреннюю человеческую близость¹.

Наряду с попыткой ввести читателя в мир литературного наследия Гингера, облегчить знакомство с ним, объяснить и прояснить некоторые его «темные» стороны, неотъемлемой задачей данного комментария является выявить ту оригинальность и неподражаемость автора, о которой говорил не один только Г. Адамович, но практически все эмигрантские критики, кто когда-либо упоминал имя Гингера.

Его поэзия, и ранняя, в «Своре верных», и в других сборниках, имела «свое лицо», свой тон, свою манеру – может быть, даже слишком рано раз навсегда найденную, – писал, прощаясь с поэтом, Ю. Терапиано.

Но читая стихи Гингера, ранние и самые последние, всюду видишь в них основное его мироощущение, и в этой цельности есть убедительность².

А. Бахрах начинает свои воспоминания о Гингере такой преамбулой:

Существуют различные образцы людской породы. Одни друг с другом во многом схожи, как бы вылеплены из «одного теста». Другие – в своем роде единственны, внешне и внутренне в чем-то неповторимы. Именно к этой последней категории, несомненно, принадлежал один из наиболее любопытных и талантливых поэтов русского зарубежья, Александр Гингер³.

Перечень высказываний о Гингере-поэте, обладающем собственным стилем, который есть нечто большее, нежели простая оригинальность⁴,

¹ Письма запрещенных людей: 124; Если чудо вообще возможно за границей: 33.

² Терапиано Ю. Памяти Александра Гингера // РМ. 1965. № 2359, 11 сент. С. 6.

³ Бахрах 1980: 140.

⁴ Ср. замечание Н. Оцупа, оброненное при сопоставлении М. Горлина с Б. Поплавским и Гингером: «Но если, например, у Гингера или Поплавского, кроме ориги-

можно продолжать и далее. Даже когда выпадает нечастая возможность его с кем-то сравнить, сопоставить, кому-то уподобить, чтобы легче оттенить собственно «гингеровский субстрат», из этого, как правило, ничего не выходит: он упорно ускользает от сравнений. Его стихи, как правило, не подходят ни на чьи другие – они сотворены как бы «сами по себе», в них «не переночевал Диккенс», если воспользоваться конвенционально-сленговой формулой, популярной в Одессе в начале XX в., о чем вспоминал в своих воспоминаниях «Алмазный мой венец» В. Катаев.

В одном и том же 1927 г. в русской поэзии появились сразу два стихотворения «Птицелов». Автора одного из них представлять не нужно: он всем известен, это Эдуард Багрицкий¹, – имя «птицелова» закрепилось за ним столь прочно, что стало, например, нарицательным прозвищем всё в том же «Алмазном моем венце». Другой «Птицелов», Гингера, был напечатан в журнале ВР (1927. № 4. С. 73) и годы спустя вошел в сборник поэта «Жалоба и торжество» (1939). Между этими двумя текстами, кроме названия, нет, кажется, ничего общего, по крайней мере, того, что могло бы указать на подражание, заимствование, или на какую-нибудь иную, хотя бы самую минимальную интертекстуальность. И тем не менее трудно отделаться от ощущения, что соседство их в общем пространстве русской поэзии, пусть и в разных ее географических локусах, не случайно: и совпадение во времени, и общая отрешенность от реальной действительности, некая, что ли, «метафизичность» по отношению к ней, представляющая в образе птицелова веселого странника-поэта (Багрицкий) или одинокую душу, стучащуюся в небесные двери и ждущую сурового Божьего суда или благословения (Гингер), намекают, в сущности, на то, что одно стихотворение дополняет в своем роде другое (и, стало быть, возникает эффект неведомо-тайного их взаимодействия). Разумеется, Гингер выступает в этой гипотетической связке в роли стороны воспринимающей, наследующей, хотя бы уже потому, что Багрицкий вряд ли читал ВР, и имя эмигрантского поэта для него ни о чем не говорило. Однако даже при таком сильном исследовательском допущении крайне непросто обнаружить в движении гингеровской поэтической мысли какие-то конкретные и осязаемые черты диалога с поэтом-современником, настолько сокрыт, спрятан в его текстах малейший намек на внешнюю коммуникабельность и интертекстуальные потенциалы².

нальности, есть свой стиль, – у Горлина – только попытки найти свою манеру» (Ч. 1931. № 5. С. 230).

¹ «Птицелов» был впервые напечатан в «Красной ниве» (1927. № 5, 30 янв. С. 7), а через год открыл книгу стихов Багрицкого «Юго-Запад».

² Следует, кстати, заметить, что Багрицкий воспринимался с «того берега» в качестве поэта «внутренней эмиграции» как представитель поколения (по словам одного из лидеров движения младороссов К. Елиты-Вильчковского) *выброшенных из колеи, не приставших ни к белому движению, ни к советской действительности,*

Одним из самых значительных достоинств гингеровского литературного наследия является то, что и его поэтическое творчество, и его деятельность как прозаика, эссеиста, филолога были теснейшим образом связаны с сохранением в рассеянии бесценных богатств русского языка и стоящей за ним многовековой культуры. В книге американца W. Chapin-Huntington «The Homesick Million: Russia-out-of-Russia» (в крайне косноязычном переводе – что-то типа «Миллион тоскующих по родине [«Миллион больных ностальгией]: Россия за пределами России»), одной из первых посвященных россиянам, оказавшимся вне своего отечества, которую рецензент ПН (рецензия подписана инициалом Б.) определил как «безусловно лучший труд о русской эмиграции, который появился до сих пор»¹, небеспричинно ставился вопрос о сохранении молодым литературным поколением родного языка в изгнании («How are young writers, who have grown up in Russia-out-of-Russia, to hold fast to their native tongue and keep it alive and growing?»).

In Soviet Russia, – писал иностранный автор о проблеме, которая была достаточно далека от него, но во «взгляде иноплеменном» на которую он обнаружил немало верного и объективного понимания, – the new life is influencing the language strongly, debasing and narrowing it in some respects but enriching it with new expressions. This process has gone on very rapidly in the last decade. The resultant language is perhaps less elegant than the old but it is certainly virile. The Russian of the Dispersion is deprived of any such quickening contact with the pulsating life of a great nation. Worse still, it is subjected to the disintegration influence of foreign languages of great power and strong individuality².

(Перевод: В Советской России новая жизнь сильно влияет на язык, в некоторых отношениях ухудшая и суживая его, но и обогащая новыми словесными средствами. В последнее десятилетие этот процесс совершался стремительно. Сложившийся в итоге язык, возможно, менее элегантен, чем старый, но, безусловно, мужествен (зрел). Русские в рассеянье лишены всякого живого контакта с пульсирующей жизнью великого народа. Хуже того, они подвержены

не чувствовавших себя способными к борьбе. В виде иллюстрации этому Елита-Вильчковский приводил фрагмент из стихотворения «От черного хлеба и верной жены» (забавно, правда, называя сборник стихов Багрицкого «Северо-Югом» вместо положенного «Юго-Запада») (*Елита-Вильчковский Кирилл. Новый облик русского национализма // Младоросс. 1930. № 5, авг. С. 7).*

¹ ПН. 1933. № 4576. 2 октября. С. 3.

² Chapin-Huntington W. The Homesick Million: Russia-out-of-Russia. Boston: The Stratford Company, 1933. P. 222.

дезинтегрирующему влиянию иностранных языков, обладающих огромной мощью и яркой индивидуальностью.)

Творческое дело Гингера интересно прежде всего именно тем, что наряду со многими другими своими современниками, не пытаясь, разумеется, противостоять всегда плодотворному и обогащающему диалогу с чужой культурой, он старался сохранить в изгнании, если воспользоваться крылатой строчкой А. Ахматовой, «великое русское слово».

В дальнейшем по всей книге (исключая заголовки в разделе Поэзия) при названии стихотворных сборников Гингера используется система следующих сокращений:

В – Гингер Александр. Весть. Париж: Рифма, 1957.

ЖиТ – Гингер Александр. Жалоба и торжество: Третья книга стихов. Париж: <Дом книги; Современные записки>, 1939.

П – Гингер Александр. Преданность: Вторая книга стихов. Париж: Канарейка, 1925.

С – Гингер Александр. Сердце: Стихи 1917–1964. Париж, 1965.

СВ – Гингер Александр. Свора верных. Париж. Издание Палаты Поэтов, 1922.

ПОЭЗИЯ

СВОРА ВЕРНЫХ

Первый сборник стихов Гингера *СВ* вышел в 1922 г. с посвящением:

Моим товарищам по Палате Поэтов:

Георгию Евангулову
Валентину Парнаху
Марку-Людовику Талову
Сергею Шаршуну.

На титуле значится: «Издание Палаты Поэтов». Отпечатан в типографии «Франко-Русская Печать» (216, Bd. Raspail, Paris).

В рецензии, где *СВ* рассматривалась вместе со сборниками стихов Г. Евангулова «Белый духан» и В. Парнаха «Карабкается акробат», М. Струве (рецензия подписана одними инициалами М.С.) задавался вопросом: «Пришла ли новая поэзия?» И отвечал на него:

Кажется, нет еще. Ибо искусство дней наших и ближайших, свидетелями коих мы будем, искусство монументальное. Очередь за одами и несомненно за поэзией эпической. И, конечно, русская поэзия первая заговорила языком достойным эпохи.

О сборнике Гингера он, в частности, писал:

Александр Гингер недоступную эту для Евангулова Европу почувствовал <до этого шла речь о том, что «пока еще Евангулову опасно уходить от местных тем. Ибо для этого нужна долгая привычка к европейской культуре, прочная литературная традиция и, конечно, гибкость и независимость языка»> и рисует порой весьма верно. Архитектура нынешняя, порождающая скуку, вызывает у него такие строфы <далее следовали две строфы из стихотворения «Кинематограф» – от «Шумливые прерывистые ночи» до «Исчадье Эйфелево, хилый брус...»>.

Куда же поэт, человек подлинно городской, сейчас устремляется? Где его другая, высокая жизнь? Пока – в кинематограф, ибо

большого он не видел. <...> Это один герой. Другой – это “джэк-лондоновский” игрок, познавший высшую радость в игре – а «не на тесном ложе и не в пыли библиотечных книг», но «между лиц бесстрастных нарочито...»

Во всяком случае, мы полагаем, что несмотря на тяжеловатость и неуклюжесть, у Гингера больше данных стать поэтом, чем у Евангулова со всей соблазнительностью его восточных арабесок¹.

Вполне благожелательным оказался отзыв на *СВ* В. Лурье (подписан инициалами В.Л.), в котором говорилось:

Стихи А. Гингера еще совсем молоды и не сделаны, но они и приятны именно своими шероховатостями и неуверенностью. Поэт весь в исканиях; часто он не справляется со своим замыслом, стихи его бывают просто скучны или сквозь строки глядят самые различные поэты-современники от Гумилева до Есенина. Но дело не в этом, а в том, что в каждом стихотворении Гингера видна работа и желание совершенствоваться.

Затем приятен автор по темам.

У него постепенно изживается слащавая сентиментальность и ноющая любовная лирика.

Удачнее всего в сборнике «Западное предание». Судя по этой книге, ему вообще свойственен больше эпический, нежели лирический стих².

От *СВ* ведет прямая линия к поэтике Б. Поплавского, который отозвался на сборник Гингера стихотворением «Прекрасно сочиняешь Александр». *СВ* упомянута в нем в некоем умышленно-панегирическом контексте, конвенциональной основой которого служат неписанные законы цехового патриотизма, окутанные у Поплавского трагестийной стилистикой:

И слов нема как говорит народ
Чтоб передать как лоба «Свора верных»
Поваднику безделий суеверных
Которым учишь ты певцов народ.

Нет особого смысла указывать на маскараднo-шутовскую природу такого рода посвящений: как правило, их игровые конвенции и интонации хорошо распознаваемы. На что, однако, действительно следует обратить внимание – на то, что под заведомо несерьезным и даже ерничающим поэти-

¹ Сполохи. 1922. № 4, февр. С. 39.

² Дни. 1923. № 99, 25 февр. С. 11.

ческим слоем скрываются вполне содержательные, а нередко и программные заявления. Принципиальную установку автора *СВ* на языковой эксперимент, который даже будучи далек от футуристической зауми вызывал недоумение и резкое раздражение некоторых читателей, Поплавский, судя по всему, благословляет чувствительным одобрением. Любопытно, что используемые им в данном посвящении русифицированный украинизм «нема» (в значении «недостает», «отсутствует») и – дважды – словечко высокого стиля «кой» (= который), естественно, полностью теряющее свою риторическую пышность в ироническом контексте («Прекрасно сочиняешь Александр / Ты мифы кои красят наши яви»; «И дальних путешествий паровик / Завидев кой ты забыл о прочем»), появляются и в гингеровском «Сонете VI» (январь 1924), включенном в следующий сборник поэта, *П*: «На мне нема ни польт ни плотных бурк», «О Изабелла! Кой облезлый кий / Той койки уже, что как лыжа (ski?)».

Вовсе не очевидно, что эти лексемы восходят у Гингера к посвященному ему стихотворению Поплавского, очень возможно, что всё обстоит как раз наоборот: Поплавский, не являясь в данном контексте их производителем, лишь пародически возвращает автору взятый у него «в аренду» материал. Но в данном случае не столько важна траектория движения интертекстов, сколько интересен сам факт их наличия и построенной на этой основе диалогической игры поэтов.

Много лет спустя, когда один из бывших членов Палаты поэтов, М.В. Талов, вернувшийся в 1922 г. в советскую Россию, после того как между ним и Гингером завязалась переписка, в ответ на слова последнего о том, что сборник следовало бы ныне выбросить, писал автору (28 января 1964), что ни в коем случае этого не сделает, поскольку хранит *СВ*

как память давнего прошлого, да и, кроме того, она мне не кажется такой отвратительной, так как в ней слышится пусть еще некрепкий, но всё же *свой* голос¹.

О том же писал автору Б. Божнев, восходя памятью

к тому басно-бессловному прошлому – из которого порою слышен мне лай гармонический «Своры Верных»².

О месте *СВ* в «конвенциональной поэтике» молодого поколения эмигрантских поэтов см. в статье: *Khazan Vladimir. Some Observations on the Early Years of Émigré Poetry // Русская эмиграция: Литература. История.*

¹ Полностью приведено в томе II. Письма.

² Полностью приведено в томе II. Письма.

Кинолетопись: Материалы межвузовской конференции (Таллинн, 12–14 сентября 2002). Иерусалим: Гешарим; Таллинн, 2004. С. 153–181.

- С. 89. **«Просительной не простираю длани...»** С. 7. Г. Издебская вспоминала о сборищах в кафе «Гатарапак», одном из ранних в истории эмиграции: «Большой симпатией аудитории пользовался Александр Гингер, которому подсказывали, когда он с застенчивой улыбкой подымался, чтобы читать свои стихи: “Просительной не простираю длани”» (*Издебская Галина*. «Гатарапак» // НРС. 1953. № 14863, 5 янв. С. 3, 4). Об инциденте, возникшем между автором и редактором издательства «Рифма» С.К. Маковским, когда речь зашла о включении этого сонета в 4-й сборник Гингера, «Весть», см. во вступительной заметке к переписке Гингера с Маковским.
- С. 89. **Крымская песня**. С. 8. *Замайнарится парус дырявый* – от «майна»: опускать (парус). *Славно вирить под свежей низовкой* – от «вира»: поднимать (парус).
- С. 90. **Мой Петербург**. С. 9. *...бой подков* – Ср. с тем же образом у Д. Кнута («Вот пуст мой дом. Цвети мой посох»): «Варан и тупь мирокружений, / Напрасный бой любых подков»; ср. еще – из того же круга образности – «бег копыт» в след. стихотворении и «дробь татарских копыт» в «Памяти Блока».
- С. 90. **«Вдруг помчатся вспугнутые лани...»** С. 10. О лейтмотивной для Гингера теме охоты как метафоры поэтического творчества см. во вступительной статье. Образ оленьего стада появляется также в его стихотворении «Чувство» (II). *Млечный Путь течет над этой сказкой* – Образ текущего Млечного пути повторяется в стихотворении «Памяти Блока».
- С. 91. **Элегическое двестишье**. С. 11.
- С. 91. **«Она придет своей дорогой...»** С. 12.
- С. 92. **«Голубеет небесный свод...»** С. 13. *Константин Андреевич (Абрамович) Терешкович* (1902–1978), живописец, график; его воспоминания о Гингере приведены в Приложении I.
- С. 92. **Акростих («Прилежный стих разделен и согласен...»)**. С. 14. Адресатом акростиха является близкий приятель Гингера поэт Довид Кнут (1900–1955); прочитанные по вертикали первые буквы всех строчек слагаются в посвящение: ПОЭТУ ФИКСМАНУ (наст. фам. Кнута). Об отношениях Гингера и Кнута см.: *Хазан Владимир*. Довид Кнут: Судьба и творчество. Lyon: Centre d'Études Slaves André Lirondelle Université Jean-Moulin, 2000 (по указателю); *Его же*. Вокруг Александра Гингера

и Довида Кнута (Три архивные заметки о русской парижской поэзии) // *Vademecum: К 65-летию Лазаря Флейшмана*. М.: Водолей, 2010. С. 530–559 (здесь впервые опубликован акrostих Кнута, адресованный ПОЭТУ ШУРЕ ГИНГЕРУ, который включен в настоящее издание, см. Приложение I; кроме того, см. там же краткий мемуар Кнута о Гингере), см. также письма Кнута Гингеру в томе II. Письма. Акrostих Гингера отмечен важным биографическим свидетельством: в нем зафиксирована паспортная фамилия Кнута: Фиксман, а не Фихман – ошибка, которая долгое время почти неизменно появлялась в биографических справках о Кнутае, см. об этом: *Хазан Владимир*. Довид Кнут: Судьба и творчество. С. 10. Акrostих представляет в своем роде «сборную цитату» кнотовских текстов, что, помимо сугубо поэтического значения, содержит важное биографическое указание: поскольку гингеровское посвящение датировано 1920 г., стало быть, все аккумулярованные в нем тексты Кнута написаны до этого времени (хотя впервые опубликованы в составе сборника «Моих тысячелетий» в 1925 г.). *Фанфарный гром и дрожь огромных гор* – аллюзия на следующую строфу из стихотворения Кнута «Я, Довид-Ари бен Меир»:

<Я помню>

И страшный час:
Обвал, и треск, и грохоты Синая,
Когда в огне разверзлось с громом небо
И в чугуне отягощенных туч
Возник, тугой, и в мареве глядел
На тлю заблудшую, что корчилась в песке,
Тяжелый глаз Владыки-Адоная.

Измены смех, и стон любви гонимой – Аллюзия на библейский сюжет изгнания Агари из дома Авраама (Быт. 16), метафорически преображенный в стихотворении Кнута «Сарра, / Мой мед...». *Аскета псалм, в восторге онемелый* – намек на царя Давида, центральный лирический образ стихотворения «Я, Довид-Ари бен Меир».

С. 93. **Месть**. С. 15–17.

С. 94. **«Недвижный сон дышал тобой...»** С. 18.

С. 95. **«Я прославляю гнев и низвержение...»** С. 19–20.

С. 96. **Свора верных**. С. 21. Автограф стихотворения сохранился в архиве М. Талова (ОРФ ГЛИМ. Ф. 520. Оп. 1. Ед. хр. 388). О матери Гингера М.М. Блюменфельд см. во вступительной статье (с. 8, прим. 2). Образ «своры верных», давший название всему сборнику, повторяется в стихотворении «Чувство», включенном в следующий сборник Гингера, *П*:

«Точно так же псов полярных своры / (Свора верных! детище балды!) / Драли (так от фараона воры) / Через угрожающие льды»; см. также в его стихотворении «Валентину Парнаху» (раздел «Из неопубликованного при жизни»): «... Создателю размеров беспримерных / Не повредят укусы своры верных». Ср. еще с четверостишием «По поводу упряжных собак и пр.» («Из неопубликованного при жизни»).

- С. 96. **Памяти Блока.** С. 22. Стихотворение представляет собой опыт поэтического портретирования Блока с помощью реминисценций и аллюзий, восходящих к его текстам.
- С. 97. **Западное предание.** С. 23–26. Автограф стихотворения сохранился в архиве М. Талова (ОРФ ГЛМ. Ф. 520. Оп. 1. Ед. хр. 389). *Суд Линча* – расправа над преступником толпой без суда и следствия. В названии слиты имена двух исторических личностей, носивших одинаковую фамилию Линч, – судьи Чарльза (период Войны за независимость) и капитана Уильяма (введшего в 1780 г. закон о бессудных телесных наказаниях). В книге воспоминаний «Далекие, близкие» А. Седых рассказывает о том, как Гингер читал это стихотворение в парижском кафе «Caméléon» (*Седых Андрей. Далекие, близкие.* 2-е изд., New York, 1962. С. 260).
- С. 98. **Кау-бой.** С. 27–28. Автограф стихотворения сохранился в архиве М. Талова (ОРФ ГЛМ. Ф. 520. Оп. 1. Ед. хр. 390). Как предыдущее и следующее стихотворения, написано на основе «фильмовых» впечатлений.
- С. 99. **Кинематограф.** С. 29–32. Кинематографическая тема, обращение к которой в поэзии Гингера данным стихотворением не ограничивается (см. еще стих. «Чувство» в *II*, а также образ «кинематографических зайк» в стихотворении «Валентину Парнаху», раздел «Из неопубликованного при жизни»), была широко распространена в его творческом кругу. См., к примеру, сцену посещения кинематографа главными героями в романе Б. Поплавского «Аполлон Безобразов» (гл. 3). *Стал близок нам пастух ~ револьвер на животе* – см. некоторые сходные образы в стихотворении В. Парнаха «Фильма» (Карабкается акробат. Париж, 1922. С. 56), в котором указаны имена популярных в те времена голливудских актеров:

В заду звенит кустарник стрел.
Подскакивает Фатти. Выстрел!
В руках по браунингу. Залп быстрый,
Скандал восторженно пестрел.

Бездарный гном ~ хилый брус – О лишенном малейшего пиетета в изображении Эйфелевой башни в некоторых текстах русских поэтов и прозаиков см.: *Хазан Владимир.* Теле-радиовласть и литература. Заметки к

теме // *Russian Literature*. 2007. Vol. LXII. № 2. С. 185–187. То *Чарли Чаплин, повелитель смеха*... – В тех творческих кругах, в которых в начале 20-х гг. вращался Гингер, имя выдающегося американского киноактера, сценариста, композитора и режиссера Чарли Чаплина (Чарлза Спенсера Чаплина; 1889–1977) было не просто популярным, а воспринималось как символ авангардного искусства (см.: в Палате поэтов «в честь приезда в Париж американского кинокомика Чарли Чаплина был устроен особый вечер» (Новая русская книга. 1922. № 2. С. 33)). Образ Чарли (Шарло), овладевавший мировой киноаудиторией и занимавший огромное место в жизни эмигрантского поколения, отразился в целом ряде текстов близкого Гингеру круга авторов: в стихах В. Парнаха («Эйфелева башня», «Любить калган и хахалчу», «Рецепт для публики»)¹, прозе С. Шаршуна («Европейская фильма Чаплина» в его кн. «Н-е-б-о к-о-л-о-к-о-л» (Париж, 1938; в издании 1965 отсутствует, однако включена в версию романа «Долголиков» 1961 г.)² или в «Дитя А хи ЛЛа» (Там же); Д. Кнут, полагавший, что Чарли Чаплин еврей, посвятил ему неопубликованную при жизни статью «Чарли Чаплин как еврейский национальный поэт»³; ср. еще небезразличный для данного контекста «смех кинематографических заик» из стихотворного посвящения Гингера «Валентину Парнаху».

С. 101. **Славный стол.** С. 33–35. О Гингере – карточном игроке см. во вступительной статье. Там же см. в воспоминаниях М. Федорова, товарища Гингера по Сорбонне, его склонность к эпитету «славный».

¹ Парнах был одним из тех, благодаря кому в Советском Союзе получило широкое распространение искусство Ч. Чаплина. См., к примеру: *Парнах Валентин*. Чаплин // Зрелища. 1922. № 2; *Его же*. Каков настоящий Чаплин? // Огонек. 1925. № 50 (141), 6 дек. Очень похоже, что очерк «Новый Чаплин» в журнале «Афиша Тим» также принадлежит Парнаху (1926. № 2, 7 сент. С. 8–12), который вел в этом журнале обзор зарубежных культурных событий.

² Ср. в этом романе гл. «Погоня за золотом», рассказывающую о чаплинской ленте «Золотая лихорадка» (1925), с письмом В. Парнаха Вс. Мейерхольду (октябрь 1925) из Парижа о той же картине: «Здесь огромным успехом пользуется новая вещь Чаплина «*La guée vers l'or*» (“За золотом!”)» (РГАЛИ. Ф. 998. Оп. 1. Ед. хр. 2163. Л. 13).

³ См.: Кнут Довид. Неизданное / Публ., подг. текста и предисл. В. Хазана // Лехаим (Москва). 2010. № 1. С. 63–64.

ПРЕДАННОСТЬ

II, вторая книга стихов Гингера, увидела свет в 1925 г. в парижском издательстве «Канарейка».

Фирменный знак «Канарейка» указывает на творческую ассоциацию, которая, как пишет французский исследователь русского эмигрантского авангарда Р. Гейро, была основана И. Зданевичем в конце 1925 г. и просуществовала очень недолго¹. Нельзя, однако, не разделить пафос полемической реплики Л. Ливака, замечаящего, что

точное время, обстоятельства создания и формат «Канарейки» остаются невыясненными. К примеру, книга стихов А. Гингера «Преданность», вышедшая не позже июня 1925 в Париже, т.е. за полгода до указанного Р. Гейро времени, носит марку издательства «Канарейка»².

Обложку к книге приготовил художник Виктор Сергеевич Барт (1887–1954). В 1919–1936 гг. Барт жил в Париже. Еще с российских времен был дружен с братьями Зданевичами, Кириллом и Ильей (Ильяздом) – с первым учился в одном классе петроградской Академии художеств, куда поступил в 1911 г., со вторым, с кем дружил также и Гингер (и кому посвящено его стихотворение «Чувство», включенное в *II*), имел в Париже разнообразные творческие контакты, в частности, оформлял костюмы для его заумной пьесы «Остраф Пасхи», показанной на вечере Б. Божнева 29 апреля 1923 г. В 1936 г. вернулся в СССР³.

II посвящена памяти Балто.

¹ *Гейро Режис*. «Твоя дружба ко мне – одно из самых ценных явлений моей жизни...» // Поплавский Борис. Покушение с негодными средствами: (Неизвестные стихотворения. Письма к И.М. Зданевичу / Сост. и предисл. Режиса Гейро. М.: Гиля; Дюссельдорф: Голубой всадник, 1997. С. 10.

² *Ливак Леонид*. «Героические времена молодой зарубежной поэзии»: (Литературный авангард русского Парижа (1920–1926)) // Диаспора: Новые материалы. Т. 7. СПб.; Париж: Athenaum–Феникс, 2005. С. 188.

³ Посетивший его парижскую мастерскую в ноябре 1922 г., В. Маяковский писал о Барте в очерке «Семидневный смотр французской живописи», подчеркивая его просоветские настроения:

«Эти, конечно, нагружившись жалким скарбом своих картин, при первой возможности будут у нас, стоит только хоть немножко рассеять веселенькие французские новеллы о том, что каждый переехавший русскую границу не расстреливается ГПУ только потому, что здесь же на границе съедается вшами без остатка» (*Маяковский В.* Полное собрание сочинений: В 13-ти томах. Т. 4. М.: Гослитиздат, 1957. С. 250).

В книге отсутствует нумерация страниц, что свидетельствует не столько об отказе ее автора от общепринятых норм и по части оформления поэтического замысла, сколько о независимой от него типографской небрежности. Посылая Г.П. Струве экземпляр *II*, Гингер писал в сопроводительном письме, датированном 15 июня 1925 г. (рецензию Струве на *II* см. ниже):

Позволяю себе послать Вам на память экземпляр. (Кстати, страницы не нумерованы не из оригинальности, а по типографскому недоразумению)¹.

В отзыве на стихи парижских поэтов, в котором рассматривалась и *II*, Е. Зноско-Боровский отмечал «болезненность и слабосильность» лирического героя Б. Божнева и Гингера.

Невысокого мнения о себе Александр Гингер, – писал критик. – У него мы найдем признания нелестные, самообличения откровенные, характеристику убийственную (мы имеем в виду, конечно, не личность поэта, но его воображаемое «я»)².

Подхватывая гингеровское двестишие из стихотворения «Amours» – «На прозаизмами богатой лире </> Распространиться разрешите мне», – Зноско-Боровский замечает, что поэт

очень верно определяет свою лиру, как богатую «прозаизмами». Действительно, его книга испещрена ими до такой степени, что порою начинаешь сомневаться, читаешь ли стихи или «прозу, да и плохую». <...> При этом он охотно вводит новообразования, воскрешает устарелые или вышедшие из употребления формы и обороты, так что нередко кажется, что имеем дело с косноязычным или ребенком³.

Критик сетовал на то, что многое в стихах Гингера говорится

нечаянно, по неопытности, невниманию или недостатку слуха. Но гораздо чаще он сознательно идет на это. Завет Верлена: «сверни шею риторике», видимо, пришелся по душе Гингеру, и он методически воюет с ней, умышленно лишая стих всей привычной ему напевности.

¹ Полностью приведено в томе II. Письма.

² *Зноско-Боровский Евг. А. Парижские поэты // ВР. 1926. № 1. С. 156.*

³ Там же. С. 157.

Он, вероятно, даже считает, что сильно обогащает русский язык, вводя в употребление такие формы, как воздымано, выслежаны, званы, ржано, гумяно, бежа, ложа, жмя. Но ему ничего не стоит сказать: «против друга друг», «мизинцем под» <...> «и во, и вне».

Не прочь автор прибегнуть и к разным вульгаризмам: «на мне нема ни полтъ, ни бурк», стараясь и из них извлечь те или иные эффекты. Когда он говорит: «Кобыла как была без сивк и бурк, – С их слуг сохи и плуга, – без каурк», мы ясно чувствуем, что автор искал здесь определенного слухового эффекта, так же, как и во фразе: «Кой облезлый кий – Той койки уже, что как лыжа (ski)?» Иногда инструментовка стиха отмечается у него наивным остроумием: «Зе у французов зед, у немцев цет» – эта строчка, например, любопытна ловким чередованием звуков З и Ц.

Отмечая склонность Гингера к аллитерационным эффектам, рецензент указывал на то, что поэт

любит щеголять созвучиями вроде «и ток, и сок» или «по берегу рек (и Ок, и Кам)», соединяя с ними какую-нибудь двусмысленность, не всегда, впрочем, удачную: «Каштан речей, как штан с бахромой, – Рабу, рабу, а не царю» или: «и не стремились ко ней мечты» (к ней или коней?).

Иногда эта игра принимает более серьезные пропорции, и тогда мы читаем: «Что ты, сердце, дрожишь, полукровка? – Половинкой кровинки дрожишь, – Трепыхаешься, жидкая кровка» и т.д.¹

Та часть отзыва, что была посвященная Гингеру, завершилась так:

Из этого видно, что независимо от размеров его дарования и нашего отношения к пафосу его творчества г. Гингер серьезно и много работает над словесным материалом своих стихов. Он сам правильно оценивает свое дело: «Сооружение стихотворных строк», может быть, слишком много даже у него «сооружения».

Достаточно ли этого, однако, для того, чтобы чувствовать себя выше и «живее» других? На чем основано его презрение к людям? На это мы найдем мало указаний в его книге. «Я пылаю беспрестанной страстью – К дару, к дару, к радостной земле», говорит он в одном месте, а чтобы не было сомнения, прибавляет дальше: «Никого не люблю, кроме Бога».

¹ Там же. С. 158.

Мы не вправе требовать от молодого автора, чтобы он в одной маленькой книжке дал полное исповедание веры. Ограничимся пока признанием, хотя и недостаточным, религиозного отношения его к миру и бегство от людей в ожидании дальнейшего раскрытия его мира в следующих книгах¹.

Душевный эскапизм гингеровского лирического «я» констатировал и другой рецензент, Б. Сосинский (рецензия подписана инициалами Б.С.), который отмечал, что

лирика А. Гингера узка и субъективна. Культивируемый им лирический тон характерен для эпохи людей, выходящих в расход. Основная черта его пассивность: «Я днем дремлю и ночью вижу сны... Я буду спать, доколь мне спать дано...»

Безоружный, в назойливой битве
Щит единственный – крепкие сны.

Кроме сна, – говорилось в рецензии далее, – восхваляются солнечные ванны и «утехи светил», но слишком отвлеченно и неубедительно. Попыткам примирения с жизнью также трудно верить – они всегда ассоциируются с сознанием собственной слабости и ничтожества:

Приветствую побеги жизни грозной,
Перед мускулатурой – ниц...

От искренности, требующей созвучия, автор часто перекидывается в юродство, рассчитанное на контрастность – некое подобие бунта. Ничем другим, как только желанием бросить вызов в пространство, <не> может быть объяснено помещение в сборнике таких «стихов», как «Автобиография». Некоторые строки Гингера на неискушенного читателя могут произвести впечатление «гносного предложения». Вместе с тем остроты и большого эмоционального напряжения в его поэзии нет. Он не колет, не режет, но окутывает и царапает веревками своих стихов. Сарказм всегда связан с шутовством. В этом почти постоянном юродстве – своеобразие искусства А. Гингера.

Переходя к формальной стороне гингеровского стиха, Б. Сосинский отмечал, что

¹ Там же.

прозаизмы, вульгаризмы и словесные вывихи у него всегда оправданы. Содержание и форма, неприемлемые, может быть, в отдельности, воспринимаются как нечто законченное и цельное в своем соответствии друг другу.

Стих Гингера характерен своей легкостью и текучестью. Автор охотно делает пространные отступления, петлит свой стих, усиливая этим не совсем удачным приемом впечатление легкости стиха. В форме он столь же нарочито циничен, как и в содержании. Говоря его жаргоном, он часто «валяет Ваньку». <...>

Определение – поэзия есть наилучшие слова, расположенные в наилучшем порядке, – в приложении ко многим произведениям Гингера вскрывает всю свою относительность. В творчестве Гингера мы встречаемся с явлением патологии в искусстве.

Завершалась рецензия предупредительной тезой о том, что не только текст зависим от своего творца, но и творец – от текста:

Дальнейшая лирическая разработка того материала, который использован автором в настоящем сборнике, нового, вероятно, ничего не даст. А. Гингер уже достаточно выразил лирически физиономию Смердякова. (Мы не ставим знака равенства между личностью автора и культивируемым им тоном.) Каждый поэт не только творец, но и жертва своих образов. Жертвой своей «нежити» может стать и Гингер как поэт¹.

Дополнительную критическую реплику, относящуюся к Гингеру, содержала идущая следом рецензия того же автора на сборник стихов Д. Кнута «Моих тысячелетий». Сравнивая поэтов между собой и находя их резко несходными, отталкивающимися друг от друга, Сосинский писал:

Есть что-то закономерное в том, что почти одновременно со сборником стихов А. Гингера появились отдельной книжкой и стихи Довида Кнута. Это протест жизни на то разлагающее искажение ее, которое присуще первому поэту. Для молодой русской поэзии характерен стыд скорбничества, противоборство пессимизму. У Гингера это именно стыд – ложный, его утверждение жизни наигранно и отвлеченно. Сильнее всего те его стихи, где он капитулирует перед жизнью. В поэзии Кнута, не избегающего подчас и печальных мотивов, жизнь неизбежно везде торжествует².

¹ СП. 1926. № 12/13. С. 69–70.

² Там же. С. 70.

Еще в одном отзыве на сборник стихов Гингера, начинающемся с констатации обилия его недостатков и не расстающимся с этим утверждением в дальнейшем, К. Мочульский сумел вместе с тем обнаружить неожиданные, на первый взгляд, истоки лирического волнения и даже прозрачно выразить свое не лишнее сочувствие отношению к работе поэта:

Недостатков в этой книге много, и самых разнообразных. Было бы не трудно привести несколько цитат и объявить сборник крайне неудачным. Я думаю, автор не удивился бы такой оценке: он прилагает все усилия, чтобы внушить ее читателю. Он как будто нарочно расставляет ошибки против метрики, грамматики и хорошего вкуса на самых видных местах; грубой неправильностью (всегда легко устранимой) губит свои лучшие строфы: подчеркивает свое неумение, потекает косноязычию. Намеренно раздражает своими «ложными представлениями»: разбежался, протянул вперед руки, напряг мускулы... и спокойно пошел назад, улыбаясь виновато и насмешливо. «Знаю-де, чего вы от меня ожидали, что по всем правилам искусства мне полагалось сделать. Но я сам по себе, и правила мне не нужны».

Читатель может сердиться, недоумевать, но обычное его равнодушие сломлено. Стихи Гингера его задевают – это не мертвый набор слов, годный для эпитафий.

Автор изображает себя в самом неприглядном виде; он старательно замазывает бурой краской «ореол поэта». Он умеет писать «красивые» стихи, но не хочет. Его влекут разорванные, неуклюжие построения, всё далее и далее уводящие от смысла. О своем стихе он говорит:

Мой растрепанный, придурковатый
И испуганный – противен он;
Мой язык обложен вялой ватой,
Томный ум тревогой удручен.

Он издевается над самим собой, над своей «неудачливостью», сопливостью, непригожестью; вводит в свои стихи неслыханные прозаизмы, упорно рассказывает о низменном и отвратительном, играет на контрастах «поэтических» образов и тривиальнейших оборотов.

От благолепия старается укрыться на самые грязные задворки. Во всем – в темах, словесной разработке, синтаксисе – сознательное и циничское «снижение». Некоторые его стихотворения воспринимаются как пародии торжественно-элегических «раздумий». В свои размышления он вводит «придурковатость» Козьмы

Пруткова. Сентенциозно и дидактически рассуждает о банальных истинах.

Выхода из поэтической «гармонии» он ищет даже в тредьяковщине:

Ведь разливы Пановой свирели
Раздаются в рощах больше не,
Города изрядно посерели,
Отвратительно и во и вне.

Не всегда отступления от правила раскрываются для нас как художественный прием. Сборник Гингера богат неудачами, но порой они интереснее самых «безукоризненных» строф. Среди размышлений в унтер-офицерском тоне отдельные строфы поражают своим лирическим волнением. Они просты, правдивы и чисты – но проходит мгновение, и поэт уже стыдится своего «вдохновения». Одно свое стихотворение о солнце и луне он заканчивает двумя нерифмованными строками:

На всем вышеизложенном, однако,
Ни капли не настаиваю я.

Эта малодушная, ироническая усмешечка – характерна для Гингера: не верит в себя¹.

Примерно теми же словами писал Мочульский о *П* время спустя в ретроспективной реплике, связанной с новыми стихами Гингера (речь в его статье шла о I-м выпуске СсС, в котором Гингер был представлен стихотворением «Отец мой солнце, я с тобой сегодня...»):

В нем <в сб. *П*> было много жара, нарочитого цинизма и иронической терпкости. Вместо традиционного «жреца муз» – перед нами стоял неприглядный поэт, «безвольный, слабосильный», «трусливый телом и душой плюгавый». Но смирение было пуше гордости, и под брезгливой гримасой пряталась неистовая жажда и чисто романтические страсти².

Амбивалентное отношение критики к Гингеру разделял и Г. Струве, начавший свою рецензию следующим образом:

¹ З. 1925. № 118, 4 мая.

² Мочульский *Константин*. Молодые поэты // ПН. 1929. № 3004, 13 июня. С. 2.

Если открыть книжку Гингера наудачу, легко попасть на плохие, раздражающие и ненужные стихи; их много в ней. Сам поэт хорошо говорит про свой стих:

Мой растрепанный, придурковатый
И испуганный – противен он;
Мой язык обложен вялой ватой...

Но далее автор, как бы проводя селекцию и отделяя «зерна» от «плевел», указывал на наличие в сборнике ярких, запоминающихся стихов и подчеркивал:

Талантливость Гингера несомненна. При этом он всегда говорит то, что *хочет* сказать, и если иногда его стихи угловаты и неуклюжи, то эта особенная крепкая, в себе уверенная угловатость придает им сугубую выразительность. Уста поэта хотят «немолствовать», но должны глаголать – и глаголют косноязычно, ибо уделом поэта должно бы быть молчание. <...>

Основная тема гингеровской поэзии, как ее определяет Струве, «двойственность бытия – тема бдения и сна», восходит, по его мнению, к Тютчеву, «к которому Гингер вообще близок». «Упоение полнотой бытия порождает жажду небытия, стремление раствориться в сущем», – пишет рецензент и приводит в качестве иллюстрации к выдвинутому тезису заключительные четверостишия из стихотворений Гингера «Преданность» и «Спокойствие», а также одну из строф из стихотворения «Повесть»: «Потому что даже и в ненастьи...»

Повторяем, – суммировал сказанное критик, – в книге Гингера много таких стихов, мимо которых пройдешь с досадой, но его удачные стихи с их своеобразным и неповторимым ритмом, с их одновременно твердой и угловатой поступью крепко оседают в памяти¹.

Спустя четыре года после этого отзыва Г. Струве вновь обращался к стихам Гингера в заметках о достижениях и проблемах творчества молодых эмигрантских поэтов:

Несомненное дарование при всей его косноязычности есть у Гингера, о котором мне уже приходилось писать года три тому назад по поводу его книги «Преданность». Есть у него какая-то

¹ Воз-1. 1925. № 13, 15 июня. С. 3.

волнующая читателя не только человеческая, но и поэтическая искренность. Приятно отметить, что он стал гораздо проще, меньше кривляется (особенно в стихотворении «Памяти Баратынского»)¹.

Рецензент «Парижского вестника», скрывшийся за инициалом М., не вносил в стройный критический хор каких-то принципиально новых нот.

У молодого поэта Александра Гингера, – говорилось в рецензии, – есть свои, присущие ему одному манеры. Немало своего рода тредьяковщины найдете вы в его книге. Автор любит бубнить. А в его бесконечных «рассуждениях» есть что-то тяжелое. Им соответствует и своеобразная неуклюжесть гингеровских оборотов речи. Но несомненно, что эти корявости – в духе языка.

Но у Гингера есть другое достоинство. Своеобразно используя богатство «иррациональной» поэзии последних лет, он избег жалкой сентиментальности.

В общем движении неровных по качеству строф у Гингера мелькают и такие прекрасные и совершенно безукоризненные строки:

Меня знобит, и может быть последний,
Последний раз перед тобой валюсь;
Внимай призыв, неточный, но последний:
Последний раз перед тобой валюсь.
(Объяснение)

Вот как Гингер обнаруживает не только бесспорный лиризм, но и неожиданное богатство интонаций и повышение голоса. Повторность слов в конце стиха, в стиле японской поэзии, взамен дешевых составных рифм, соответствует искренности и целомудренности гингеровских ощущений.

Завершалась рецензия на оптимистической ноте:

У Гингера намечаются только элементы мироощущения, далеко еще не сформировавшиеся. Но за последние годы он значительно подвинулся и в смысле напряжения чувств, и в выработке своеобразного синтаксиса и словаря.

¹ Струве Глеб. Заметки о стихах: (Парижские и пражские «молодые») // Россия и славянство. 1929. № 30, 22 июня. С. 4. В последнем случае имеется в виду стих. «Отец мой солнце, я с тобой сегодня...», появившееся первоначально в I-м выпуске «Сборника стихов» Союза молодых поэтов и писателей в Париже (1929. С. 7), а затем включенное в *ЖуТ*.

Целомудрие и подлинность его волнения заслуживают дальнейшей работы и внимания к себе со стороны автора и внимания к нему со стороны читателя¹.

С. 103. **Спокойствие** <С. 7–8>. Без 3, 4 и 5 строф вошло в С.

С. 104. **Преданность** <С. 9–10>. *Павел Карлович Вейсбрем* (псевд. Павел Куклимати; 1899–1963), театральный режиссер, создавший в Париже сценическую мастерскую, т.н. «Передвижной театр столов» (см.: Кнут I: 264). Начиная в Ростове-на-Дону, где был ключевой фигурой молодежного театрального кружка, см. об этом времени в дневнике Е.Л. Шварца (Живу беспокойно...: Из дневников. Л.: Сов. писатель, 1990. С. 345). В начале 20-х гг. вернулся в Россию, жил в Ленинграде: в 20–40-е гг. работал в БДТ, с 1948 до 1958 г. – режиссер театра Ленсовета и (с 1939 до 1949 г. с перерывами и с 1958 г. до конца жизни) ленинградского ТЮЗа. Ему также посвящены стих. В. Парнаха «Эйфелева башня» (1920) и «Стремглав по лестнице веревочной...» (1915–1920), вошедшие в сб. «Карабкается акробат» (Париж, 1922. С. 21–22 и 31 – во втором случае с опечаткой в инициалах: вместо П.К. – А.К.). *Млечный Путь великолепно плотен* – мотив Млечного пути многократно возникает в стихах Гингера, см.: «Млечный Путь течет над этой сказкой» («Вдруг помчатся вспугнутые лани...»), «Млечный протек Путь» (Памяти Блока) – оба СВ, «В досадной мгле приветствуй путь свой млечный» («Круг болей совершать и подвиг мечный...»), «Молочная дорога» – оба П.

С. 105. **Две мечты** <С. 11–12>.

С. 106. **Amours** <С. 13–15>. О Б. Божневе см. в томе II. Письма (Письма Б.Б. Божнева Гингеру и Присмановой). *L'amour du jeu reunite tous les autres amours (Boiste)* – Любовь к игре объединяет все другие виды любви (Бойст). Пьер Клод Виктор Бойст (1765–1824), французский лексикограф, редактор выдержавшего многочисленные издания «Dictionnaire universel de la langue française» (первая публ. 1800). *Ритмические глупые движения* – Среди нечастых в русской поэзии обращений к ритмике полового акта см. в стих. «Любовное» А. Беленсона: «Повествовательная ритмика, / Как игл колких льдистый рой. / Дрожа, замри в безумном ритме-ка, / Глаза греховные закрой. / Одно мгновенье длится бред, / Смешной, печальный иль жестокий» (Беленсон Александр. Безумия. М., 1924. С. 13). *Разврат ~ ослабляет мышцы ног* – Возможная реминисценция «Песни песней» Г. Гейне: «Да только высохли ноги мои / От этой науки».

¹ Парижский вестник. 1926. № 219, 24 янв. С. 5.

- С. 107. **Жалоба и торжество** <С. 16–18>. Включалось в различные антологии зарубежной поэзии: Якорь: 96–97, На Западе: 110–111, Вне России: Антология эмигрантской поэзии 1917–1975 / Ed. H.W. Tjalsma. München: Wilhelm Fink Verlag, 1979. С. 111–112. В рецензии на «Якорь» Л. Гомолицкий, приводя следующий фрагмент из этого стих. – «Вы к мертвецам относите меня. / Послушайте, ведь вы совсем не правы! / Ввиду того, что я живее всех...», – писал: «Так протестует А. Гингер, а за ним могут повторить “мы живы!” и другие. Да, “бытие” их трудно. Одиночество, да и множество других причин, может быть, делают его невыносимым. Поэты не скрывают от себя своей беспомощности и усталости, но ищут во всем этом жизни, а не смерти» (Меч. 1936. № 4 (88), 26 янв. С. 10). Строчками – «Не нарушайте тихого веселья / Потрескиванием болтовни» – Ю. Терапиано иллюстрировал свой рассказ о замкнувшемся в себе Гингере:

Когда в 1926 году молодая литература вышла на широкую дорогу, получив доступ в газеты и журналы, когда ряд объединений «молодых» – «Союз поэтов и Поэтов» <sic>, «Кочевье» и «Перекресток» стали устраивать большие открытые вечера, на которых некоторые поэты срывали аплодисменты, Гингер отошел в сторону (Терапиано Ю. Памяти Александра Гингера // РМ. 1965. № 2359, 11 сент. С. 7).

И шоколад молочный Гала-Петер – швейцарская фирма по производству молочного шоколада (основана в 1875 г.), ср. у близкого Гингеру Д. Кнута: «Был вечер и ветер – / Совсем, как у Блока... / Духи, Гала-Петер, / Звоночек жестокий...» (стих. «Молчи», сб. «Насущная любовь», 1938).

- С. 108. **Ветер** <19–21>. Первонач.: Недра: Литературно-художественные сборники. Кн. 3. М.: Новая Москва, 1923. С. 132–133.
- С. 110. **Пять стоп** <С. 22–23>. Стихи написаны пятистопным ямбом, откуда и их название. *Сергей Матвеевич Ромов* (наст. имя и фам. Соломон Давидович Рофман; 1883–1939), участник революционного движения (меньшевик), литератор, близкий к французским дадаистам, критик, переводчик, редактор парижского эмигрантского журнала «Удар» (1922–1923, вышло 4 номера), один из основателей группы «Через». В 1928 г. стал «возвращенцем», оставив в Париже жену и больного туберкулезом сына. Поселившись в Москве, работал в «Литературной газете», журнале «30 дней», сотрудничал в «Прожекторе», «Новом мире» и др. В 1933 г. был арестован, в 1938 г. на время освобожден, а затем, в 1939 г., вновь арестован и расстрелян. *На всем вышеизложенном ~ не настаиваю я* – Это двустишие было широко распространено в эмигрантской среде: так, например, оно послужило эпиграфом к сборнику стихов Ю. Одарченко «Денек» (1949); см. отсылку к нему в пародии на Гингера С. Луцкого (приведена в Приложении I).

- С. 111. **«Круг болей совершать и подвиг мечный...»** <С. 24>. *Ольга Каган-Катунал* – по всей видимости, ей же посвящены стихотворения Б. Поплавского «Твоя душа, как здание сената...» и «Астральный мир»; характеризуя ее, Н.И. Столярова в беседе с А.Н. Богословским говорила: «Ольга Каган (а не Коган?) на Монпарнасе пользовалась успехом <...>. Она, кажется, из легких увлечений Бориса Поплавского» (*Поплавский*, Неизданное. С. 75). В *досадной мгле приветствуй путь свой млечный* – характерный для Гингера мотив Млечного Пути был отмечен выше, в стихотворении «Преданность». ...*вмещающая колыбели и гроба* – ср. в стихотворении «Знают мифы: неистойной волей...»: «Ведь не мерю, не число, не число / Колыбели мои и гроба».
- С. 111. **Молочная дорога** <С. 25–28>. О мотиве Млечного Пути у Гингера см. выше, в коммент. к стихотворению «Преданность». *Диана* – в римск. мифологии богиня женственности и плодородия, родовспомогательница, олицетворялась с луной (соответствовала Артемиде у древних греков); *Феб* – другое имя Аполлона, др.-греч. бог солнечного света, брат Дианы-Артемиды. Образ Дианы появляется также в стихотворении Присмановой «Двойной орех». *Пышный праздник ~ Феб-Аполлон; Обожжай Аполлоновы стрелы ~ волосы позолоти* – О «солнцепоклонническом» комплексе у Гингера, человека и поэта, см. к коммент. к стихотворению «Отец мой солнце, я с тобой сегодня...» (*Жиг*).
- С. 114. **«Забавлявшийся травлей и рогом...»** <С. 29–30>.
- С. 115. **«От начала и до окончанья...»** <С. 31–33>. Первонач.: Дни, 1923. № 75, 28 янв. С. 11.
- С. 116. **«Знают мифы: неистойной волей...»** <С. 34–36>. *Мойры* – в др.-греч. мифологии богини человеческой судьбы. *И Гераклу подземная доля ~ терема* – речь идет о 12-м подвиге Геракла, героя др.-греч. мифологии, сына Зевса и земной женщины Алкмены: проникнув в царство мертвых, он победил охранявшего его Кербера. ...*колыбели мои и гроба* – ср. соединение «колыбели» и гроба» в стихотворении «Круг болей совершать и подвиг мечный...».
- С. 117. **«Голосом могилы или Бога...»** <С. 37–38>.
- С. 118. **«Сердобольно, даже сокрушонно...»** <С. 39–41>. Под заглавием «Солдаты», без первых двух строф и посвящения, вошло в С, где в третьей строчке 2-й (фактически 4-й) строфы «всё ж» дано в раздельном написании. *Дуся Рысс* (в замуж. Боберман), художница, входила в дружеский круг Гингера, Поплавского и др., была замужем за художником Владимиром (Вальдемаром) Абрамовичем Боберманом (1897 – не ранее 1949). Существует несомненная связь – тематическая,

образно-метафорическая – между этим стихотворением и «Армейскими стансами» и «Армейскими стансами-2» (вторые посвящены Гингеру) Б. Поплавского с неслучайным, возможно, лексическим совпадением: «И солдаты по команде старших / Закурить, *оправиться* должны» (Гингер) – «Прав, кто *оправился*, вышел и пал» (Поплавский) и «дождевой» параллелью: «Ну а небо в окаянном раже / Мерзкий ливень низвергает вдруг» (Гингер) – «Вздыхает дождь, как ломовая лошадь, / На небесах блестят ее бока. / Чьи это слезы? Мы идем в калошах» (Поплавский). Ср. еще у Гингера «Заматавши новые портянки...» (*ЖуТ*). Поплавский сопроводил свой роман «Аполлон Безобразов» автоцитатой из «Армейских стансов-2»: «Как в зеркало при воротах казармы, / Где исходящий смотрится солдат...» – «... еще один озабоченный взгляд в зеркало при воротах казармы...» (БП-I: 79; БП-II: 43).

- С. 119. **Повесть** <С. 42–48>. ...*Точно неудачный акробат* – Ср. с аналогичным образом «неловкого атлета» в стих. Б. Поплавского «Разбухает печалью душа...» (вариант: «Распухает печалью душа...»): «Черный сок покрепчает от лет, / Для болезненного сердца отравя. / Опьянеет и выронит славу / В малом цирке неловкий атлет», см. об этом: *Хазан Владимир*. «Роман с Богом», или о двух литературных шутках в «Аполлоне Безобразове» Бориса Поплавского // *Русские писатели в Париже: Взгляд на французскую литературу 1920–1940*. М.: Русский путь, 2007. С. 386–387.
- С. 122. **Хиромантия** <С. 49–51>. Без посвящения вошло в С, где вторая строчка 4-й строфы выглядит так: «заведует завидной их судьбой». Стихотворение принадлежит поэтическому диалогу Гингера с Б. Поплавским (до нынешнего времени не описанному) и представляет собой опыт создания на свой манер «Астрального мира» (стихотворение Поплавского «Астральный мир» будет написано позже, в 1928 г.). *А Аполлон с противной старой лирой* – образ Аполлоновой лиры см. еще в стихотворении «Смятение, рычание мирское...». *Китыч Тут* – одного из персонажей комедии А.Н. Островского «В чужом пиру похмелье» (1856) называют Китом Китычем. Ироническим смешением обоих прозвищ Гингер еще более заостряет их ироническое звучание.
- С. 124. **Чувство** <52–56>. *Илья Михайлович Зданевич* (псевд. Ильязд; 1894–1975), художник, поэт, прозаик, представитель авангардного искусства. *Я в кинематографе сидел* – о кинематографической теме у Гингера см. в коммент. к стихотворению «Кинематограф» (*СВ*). *Свора верных!* – Образ, отсылающий к *СВ* и включенному в нее одноименному стихотворению; ср. в *П* также: «чутконосых свору» («Дон Хуан») с той же рифмой: «своры – воры». ...*так от фараона воры* – Речь идет об известной восточной сказке «Фараон и воры». ...*в час потопных Лаб* – возможно, имеется в виду река Лаба, текущая на Северном Кавказе, левый приток Кубани. *Ведь*

разливы Пановой свирели... – в др.-греч. мифологии Пан – божество стад, лесов и полей; изображался в зверином обличье со свирелью в руках.

- С. 126. **Сонет V** <С. 57>. *Владимир Сергеевич Кемецкий* (наст. фам. Свешников; иногда: Свечников; 1902–1938), поэт. В начале 20-х гг. вместе с родителями эмигрировал из России – первоначально в Берлин, затем в Париж. В русской эмигрантской печати публиковался мало: по-видимому, ему принадлежит отзыв на журнал Б (подписан В. К-ий) в просоветской газете «Парижский вестник» (1926. № 219, 24 янв. С. 5), в котором отмечено стихотворение Гингера «Мания преследования». В 1924 г. его стихи были напечатаны в № 3 московского альманаха «Недра» – вместе со стихами Гингера и Б. Божнева. Принимал участие в молодежных организациях прокоммунистического толка, за что был выслан из Франции. Переехал в Германию, но в 1926 г. был выслан также и оттуда. Вернулся в СССР, где подвергся репрессиям: в 1927 г. арестован и отправлен на Соловки, где с ним познакомился отбывавший там заключение Д.С. Лихачев, оставивший о нем воспоминания (см.: *Лихачев Д.С. Избранное: Воспоминания*. Изд. 2-е, перераб., СПб.: Logos, 2000. С. 317–339; о неточности мемуариста, называющего «Недра» берлинским журналом, см.: *Хазан В. Несколько заметок на полях исследований русской литературы в эмиграции // Canadian-American Slavic Studies*. 37, № 1–2 (Spring–Summer 2003). С. 134; после освобождения в 1932 г. и ссылки в Архангельск в 1937 г. вновь арестован и расстрелян. См. также посвященные ему Б. Поплавским стихотворения «Дождь» (1925–1929; впервые опубликовано в ВР (1930. № 3. С. 207); вошло в сборник «Флаги», 1931), и «Бардак на весу», а также использование свешниковской строки – «навылет на бегу» – в качестве эпиграфа к стихотворению «Закончено отмщение: лови!» (1926).
- С. 127. **Сонет VI** <С. 58>. *На мне нема...* – в связи с украинизмом «нема» см. вступ. заметку к комментариям *СВ. ...ни польт ни плотных бурк ~ без сивк и бурк* – эту ненормативную модель Гингера (родительный падеж множественного числа; см. еще: «От ярых мечт – пречистая ограда!» в «Просительной не протираю длани...», *СВ*) Ю. Терапиано назвал «на-рочитым косноязычием» (*Терапиано Ю. Парижские молодые поэты // СП*. 1926. № 12/13. С. 45). Похоже, что сама эта словомодель отозвалась в первоначальном варианте поэмы Д. Кнута «Ковчег» (1-я и 4-я главки): «Людской корысти, мечт и дел», «Стада и стаи – мечт и слов» (соответственно: Дни. 1925. № 818, 4 окт. С. 3 и СП. 1926. № 12/13. С. 5). И только после того, как И. Бунин резко критически отреагировал на режущее ухо слово «мечт» (Воз-1. 1926. № 415, 22 июля), Кнут в обоих случаях от него отказался, заменив в первом на «Людской корысти, снов и дел» и на «Стада надежд и стаи слов» – во втором, явив тем самым наглядный пример того, как авторитет классики превозмог экспериментальный ис-

кус. *Кий облезлый кий...* – «киевско-бильярдная» образность Гингера (см. еще в его стихотворении «Мания преследования» (*ЖуТ*): «И мелкий шар, как сердце, тонет в лузу, / Подстреленное властью кия»), которая не была редкостью на русском Монпарнасе (см. хотя бы стихотворение упомянутого в предыд. коммент. В. Кемецкого «Зеленый стол... Сутулых спин бугры...», посвященное Д. Кнугу (Недра: Литературно-художественные сборники. Кн. 3. М.: Новая Москва, 1923. С. 130)), напрашивается в параллель стихотворению Б. Поплавского «Копает землю остроносый год...», датированному тем же, что и «Сонет VI», 1924 г.: «Смотри собрались улицы в поход / Держа ружье как черенок от кия» (БП-I: 435). Необходимо учитывать влияние на обоих, Гингера и Поплавского, «мэтра» русского авангарда В. Парнаха, в частности, его стихотворения «Внезапный танец» (Самум. Париж, 1919. С. 21), в котором описан танец с кием:

Темница радостных стихий,
Мое движенье! Я ликую.
Я, как факир – змею лихую,
Взял нежно бильярдный кий.
И мерой вкрадчивой, тугою
Шаг Танго начал вить узлом.
Вращаю плавною дугою
Кий и – пленительный излом –
Под ногу провожу. Морские
Качанья, шага перебор!
Преображен заклатьем кия,
Я вдруг нашел тройной узор.

Ночным веселиям подмостки
Открылись – бильярдный зал.
Беспечный, невесомый, хлесткий,
Я перед смертью плясал!

Ср. различные коннотации «кия», включая сексуально-лингвистическую, у В. Набокова, для кого был безразличен опыт ранней поэзии русского Парижа: в «Отчаянии» Арделион произносит: «Да и вообще – зачем говорить о таланте, вы же не понимаете в искусстве ни кия» (*Набоков В.В. Собрание сочинений: В 5-ти томах. Т. 3. СПб.: Симпозиум, 2000. С. 474*), а в «Даре» Годунову-Чердынцеву во сне привиделся некий Ганс, ломающий кий («сломав наш Ганс кий»), что, возможно, скрывает намек на Леонида Иосифовича Ганского (наст. фам. Гатинский; 1905–1970) и тем самым выводит на ассоциацию с кругом молодых парижских поэтов, см. об этом: *Хазан Владимир. «Превращая болезнь в стихи»: Три заметки о мотивах «болезни» и «смерти» в поэзии русской эмиграции // Studia*

Litteraria Polono-Slavica. 6: Morbus, Medicamentum et Sanus. Warszawa: Polska Akademia nauk; Instytut Slawistyki, 2001. С. 296–297). ...той койки уже – ср. с образом «узких постелей» в стихотворении Гингера «Пять стоп». ...скальпель или ланцет – см. акrostих Д. Кнута «Порой ночной зерно произрастет...», посвященный Гингеру, и его возможные литературные контексты и подтексты (Приложение I).

С. 127. **Изабелла** <С. 59–60>.

С. 128. **Автобиография** <С. 61>. *Сергей Иванович Шаршун* (1888–1975), художник и писатель, член «Палаты поэтов».

С. 128. **Дуня** <С. 62–63>. Вошло в С, где в строчку, завершающую 2-ю строфу, внесено изменение: «до слез, до смерти и до тла».

С. 129. **Упражнение** <С. 64>.

С. 130. **Пелагея** <С. 65>.

С. 130. **Разговор автора с самим собой** <С. 66>. *Как страдающий одиночным пороком ~ молодых воображает* – о мотиве онанизма см. в коммент. к стихотворению «Под одиночественной паутиной...». *Так и ты, Александр, перечисляешь... ~ Шуру покликай* – о соотношении Александра и Шуры см. «Синтез стойка и нигилиста. Д. Кнут Гингеру и о Гингере» (Т. 2. С. 362, прим. 2). *Одинокий на дороге выйдешь* – реминисценция «Выхожу один я на дорогу» Лермонтова.

С. 131. **Песок**. <С. 67–68>. Без посвящения вошло в С, где во 2-м стихе последней строфы: «Начальник рывкнул...» вместо «Начальник пискнул...». 3-ю, 4-ю и 5-ю строфы из этого стихотворения, в виде отдельного текста (без посвящения), Гингер вписал в *Альбом. О В.С. Барте* см. выше, во вступительной заметке. ...*ты не забудешь мя?* – древняя форма местоимения «меня». *Тоски последней станционной...* – возможная аллюзия на «Тоску вокзала» («Трилистник вагонный») И. Анненского. *Крути, Гаврила* – народное название («крути-гаврила») колеса ручного тормоза паровоза; выражение означает «Отпускай тормоза!»; среди многочисленных употреблений этого выражения см., например, у близких к Гингеру Б. Поплавского («Аполлон Безобразов»: «Шуми, мотор, крути, Гаврила, по Достоевскому проспекту на Толстовскую площадь» (БП-II: 73)) или И. Чиннова (стихотворение «Мало-помалу, мало-помалу...», сб. «Анти-теза», 1979).

С. 132. **Слезы** <С. 69>. *В полночный час ~ слагается моя* – двустишие из какого-то неизвестного стихотворения, принадлежащего, по всей видимости, самому Гингеру. *И разве что в рядах команды слабосильной* – ср. с «бегунами команд четверочленных» в стихотворении «Факел» (В).

- С. 133. «Смятение, рычание мирское...» <С. 70–71>. ...*мочью* / *Стихотворительной наделена* – ср. использование того же эпитета в стихотворении «Мания преследования» (*ЖиТ*): «Стихотворительное одержанье...».
- С. 134. «Что ж ты, сердце; дрожишь, полукровка?..» <С. 72–73>. ...*в ночах бесподружных* – ср. образование эпитета с противоположной семантикой – «доброподружный» – в стихотворении «Мания преследования» (*ЖиТ*).
- С. 134. **Дон Хуан** <С. 74–75>. Тема Дон Жуана в эмигрантской поэзии представлена широко и многообразно, см. из большого выбора примеров: «Дон-Жуан, патрон и покровитель...» Г. Адамовича и «соперничающий» с ним «Ответ Дон-Жуана» (помещены *face-à-face* в: Новый дом. 1926. № 1. <С. 4–5>), «Дон-Жуан» (1933) Ю. Терапиано, «Анна» (1938) Ант. Ладинского и др. ...*Подлежалых на пути евоном* – В акростихе «Поэту Шуре Гингеру» Д. Кнут, без сомнения, пародически прицеливался в гингеровское просторечие «евонный» (вместо «его»):

И если ты решил кого пронзить –
 Не лучше ли использовать, как встарь,
 Греко-гиппократический словарь? –
 Евонных клятв вовеки не забыть.

Полностью приведен в Приложении I.

- С. 135. **Надежда** <С. 76–77>. Вошло в С, где в 1-й строфе (третья и четвертая строчки) переставлены слова: «затихнул» и «погаснул»: «погаснул свет», «гул улицы затихнул мощный».
- С. 136. **Уверенность** <С. 78–79>.
- С. 137. «Под одиночественной паутиной...» <С. 80–82>. Тема онанизма и образ Онана многократно становились предметом внимания в русской поэзии, см., к примеру, одноименные стихотворения «Онан» И. Игнатьева (в его кн.: Эшафот. СПб., 1914), неопубликованное при жизни стих. В. Брюсова (*Богомолов Н.* «Мы – два грозой зажженные ствола» // *Антимир русской культуры. Язык. Фольклор. Литература* / Сост. Н. Богомолов. М.: Ладомир, 1996. С. 307–308) или Г. Сорокина (Галилея. Л.: Эрато, 1925); ср. в письме В. Розанова Э. Голлербаху от 26 октября 1918 г., в котором он пишет об онанистах как людях исключительных и относит к ним Паскаля, Лермонтова, Гоголя, Жуковского, Белинского, Добролюбова (*Розанов Василий.* Избранное. München, 1970. С. 558–559). В близком Гингеру эмигрантском кругу см. «Богобязненный семит...» Б. Божнева; мотив онанизма, или, как Гингер называет его в стихотворении «Разговор автора с самим собой», также включенном в П, «одиночного порока», несколько раз появляется в романе Б. Поплавского «Аполлон Безобразов»

(гл. VII, XIV). Темы онанизма Гингер касался в составленной им совместно с С. Шаршуном листовке «Русский Хай-Кай», см. в этой связи письма ему Б. Божнева (№№ 1–3) в томе II. Письма, и в особенности прим. 7 к п. № 1.

С. 139. **Объяснение.** <С. 83–85>. Без двух первых и 5-й строф вошло в С; первая строчка 6-й строфы: «Прости, прости когда сухой метелью». *Бог сил* (Саваоф, Саваот) – русифицированная калька с древнеевр. Tsavaot (одно из имен Бога), ср. аналогичный проverbsиальный образ – *Повелитель сил* – в другом стих. Гингера, «Птицелов» (*ЖиТ*).

С. 140. **«Но вежливые фаталисты...»** <С. 86–89>. Под названием «Леки» (без посвящения, 6-й, 7-й, 9-й и 10-й строф) вошло в С. *Леки* (диалект.) – лекарства, исцеляющие средства. *Я говорил с самим собою ~ тридцать пять* – ср. с названием его же стихотворения «Разговор автора с самим собой».

ЖАЛОБА И ТОРЖЕСТВО

Третий сборник Гингера, *ЖиТ*, вышел в июне 1939 г. в серии «Русские поэты» (вып. 6), которую с 1937 г. – в содружестве с издательством «Дом книги» – печатало издательство «Современные записки» (всего увидело свет 9 выпусков)¹.

Согласно рекламному проспекту «Дома книги», сборник должен был выйти из печати еще в ноябре 1938 г.

В качестве эпиграфа к *ЖиТ* Гингер предпослал свое же собственное двустушие из *П* («Сердобольно, даже сокрушонно...»):

Помяни безвременно-покойных
И о них не плакать не моги.
(1923)

Одним из первых на *ЖиТ* отозвался К. Элита-Вильчковский в младороссийской газете «Бодрость».

О стихах Александра Гингера можно быть разного мнения, – писал рецензент, – но отказать им в своеобразии трудно.

¹ Об истории издательства «Современные записки» (1928–1940) см.: *Шруба Манфред*. К истории издательства «Современные записки» // Вокруг редакционного архива «Современных записок» (Париж, 1920–1940): Сборник статей и материалов / Под ред. Олега Коростелева и Манфреда Шрубы. М.: Новое литературное обозрение, 2010. С. 275–294 (о серии «Русские поэты», с. 289–290).

«Жалобу и торжество» я читал не без удивления. Эти стихи построены на стилистических диссонансах. Какие только мотивы, какие только звуки, какие только образы не соединяет Гингер в, сказать по правде, противоестественную смесь. Тут как будто и Баратынский, и Пастернак, и Есенин, и Цветаева: нечто вроде маскарада, где все танцуют, поменявшись платьем. И танец получается тяжеловесный. Гингер искусственно косноязычен, искусственно громоздок. Он выбирает самые длинные слова из существующих в нашем богатом языке, а то и просто придумывает новые, греко-русского образца. «Тридцатипятиочито», «стихопечальная», «выздоравливающий», «неосуществившихся», «доброподружная», «стихотворительное» – такого рода гирь он набирает внушительное количество. Тяжесть усугубляется еще и полу-славянскими выражениями и довольно подозрительной игрою слов (алектор – коллектор, обречен – обрючен и т.д.). Поистине, поэт ничего не жалеет, чтобы огоршить и отпугнуть читателя.

Но хотя подлинные намерения Гингера от меня и ускользают, я готов принять на веру их серьезность. Несомненно, он мог бы писать «как все». Несомненно, он мог бы пребывать на средне-парижском уровне и производить в положенные сроки положенное число смазливых стихотворений. Против этого соблазна он устоял. Он, как говорится, «ищет» – и это уже положительно. Выйдет ли из этих опытов в конце концов что-нибудь действительно ценное – не берусь ответить¹.

В июньской книжке РЗ на *ЖиТ* отозвался Сергей Осокин (В. Андреев):

В современной русской (зарубежной) поэзии Гингер стоит особняком – он ни на кого не похож, не связан ни с какими литературными течениями. Он оригинален решительно во всем – начиная со своего словаря и синтаксиса, кончая своим совершенно особенным мировоззрением, которое я назвал бы великолепным равнодушием. На каждой строчке его стихотворений, даже на самых простых строфах видна его собственная печать, и его стихи никогда не спутаешь со стихами парижских поэтов:

Зовет меня, но тщетно, воля злая
Людей чужих.
Им не желаю ни добра, ни зла я,
Не вижу их.

¹ Бодрость. 1939, 18 июня. № 230. С. 3.

Эта острая оригинальность, подчас настолько острая, что невольно начинаешь бояться – как бы не победил поэта акробат и фокусник, конечно, оказывается очень многим не по душе. Читатель обыкновенно боится того, к чему надо привыкать, ему приятно, если он сразу угадывает, откуда пришел данный поэт и куда он идет. С Гингером все догадки бесполезны¹. Его очень трудно полюбить, да и он сам как будто очень мало заботится об этом – он мучительно боится всякой красоты, всего, чем можно соблазнить читателя. Но зато, раз полюбив, невозможно пройти равнодушно мимо его стихотворений – они привлекают к себе, даже когда они бывают слабы: и в неудачах Гингер остается оригинальным и интересным².

Наконец, в августе *ЖигТ* попал в осуществленный Г. Адамовичем обзор новых поэтических сборников:

Александр Гингер – поэт первого эмигрантского «призыва», парижский старожил, один из столпов и основателей здешних русских поэтических кружков и школ. Его незачем представлять и своеобразнейшее его дарование давно известно всем, кто стихи читает. Следы футуристических и даже французских дадаистических влияний едва ли бросались бы у Гингера так резко в глаза, если бы его сверстники и товарищи не оказались почти сплошь учениками акмеистов с примесью некоторого пренебрежения к материалу и оболочке. Гингер пишет стихи с удовольствием, со вкусом, давая волю своей словесной находчивости, своему прихотливому остроумию – и вовсе не стремясь к той романтической «последней выразительности», которая ищет чуда, но почти неотвратно приводит к молчанию. Ему нравится Державин, нравится и Хлебников. Он их очень искусно, очень занятно соединяет, и стихи его именно заняты. Архаизмы его новы, новшества архаичны, а целое крепко приправлено пряностями. В произведениях недавних лет заметен как будто перелом: меньше игры, больше непосредственности. Но заметна и усталость. Настоящий Гингер – не в плавных лирически религиозных одах, а в тех неповторимо-оригинальных строках, где лиризм борется с издевкой и подчеркнуто книжное словечко внезап-

¹ В варианте, сохранившемся в архиве В. Андреева, далее следовало (удаленное, по-видимому, редактором): « – он пришел ниоткуда и идет в никуда, он существует сам по себе, как некий марсианин, случайно попавший на нашу землю» (Leeds Russian Archive. University of Leeds. MS. 1350/824).

² РЗ. 1939. № 18, июнь. С. 194.

но рассеивает хитро налаженную иллюзию признания или исповеди... Книга названа «Жалоба и торжество». Название стихотворных сборников большей частью ничего не значат, но зато они всегда характерны, всегда показательны – как почерк или выражение лица. Ни «жалобы», ни «торжества» у Гингера, разумеется нет – а что-то старомодно-пышное, очень «литературное», ускользающее и ироническое сквозит всюду¹.

С. 142. «**Стисни губы, воин честный...**» С. 7. Первонач. в СППК-I: 6. В рецензии на этот сборник В. Набоков недоуменно писал, что стихотворения Гингера он не понял: «Что значит, например: “Лейся, лейся надо гробом самовольная луна с белым, белым гардеробом...” (!)» (*Набоков В.В. Собрание сочинений: В 5-ти томах. Т. 2. СПб.: Симпозиум, 1999. С. 657*), а А. Эйсер (рецензия подписана инициалами А.Э.) отмечал, что «А. Гингер остер, но очень замысловат, запутан, весь в приемах и трюках» (ВР. 1928. № 6. С. 119). Под названием «Луна» вошло в С. ... *Два Астартины меча* – в семитской мифологии Астарта – олицетворение планеты Венера, богиня любви и плодородия, богиня-воительница.

С. 142. «**Отец мой солнце, я с тобой сегодня...**» С. 8–9. Первонач. в 3 (1925. № 142, 10 окт.); в I-м вып. СсС: 7, с типографской опечаткой в 3-м стихе второй строфы: «Отец мой солнце, покровитель *рая*». Под названием «Солнце» и без посвящения вошло в С. Приводя фрагмент из этого стихотворения, А. Бахрах в своих воспоминаниях о поэте пишет: «Гингер был подлинным – не в переносном смысле – солнцепоклонником, и едва наступала весна, он до сумерек исчезал из дому, отправлялся на какой-то пустырь и, наперекор докторским настояниям, пролеживал под солнцем, пока оно не заходило» (Бахрах 1980: 142); ср. в одном из писем Присмановой В. Корвин-Пиотровскому: «При первых лучах солнца Саша бежит на крышу – для солнечных ванн...» (полностью в томе II. Письма); Г. Адамович писал ему (2 мая 1953 г.) из Манчестера:

... послушайте человека старого и опытного, не лежите часами на солнце! <...> Правда, это очень вредно, и может плохо кончиться! Я в медицине толк знаю, а в солнце есть стороны коварные, которые и вступают в силу, как только они видят, что можно воспользоваться человеческой доверчивостью. На солнце безопасно двигаться, но всегда опасно оставаться неподвижным (Письма Адамовича: 264–265).

Даже перед смертью Гингер стремился насладиться солнечным теплом, его согревающими лучами. Через два дня после того, как его не стало, 30 августа 1965 г., К. Померанцев сообщал С.Ю. Прегель:

¹ *Адамович Георгий. Литературные заметки // ПН. 1939. № 6730, 31 авг. С. 3.*

Гингер скончался во сне. Зуров рассказывал, как за 2 дня до смерти он подполз к окну, чтобы посидеть (или полежать) на солнце, что до конца оставалось его величайшим наслаждением, потом не смог добраться до кровати и упал. До самого конца не знал, что у него рак, и надеялся¹...

Ср. посвящение «солнценосному» Аполлону в стихотворении Гингера «Молочная дорога» (II):

Обожай Аполлоновы стрелы,
Даже тело ему посвяти,
Сделай кожу свою загорелой,
Солнцем волосы позолоти.

Поэзия Е.А. Баратынского, в любви к которому Гингер признается в эссе «О разновидностях русского пятистопного ямба» (раздел «Проза и эссе»), и сама личность поэта многообразно проявили себя в стихах эмигрантов – от прямых посвящений ему (напр., «Боратынский» [1926] И. Северянина или «Баратынский» Г. Струве [1947]) и эпиграфов из его текстов («Блистательных туманов царь» из «Осени» к стих. П. Бобринского «На нас печать проклятия легла...» [публ. 1969] или «Вновь не забуду я: вполне упоевает / Нас только первая любовь» из «Признания» к стихотворению В. Андреева «Беспамятному жить легко и просто...», 1967) до цитирования и обыгрывания известных мотивов и образов, например, строчки «Мой дар убог и голос мой не громок» («Благословляю малый дар...» (1920) М. Цетлина, «Ненужное чудо» (публ. 1949) Н. Станюковича, «Певца великого потомок...» А. Несмелова²) или образа недоноска: «Мы гибнем без поры, без времени, / Как недоносок Боратынского» («Поэты атомного племени...» (публ. 1967) Н. Моршена) и др. См. еще в письме Б. Божнева Гингеру от 2 декабря 1956 г. – в ответ на присланную В: «Раgain <крестный отец> у них <стихов> – аристократический: Боратынский». *Гай* – дубрава, роща, лиственный лесок.

С. 143. **Покер.** С. 10–11. О карточной страсти Гингера см. во вступительной статье. *Брелан* – название карточной игры (первоначально так назывались игорные дома во Франции). *Эрмий* (Гермес) – в др.-греч. мифологии вестник (посланец) богов, покровитель путников, проводник душ умерших (соответствовал Меркурию – в римской). *Крез* (595–546 до н.э.) – последний царь Лидии, побежденный персидским царем Киросом Старшим; символ безмерного богатства. *Фул* – ассирийский царь (8-й в. до н.э.).

¹ University of Illinois Archives (Urbana-Champaign). Ms. 15/35/56 Sophie Pregel and Vadim Rudnev Coll. Box 1.

² См.: *Штейн Эдуард*. В поисках исчезнувшей Атлантиды // НЖ. 1999. № 214. С. 272.

С. 144. «Голова моя поднята к небу...» С. 12. Первонач. в СППК-II: 23.

С. 145. «Корифей выходит перед хором...» С. 13.

С. 145. «Заматавши новые портянки...» С. 14–15. Первонач.: ВР. 1929. № 5/6. С. 24. См. комментарий к стихотворению «Сердобольно, даже сокрушенно...» (П).

С. 146. «Сырая мать. Ее нельзя любить...» С. 16. Первонач.: СЗ. 1933. № 53. С. 208. В журнальной публикации после первого полустушия следовало многоточие. Последняя строфа («Конец стихотворения о земле») в несколько иной редакции вошла в ОНС:

Ко мне, мой голый червь, хозяин скромный мой.
Во славу вящую земли непобедимой
Питайся мной, веди меня домой.
Так умереть и стать землей родимой.

С. 146. **Мания преследования.** С. 17–19. Первонач.: Б. 1926. № 1. С. 15–16 (без предпоследней строфы); печ. в Ч. 1930. № 2/3. С. 16–17. Первопубликация этого стих. была отмечена в отзыве на Б., подписанном В. К-ий <Кемецкий?> (Парижский вестник. 1926. № 219, 24 янв. С. 5). Проявляя дружескую солидарность, Гингер сообщал о возникновении этого журнала Б. Поплавскому и советовал послать туда стихи, о чем известно из письма последнего В. Сосинскому (*Поплавский*, Неизданное: 247). Вошло в С без 7-й, 8-й и 9-й строф (заключительная строфа начинается: «и подари...»). *Стихотворительное одержанье...* – ср. тот же эпитет в стихотворении «Смятение, рычание мирское...» (П): «...мочью / Стихотворительной наделена». *И мелкий шар ~ властию кия* – См. коммент. к «Сонету VI» (П). *Страх расколы рукой добродружной* – ср. «контрастный» эпитет-неологизм – «ночи бесподружные» в стихотворении «Что ж ты, сердце; дрожишь, полукровка?...» (П).

С. 148. «Всей душой полюбила душа моя...» С. 20–21. Первонач.: СП. 1926 № 12/13. С. 5; СсС (Вып. II. 1929. С. 4). И. Бунин в отзыве на данный номер СП восклицал: «Плохие пути, горестный уровень!» и приводил среди других объяснений своего негативного отношения фрагмент из этого стихотворения (Воз-1. 1926. № 415, 22 июля. С. 3). Откликаясь на первые два выпуска СсС, М. Слоним писал, что А. Гингер «...ищет “остраненных” словосочетаний; голос его резок, мужественен и, несмотря на некоторую манерность, достаточно индивидуален. В последних его стихотворениях, гораздо более слабых, чем прежние, мне послышались гумилевские мотивы: особенно в стихотворении, заканчивающемся этими словами: “<Я> привет под испорченным зонтиком голоском восклицаю скопца мореплавателям и охотникам, путешественникам и борцам”» (*Слоним*

Марк. О молодых поэтах // ВР. 1930. № 4. С. 365). Под названием «Маяк» вошло в С.

- С. 149. **«Я считаю, что я недостаточно смел...»** С. 22. Первонач.: ВР. 1929. № 5/6. С. 25, с посвящением *Владимиру Познеру*. Завершающая строфа (с некоторыми неточностями) приведена в статье Поплавского «О мистической атмосфере молодой литературы в эмиграции» (Ч. 1930. № 2/3. С. 311). Под названием «Рубашка» вошло в С, где третьи строчки 2-й и 3-й строф выглядят иначе – соответственно: «я всегда утверждал, что всегда хороша», «чтобы там не нашли что в смертный час».
- С. 149. **Верность.** С. 23. Первонач.: ВР. 1928. № 2. С. 28–29 (с посвящением *А.В.* – возможно, здесь была допущена опечатка и читать следовало: В<адиму> А<ндрееву>). В своем отклике на стихи, напечатанные в этом номере ВР (помимо «Верности») Гингер был представлен еще стихотворением «Перстень <П>», см. далее), Г. Адамович писал: «Гингер – того же порядка <до этого критик касался стихов Б. Поплавского>, вернее, той же выучки и школы, но острее и вместе с тем, несомненно, слабее. Гингер очень своеобразен, но больших надежд не возбуждает» (З. 1928. № 4. С. 192).
- С. 150. **«Три страсти есть, которыми отвлека...»** С. 24–25. Первонач.: ВР. 1926. № 6/7. С. 36–37, с посвящением *Вадиму Андрееву*. В «Истории одного путешествия» В. Андреев вспоминал, что о Гингере (наряду с Б. Божневым и Ильяздом) и «о том, что в Париже, кроме Бунина, Мережковского и Гиппиус, есть “молодые” не только в своих литературных стремлениях, но и политически расходящиеся со “стариками”», он впервые услышал, еще живя в Берлине, от Б. Поплавского, приехавшего туда в начале 20-х гг. (*Андреев Вадим. История одного путешествия. М.: Советский писатель, 1974. С. 304*). В свою очередь В. Андреев посвятил Гингеру стихотворение «На гладкий лист негнущейся бумаги...» (сб. Недуг бытия, 1928). Печ. в Кр-1: 112. Под названием «Три страсти» вошло в С, где предпоследнее двустишие начинается: «И третья страсть играется врагами». *А ты, вино ~ горьких мук* – цитата из стихотворения Пушкина «19 октября» (1825).
- С. 151. **Утренняя прогулка.** С. 26–27. Первонач.: ВР. 1926. № 3. С. 46–47. Автор рецензии на данный номер ВР, где была напечатана подборка стихов парижских поэтов (рецензия подписана Д. – по-видимому, Д.А. Шаховской), писал, что если бы читателям предложили высказаться о лучших текстах, «мы бы высказались за стихотворение “Смерть” Владимира Познера и “Утреннюю прогулку” Александра Гингера» (Б. 1926. № 2. С. 177). Откликаясь на ту же поэтическую подборку (помимо данного, Гингер был представлен в ней стихотворением «Анне Присмановой», см. далее),

- Г. Адамович отмечал: «Александр Гингер – поэт своеобразнейший и уже почти сложившийся. Сначала он удивляет, потом, когда привыкнешь к семинарскому, бурсацкому “душку” его стихов, он почти пленяет. Я пишу “почти”, потому что нестерпимо в Гингере его вечное остроумничание. А музыка в его стихах есть, и, на мой слух, глубокая» (З. 1926. № 167, 11 апр. С. 1–2). *Алектор* – петух (*греч.*).
- С. 151. **Птицелов.** С. 28–29. Первонач.: ВР. 1927. № 4. С. 73. Вошло в С. *Повелитель сил* – см. коммент. к стих. «Объяснение» (II).
- С. 152. **«Есть слезы счастья: той достойной влагой...»** С. 30. Первонач.: З. 1927. № 5, 1 нояб. С. 281. Под названием «Слезы» вошло в С.
- С. 153. **«Я молюсь перед Богом моим...»** С. 31. Первонач.: Ч. 1934. № 10. С. 7, где во 2-м стихе: «И к Нему ползу и к Нему лечу в непроницаемой мгле». Заключительная строфа из этого стихотворения приведена в саркастическо-уничижительной статье Ю. Рogaля-Левицкого «Горе-авторы нашего зарубежья» (Воз-2. 1953. № 30, нояб.–дек. С. 181–182), представляющей собой обзор, как казалось автору, литературных «перлов» его современников (Ю. Рogaля-Левицкий посещал литературные вечера в доме Гингеров, и его стихотворение «Еще не видя ничего...» вписано в *Альбом*; дата записи – 3 июля 1948 г.).
- С. 153. **Перстень I.** С. 32–33. Первонач. без заглавия в качестве представленного на литературный конкурс З (1926. № 158, 7 февр. С. 7), где оно заняло второе место. Печ. в I-м вып. СсС: 5 – как 1-е стихотворение двухчастного цикла «Перстень». Оба «Перстня» (см. след. стихотворение) включены в Якорь: 94–95. Вошло в С. В основе стихотворения лежит широко известный сюжет, изложенный в 3-й книге «Истории» Геродота: властитель острова Самос Поликрат старается избавиться от перстня, который, однако, постоянно к нему возвращается, в чем проявляется божеское знамение приближающейся смерти. В русской литературе этот сюжет известен по балладе В. Жуковского «Поликратов перстень» (1831), представляющей собой перевод одноименной баллады Ф. Шиллера. В русской эмигрантской поэзии к этому сюжету обращался М. Цетлин (Амари), см. его стихотворение «Поликрат» (Новый дом. 1926. № 2. С. 6). Тема и образы гингеровского «Перстня» (точнее, обоих «Перстней») близки дневниковой записи Б. Поплавского, сделанной 20 декабря 1928 г.: «<...> Но жизнь только потому и трогательна, что бессмертия души не очевидно. Только потому она тогда звенит чисто, как золотая монета, падаемая в море. Ах, этот жест для Поликрата – чистая ложь и порнография. А рыба стихотворения всегда всё приносит в разинутой пасти, все потерянные утра, погибшие вечера, неповторимые ощущения городских поворотов» (Поплавский, *Неизданное*. С. 91). Образы этого стихотворения обыграны

в посвященном Гингеру стихотворении И. Чиннова «Лошади впадают в Каспийское море...» (сб. «Партитура», 1970). *Как лещ, сигая по водопроводу...* – В письме к Присмановой от 7 июня 1947 г. Н. Оцуп писал: «Прошу Вас передать мой дружеский привет Александру Самсоновичу, за поэзией которого я тоже слежу с интересом и доверяем с того дня, когда его “лещ” впервые – в печати – “сиганул по водопроводу”» (РГАЛИ. Ф. 1348. Оп. 7. Ед. хр. 50. Л. 2), а в *Альбом* вписал шутивное стихотворение: «О, Гингер, для искусства мера – / Искусно сделанная вещь, / И равно, скажем для примера, / Присмановская Фигнер Вера, / И твой в водопроводе лещ (Париж, Июль <19>48 г.)». *И вот она ~ раскаявшаяся жена* – это четверостишие приведено в статье К. Мочульского «Молодые поэты», своеобразном отзыве на СсС (ПН. 1929. № 3004, 13 июня. С. 2).

С. 154. **Перстень II**. С. 34–35. Первонач.: ВР. 1928. № 2. С. 28 (без нумерации); в качестве второго стихотворения двухчастного цикла «Перстень» напечатано в I-м вып. СсС: 6. Вместе с предыд. стихотворением «Перстень I» включено в Якорь: 95–96. Вошло в С. См. в коммент. к стихотворению «Верность» отзыв Г. Адамовича на стихи, напечатанные в данном номере ВР.

С. 155. **«И как бы немо иль гугниво...»** С. 36. Первонач.: Ч. 1934. № 10. С. 272 (в составе стихо-афористического коллажа «Орфеи. Перевоз № 12», сложенного из текстов С. Шаршуна и Гингера). Впоследствии Г. Газданов вспоминал:

Наш общий друг Р. как-то сказал ему, – это было давно, в тридцатых годах:

– Гингер, ты помнишь сказку Андерсена о солдате и огниве? Вот взял бы и написал об этом несколько слов. Через два дня, когда мы встретились, Гингер сказал Р.:

– Ты знаешь, я сочинил восемь строк. – И прочел <далее следует приведенный текст> (Газданов 1966: 127).

Стихотворение представляет собой поэтический «пересказ» сказки Г.Х. Андерсена «Огниво». Под названием «Про Андерсена» включено в ОНС.

С. 155. **«Ослиная в руке Самсона челюсть...»** С. 37. Первонач.: СЗ. 1933. № 53. С. 208; вошло в ОНС. *Ослиная в руке Самсона челюсть...* – из рассказа о библейском Самсоне, убившем ослиной челюстью тысячу филистимлян (Суд. 15: 15–17).

С. 156. **Сердце**. С. 38–41. Первонач.: Кр-3: 121–122. Рецензируя Кр-3, Г. Газданов отмечал, что «стихи Гингера несколько отличны от его прежних стихотворений – они стали более “благообразны”, – но он сохранил ту

резкую свою оригинальность, которая всегда была для него характерна» (СЗ. 1939. № 68. С. 481), а В. Андреев (Сергей Осокин) в своем отзыве на *Жиг* в особенности выделял это стихотворение и, приведя из него 9-ю и 11-ю строфы, заключал: «В этом стихотворении, написанном с предельной искренностью, – весь Гингер. Мы не настолько избалованы хорошими стихами, чтобы имели право пройти равнодушно мимо этих строк» (РЗ. 1939. № 18, июнь. С. 195). Вошло в С. Две первые строфы, под названием «Начало стихотворения о церквах», включено в ОНС, где первая строфа выглядит несколько иначе:

Недостойному, мне ли пристало
О высоком, о тайном начать.
Но ведь если душа зашептала,
То и голосу надо кричать.

Острия католической Дамы – Notre-Dame de Paris (Собор Парижской Богоматери). *Мусульманский высокий обычай ~ чистой пятой* – по мусульманскому обычаю, при входе в мечеть необходимо снимать обувь. *Сердце Мира вполне возлюбить* – в письме к С.Ю. Прегель (весна 1965) Гингер пояснял этот образ так: «<...> Сердце мира это так называемый> Бог <...>».

- С. 158. «**Нас поджидает счастье за углом...**» С. 42. Первонач.: Ч. 1934. № 10. С. 272 (в составе коллажа «Орфеи. Перевоз № 12», образовавшегося в результате сложения с текстом С. Шаршуна). В дальнейшем из этого однострофного стихотворения выросло и развилось другое – «Угол» (В). Гингер использовал данное четверостишие в качестве инскрипта на книге *П*, подаренной М.Л. Кантору (хранится в Stanford University, Green Library), см: *Устинов Андрей*. «Надежды символ»: Антология «Якорь» как итог поэзии русской эмиграции // *Якорь: Антология русской зарубежной поэзии* / Под ред. О. Коростелева, Л. Магаротто, А. Устинова. СПб.: Алетейя, 2005. С. 353, п. 67.
- С. 158. **Анне Присмановой**. С. 43. Первонач.: ВР. 1926. № 3. С. 46. Вошло в С («вас» в начальной строке с маленькой буквы). Н. Тагищев считал, что в этом стихотворении поэта постигла неудача (*Тагищев Николай*. Солнце и сердце: О стихах Александра Гингера // *Воз-2*. 1965. № 168. С. 117). См. в коммент. к стихотворению «Утренняя прогулка» отзыв Г. Адамовича на стихи Гингера, помещенные в данном номере ВР.

ВЕСТЬ

Четвертая книга стихов Гингера *В* вышла в парижском издательстве «Рифма» осенью 1956 г. (на обложке 1957)¹. На задней стороне обложки отмечено:

Настоящая книга окончена печатанием 17 октября 1956 года
Imprimerie Berezniak
6 rue de la Pierre-Lever
Paris

Из всех поэтических книжечек Гингера *В* оказалась самой тонкой: в нее вошло всего 12 стихотворений. Ее выход в свет Гингеры отмечали в декабре 1956 г. В письме И. Одоевцевой от 22 декабря 1956 г. Г. Адамович сообщал:

...был на фестивале у Гингеров, по случаю выхода его книги².

Одним из первых на *В* откликнулся Ю. Терапиано³.

С самого начала, вплоть до последних своих стихов, – писал он в своей рецензии, – Гингер никогда не шел по линии наименьшего сопротивления. – Он сознательно избегает гладкописи и ловкости, внешней красивости, всё время борется с самим собой, со словесным материалом.

В нем сочетаются ирония – с какой-то нарочитой небрежностью, скептицизм и лень – с серьезным, иногда возвышенно-религиозным созерцанием. Подбирая порой, как будто намеренно, неуклюжие образы, резонерствуя и как бы нарочно стараясь рассердить читателя, Гингер вдруг дает нам прекрасный образ, острое сочетание слов, переживание высокого духовного порядка – такова, видимо, его излюбленная манера⁴.

Касаясь языковой стороны гингеровской поэзии, критик указывал, что она была все эти годы подвержена спорам, и он сам, Терапиано,

не раз восставал против некоторых его «экспериментов»⁵.

¹ О причине ее долгого непоявления в свет см. во вступительной заметке к переписке Гингера с С.К. Маковским (том II. Письма).

² Если чудо вообще возможно за границей: 493.

³ НРС. 1957. № 15919, 27 янв. С. 2, 8.

⁴ Там же. С. 8.

⁵ Там же.

При этом, добавлял он, Гингер

прекрасно знает русский язык, но иногда почему-то любит явно нестройные «чудаческие» словосочетания: «Бегуны команд четверочленных», «Стоячий дом», «отряд живых смертей с тобой шагает в ногу» и т.п.¹

В заключении рецензии устанавливалась лежащая на поверхности переключка Гингера с Баратынским².

Г. Адамович, который выставлял *В* «пять с плюсом»³, реагировал на нее как на в высшей степени незаурядное событие послевоенной эмигрантской поэзии. Его рецензия «“Весть” – стихи поэта», помещенная в РМ (1957. № 1011, 31 янв. С. 4–5), оказалась самым глубоким и тонким откликом на *В* из всех последовавших (и, похоже, из всего, что писалось о Гингере вообще)⁴. В начале рецензии говорилось о поэтической скупости автора:

В сборнике стихов Александра Гингера всего двенадцать стихотворений, а помечен он годами 1939–1955. Это сначала удивляет: меньше чем по одному стихотворению за год. К такой скупости, к такой осмотрительности наши современные поэты нас не приучили, – наоборот, большинство из них могло бы выпустить книжку за книжкой, будь для этого издательства и средства⁵.

И далее критик переключал разговор в плоскость метода высочайшей сдержанности и требовательности, которым характеризуется послевоенное творчество Гингера:

Нельзя, однако, считать расточительность дарования признаком его богатства и силы. Дело скорее в творческом методе, в отношении к самому себе, в общем взгляде на поэзию. Двенадцать стихотворений Гингера, почти без единого исключения – стихи замечательные, внутренне сжатые, живущие каждое самостоятельной

¹ Там же.

² Там же.

³ Из его письма А. Бахраху от 26 января 1957 г. (Письма Георгия Адамовича А.В. Бахраху (1957–1965) / <Публ. Веры Крейд> // НЖ. 2001. № 225. С. 150).

⁴ Прочитав ее, Гингер написал восхищенное письмо автору, на что тот отвечал в письме от 12 февраля 1957 г.:

«Очень рад, если моя статейка Вас удовлетворила – и так, и сяк. Но я не подозревал, что сочиняю нечто гениальное. По-моему, она – как обычно из-под моего пера, а Вас восхитила, ибо Вы человек суетный и любите комплименты».

⁵ РМ. 1957. № 1011, 31 янв. С. 4.

жизнью, и не случайно при чтении их вспоминается то, что Фет когда-то сказал о маленькой книжке Тютчева: «томов премногих тяжелей». Конечно, по теперешним меркам упоминание о «томах» должно показаться преувеличенным: кто же выпускает теперь «тома» стихов? Но мастерства и своеобразия у Гингера действительно больше, чем во многих сборниках, где на первый поверхностный взгляд благодатно-легкое вдохновение льется через край¹.

Скептически трезвый и умудренный богатым литературным опытом, Адамович, испытывая к гингеровским стихам и к самому их автору нескрываемую симпатию, тем не менее предупреждал:

Не думаю, чтобы стихи Гингера стали когда-нибудь широко популярны. Вероятно, и сам он на это не рассчитывает, да судя по всему складу его поэзии, он этим и мало озабочен. Стихи его не то что трудны, нет: особенного умственного усилия или того, что Вячеслав Иванов называл «поэтическим сотворчеством», они не требуют. Но, несомненно, в основе их лежит возбуждение словесное или на крайность ритмическое, а не какое-либо чувство, со словом не связанное, т.е. возникли они из сочетания звуков, а не из внезапно нахлынувшей грусти или радости, которую поэт затем иллюстрирует образами. «Дьявольская разница», можно было бы в данном случае процитировать Пушкина. Придётся по душе стихи Гингера преимущественно тем, кто оценит самый словесный состав их, оригинальную, крепкую и органически убедительную материальную их сущность, и лишь после этого полюбопытствует, каким отношением к миру и жизни они внушены. Добавлю сразу, что ничего общего с фокусничеством, с пустой, выхолощенной виртуозностью стихи Гингера не имеют. В них есть то, что мы называем содержанием – и что иначе назвать нельзя. Но это содержание не декларативно, не голословно, а претворено в самой плоти поэзии и от нее неотделимо².

Развивая далее данную мысль – словесной содержательности гингеровской поэзии, – Адамович именно в этом видел и поощрял основное достоинство рецензируемых стихов:

Стихи Гингера в высшей степени «литературны» и далеки от фетовского стремления «сказаться без слов». На дневник или на

¹ Там же.

² Там же.

исповедь они не похожи нисколько. Сердечных излияний в них не найти. Они не продолжают одно другое, а каждое само собой ограничено и в себе закончено. В них чувствуется стоическое сопротивление тому разложению искусства, тому пренебрежению к его установившимся формам ради каких-то высших, прекрасных, но почти неуловимых целей, которое так характерно для наших дней. Пишу я об этом не в похвалу Гингеру, как и не в осуждение тем, кто склонен в поэзии к другой линии: в данном случае я лишь «констатирую факт», а если Гингер похвалы и заслуживает, то не по самой своей творческой позе (т.е. «аттитюд»), а по твердости, спокойному достоинству и мужеству, которые в каждой его строчке отражены и поэтически воплощены. Всякая поза допустима, всякая может оказаться законной, и решающее значение имеет не первоначальный выбор, а конечное его оправдание¹.

Ища литературных учителей Гингера (точнее, определяя, кому понравились бы его стихи), Адамович называет имя Гумилева (и в противовес ему – кому они не понравились бы – говорит о Блоке). Оговариваясь, что «может быть, Гумилева удивил бы несколько архаический, с реминисценциями из Державина, стиль Гингера», автор рецензии развивает далее эту важнейшую сторону гингеровской поэтики:

Архаизмы Гингера – едва ли явление случайное. Когда-то он вместе с покойным Поплавским увлекался течениями футуристическими, но не в пример Поплавскому воспринял от футуризма отталкивание от романтической мечтательности, чувствительности и простодушных жалоб на жизненные невзгоды. С годами это усложнилось. Представление о творчестве нашло поддержку в общем «мироощущении» поэта. Опыт подсказал, что обычный «строгий» стих, хваленый «кованый» ямб на брюсовский лад и всё прочее в том же роде – в большинстве случаев псевдо-строгость, псевдокованость, готовая превратиться в труху при малейшем дуновении свежего ветерка. Отсюда, вероятно, и возникла стилистическая тяга к восемнадцатому веку, тем более естественная, что духовной цельности, Гингеру близкой и нужной, в смятениях и смущениях века девятнадцатого никак было не найти, – ну а подражать Пушкину... не знаю, как кончить фразу, не обижая людей, которые тешат себя иллюзией, что они по-пушкинскому пути идут: на деле это занятие может быть и невинное, но к поэзии имеющее мало отношения. Пушкину подражать, а в особенности Пушкина продолжать нельзя

¹ Там же. С. 5.

иначе как «изнутри», и может это привести, пожалуй, к тому, что стихи, написанные в другую эпоху, окажутся с формальной точки зрения на пушкинские нисколько не похожи¹.

Демонстрируя «антибудничный, антикомнатный, антиобывательский» склад стихов Гингера, Адамович целиком приводил в своей рецензии стихотворение «Весть», которое дало название всему сборнику.

В рецензии Ю. Иваска говорилось о том, что,

казалось бы, столь далекий от суеты и всяких вообще «торжищ», Гингер неожиданно что-то в послевоенных настроениях, в «духовной ситуации» эпохи уловил².

И, раскрывая это самое «что-то», рецензент ссылаясь на «очень традиционную, почти шаблонную строку» из стихотворения «Сестры» – «Ты знаешь, мы в бреду, и всё – туман и страх...»

Это «перепев», – писал, комментируя ее, Иваск, – старых русско-парижских мелодий. Тем разительнее следующие замечательные строки:

Но празднуй всем богам за то, что ты не болен,
Что ты еще здоров, еще свободоволен
И к небесам взлетать и опускаться в прах.

«Стихотворение это, – замечал он, – помечено 1948 годом», – и далее следующим образом определял настроения эпохи, «уловленные» гингеровской поэзией:

После I Мировой войны наступило разочарование, ибо действительность 20-х гг. обманула все романтические ожидания. Перед II Мировой войной и в годы этой войны почти никто «хорошего конца» не предвидел. Многие из оставшихся в живых в 1945 году изумились, что мир не погиб, еще не погиб, что еще что-то осталось, хотя бы и руины. К тому же вскоре «нависла угроза» III Мировой войны. И вот «рассудку вопреки, наперекор стихиям», разложенным стихиям атомной эпохи – кое-кто неожиданно решил творчески «принять» не Бог весть какое настоящее, ибо иллюзии, связанные с наступлением лучшего будущего, исчезли, а у многих

¹ Там же.

² Оп. 1957. Кн. 8. С. 135.

их и не было. Да, да, как это ни странно – «ты еще здоров, еще свободоволен»!.. И не есть ли это изумление, преисполненное благодарности, – «залог» будущего, которое окажется лучшим, чем можно было ожидать¹.

В целом положительно был принят сборник Гингера рецензентом Воз-2 В.А. Рудинским (рецензия подписана инициалами В.Р.), который, касаясь одновременно с этим его недостатков, отмечал, что

в очень многих местах у него <автора> размер и рифма, по небрежности ли, умышленно ли, хромают, что гласные нагромождены иногда так, что читать некоторые строфы вслух тяжело, они режут слух своими диссонансами и дисгармонией. Даже хуже того, метафоры иногда темны и трудны для понимания. Может быть, оттого отдельные завершенные вещи оставляют ощущение бессодержательности и незначительности. До известной степени оно объясняется тем, что Гингер скорее принадлежит к школе Баратынского, к типу поэтов, более гонящихся за глубиной мысли, чем за мелодичностью. Но мы полагаем, его произведения сильно бы выиграли, если бы он приложил больше старания к отделке их формы, к приданию ей красоты и пластичности².

И далее указывалось на неудопроизносимость – из-за отсутствия «правильного» метрического ударения – строчки «неверующих или верующих» в стихотворении «Утро»³, «лубочного всадника» в стихотворении «Имя», «где тоже надо переместить ударение, чтобы не расстроить размера», а двустипшие «Соблазнительная неуместность / Нарциссического бытия» представлялось критику сверхнагрузочным для органов речи, «где притом наукообразный психиатрический термин звучит крайне антипоэтически»⁴.

При желании, — завершалась рецензия, — таких шершавых, иногда и корявых отрывков можно «надергать» порядочно. Это не мешает тому, что наряду с ними есть по-настоящему художественные, яркие и запоминающиеся стихи. Будем надеяться, что когда-нибудь Гингер издаст сборник, где все стихотворения будут именно на таком уровне!⁵

¹ Там же. С. 135–136.

² Воз-2. 1957. № 66. С. 130–131.

³ О том же писал Гингеру Н. Оболенский, см. его письмо от 15 декабря 1956 г.

⁴ Воз-2. 1957. № 66. С. 131.

⁵ Там же.

«Тон стихов А. Гингера отличается заметно от общего тона поэтов русского зарубежья», – утверждалось в рецензии Ю. Трубецкого (Нольдена-Меньшикова). И далее ее автор, принадлежавший к эмигрантам «второй волны», проявля известную осведомленность о довоенном творчестве поэта, рассуждал о его отношении к сюрреализму и к русской поэтической традиции:

Если покойный Б. Поплавский периода «Флагов» был сюрреалистом, с его смысловой и семантической невнятицей и путаницей (кстати, высокоталантливой путаницей), то стихи А. Гингера никак не укладываются в понятие сюрреализма. Какое-то тайное сродство с Хлебниковым, даже с Пастернаком. Извилистая линия, идущая Бог весть откуда. Но никак не пушкинская сияющая легкость.

Как жарок ворох роз приснопрекрасных...

Может быть, это наследие Вяч. Иванова, а может быть, давно забытого футуриста-«речаря» Григория Петникова? Рифмы у А. Гингера порой изысканны, порой очень просты. Вероятно, дело тут не в пресловутом формализме, а в чем-то ином. Над жизненными явлениями надо произвести некий магический опыт, дабы их превратить в искусство, в поэзию. Отсюда – поэт ответственен, но никогда не платит по выданным векселям. Труднопонимаемые стихи еще в большей мере неоплатный вексель. Но быть только зеркалом, мертвой стеклянной пластинкой, задача слишком легкая. А Гингер как будто отбросил свои словесные эксперименты, занимавшие столь видное место в книгах «Свора верных», «Преданность», «Жалоба и торжество». Начинается ли новый период творчества или это только извилина?¹

Отклики на *В* содержит ряд писем литераторов-эмигрантов к Гингеру, которые приводятся в томе II. Письма: Б. Божнева, Г. Струве, Э. Райса, В. Мамченко, М. Талова.

С. 159. **Шар**. С. 9. Первонач.: Оп. 1956. № 6. С. 3 (с разделением на четверостишия); печ. в Гр. 1959. № 44. С. 35; включено в Музу Диаспоры: 131. Полностью приведено в рецензии В. Рудинского (см. выше) как лучшее, по его мнению, стихотворение сборника. После публикации этого стихотворения в Оп Г. Адамович (который и советовал туда обратиться, см. его письмо Гингеру от 2 мая 1953 г. – Письма Адамовича: 265) писал 15 мая

¹ НЖ. 1957. № 50. С. 286.

1956 г. редактору журнала Ю. Иваску: «И еще мне очень нравятся стихи Гингера» (Сто писем Георгия Адамовича к Юрию Иваску (1935–1961) / Предисл., публ. и коммент. Н.А. Богомолова // Диаспора: Новые материалы <Вып.> V. Париж; СПб.: Athenaeum–Феникс, 2003. С. 481). Вошло в С. Ср. привязанность к шарам Аполлона Безобразова, главного героя одноименного романа Б. Поплавского. *О том чтоб не заснуть ~ не забыть снами* – В письме от 5 мая 1956 г. Адамович писал Гингеру: «Дорогой друг и плагиатор (последнее относится к тому, что, получив гранки «Опытов», с возмущением отметил произведенное у меня воровство. А стихи очень хорошие <...> Ваши две строчки лучше моих)» (Письма Адамовича: 282). Адамович, судя по всему, имел в виду заключительные строчки своего стихотворения «Осенним вечером, в гостинице вдвоем...» (впервые: СЗ. 1928. № 37. С. 232):

О том, что мы умрем. О том, что мы живем.

О том, как страшно всё. И как непоправимо.

С. 159. **Весть**. С. 10–11. Первонач.: РН. 1948. № 139, 30 янв. С. 4. Вместе со стихотворениями «Жалоба и торжество» и «Факел» включено в На Западе: 115, в связи с чем Гингер в письме к В. Булич (февраль 1954) писал:

Несуразности Иваска меня не удивляют; я послал ему для выбора 9 послевоенных стихотворений, а он взял из них только «Весть», которое хуже многих других, да и то после долгих колебаний: сперва он хотел ограничиться «Жалобой и торжеством» (1922), которое было в антологии «Якорь», и «Факелом» (1939), которое было в антологии «Эстафета». Так что я лично совсем не доволен.

Вошло в С. Приведено вместе со стихотворением «Доверие» как приложение к некрологической статье Г. Адамовича «Об Александре Гингере» (Мс. 1966. № 12. С. 269) со ссылкой на С. *Дела, отчаянья и розни ~ сердцем подойти* – см. письмо Гингера В. Корвин-Пиотровскому (№ 9, от 22 декабря 1948).

С. 160. **Газелла**. С. 12. Вошло в С. *Газелла (газель, газаль)* – вид лирического стихотворения в персидской, арабской и тюркоязычной поэзии: обычно состоит из 12–15 бейтов (двустихий), причем рифма первой строки повторяется во всех остальных строках (или какое-то слово [вариант: группа слов] повторяется в неизменной форме в конце стихотворной строки, что носит название редифа). В письме к Присмановой от 3 октября 1953 г. Г. Адамович делился следующими соображениями по поводу этого стихотворения:

«Газелла» – тоже хороша <до этого он вел разговор о «Тибетской песне», см. далее>. Но (простите за еще «но»), по-моему, предпоследняя строфа сильнее последней, и было бы неплохо на ней кончить. <...> Мне очень нравятся полу-повторения: не понимает ничего и дальше – не вспоминает ничего. И форма газеллы очень тут подходит, будто писал эти стихи какой-то бессмертный Саади или Гафиз в раздумии о бессмыслице жизни, что-то очень персидское и хризантемное. А не лучше вместо «ах!» сказать просто «но» – в особенности если этим и кончить? «Ах» очень уж стилизовано, вроде Кузмина, а «но» – как приговор, точка и конец <...> Кажется, в газелле полагается именно 7 строф? Не помню. Но есть же и сонеты в 13 строк (Письма Адамовича: 268–269).

С. 160. **Факел.** С. 13–17. Первонач.: РЗ. 1939. № 16, апр. С. 59–61 (без заглавия); включено в Эстафету: 29–31 (получившую название по образу, содержащемуся в этом стихотворении, из него же взят эпиграф) и На Западе: 112–114, а также в кн.: Вне России: Антология эмигрантской поэзии 1917–1975 / Ed. H.W. Tjalsma. München: Wilhelm Fink Verlag, 1979. С. 113. Вошло в С. Об изменениях в тексте этого стихотворения при его подготовке к публикации в РЗ, планируемых и реальных, см. в письмах Гингера М. Вишняку (№№ 2, 3 и 4). Рецензируя Эстафету, А. Даманская писала:

А. Гингер, превосходная поэма которого «Факел» – повторяющимся в ней словом «эстафета» – дала название сборнику, знает, что, преодолевая страшное тягло материи, каменный гнет действительности, он должен выполнить данное ему задание – донести «факел» до цели, до момента, когда можно будет уйти туда, откуда нет возврата, но лишь «отдавши эстафету новым слугам прелести земной» (Даманская А. «Эстафета» // Нов. 1949. № 39–41. С. 205).

«Некоторым его <Гингера> порывам нельзя внимать равнодушно», – отмечал, обозревая послевоенную эмигрантскую поэзию, Ю. Иваск и приводил в качестве иллюстрации первую строфу из этого стихотворения (Иваск Ю. О послевоенной эмигрантской поэзии // НЖ. 1950. № 23. С. 205). По утверждению В. Сосинского, создавая это стихотворение, Гингер думал о Б. Поплавском-спортсмене (Сосинский Владимир. Конурка // Вопросы литературы. 1991. № 6. С. 184). ...*бегуны команд четверочленных...* – В. Сосинский полагал, что данная четверка, в представлении Гингера, состояла из него самого, В. Андреева, Б. Поплавского и Б. Божнева (Сосинский Владимир. Конурка. С. 192). Вполне вероятно, что образ думающей «о славе групповой» «команды четверочленных»

строился Гингером в противопоставлении с «командой слабосильной» из стихотворения «Слезы» (П). *Все мы гости ~ воротимся домой* – ср. в стихотворении Гингера «Сырая мать. Ее нельзя любить...» (ЖИТ):

Сюда, мой голый червь, хозяин скромный мой!
Во славу вящую земли непобедимой
Питайся мной, веди меня домой.
Так сделаться землей родимой.

Век хочу исполнить Тицианов ~ здешних лет – Считается, что итальянский живописец эпохи Возрождения Тициан Вечеллио (1466/77? или 1480-е гг. – 1576) прожил около 100 лет.

- С. 163. **Имя.** С. 18–21. Первонач.: Советский патриот. 1945. № 31, 26 мая. С. 3. В первопубликации 5-я строфа открывалась иным двустушием: «Честный воин других защищает, / Честный воин врагами убит»; в 8-й строфе во втором стихе было: «Узкоплечий воздушный герой». Включено в Эстафету: 31–32. Посылая автограф этого стихотворения своему близкому приятелю С. Карскому, Гингер писал ему в недатированном письме, относящемся, судя по всему, к первой половине 1940 г. (написано на почтовой бумаге Société de Produits Chimiques des Terres Rares (67, rue de Promy, Paris XVII-e); в оригинале по-французски; хранятся в семейном архиве М. Карского):

Дорогой друг

Я шлю тебе небольшое стихотворение, писавшееся главным образом во время моих поездок в метро. Поскольку в нем много патетики, мои глаза, когда я его создавал, заволакивали слезы, и пассажиры, что сидели рядом, должно быть, воспринимали меня как больного или меланхолика.

Меня еще не мобилизовали <т.е. не призвали во французскую армию>.

Твой Гингер

В бумагах В. Корвин-Пиотровского сохранилось письмо Гингера, судя по всему, адресованное в газету «Советский патриот» (Beinecke Rare and Manuscript Library (Yale University). Vladimir Korvin-Piotrovskii Papers. Gen MSS 598. Box. 1. Folder 42):

Примечания для наборщика и для корректора

Очень вас прошу обратить внимание, что в строке «В небеси совершенныя славы» так и надо набрать, потому что это старинная

форма и она не меняется по новой орфографии. Вообще я очень прошу ничего не менять, в том числе и знаки препинания.

Заранее благодарный Александр Гингер

...нарциссического бытия – Ср. в воспоминаниях Г. Газданова, впервые публикующихся в настоящем издании (Приложение I):

Несколько раз случалось так, что я приходил к Гингеру и заставлял его перед зеркалом, он долго рассматривал свое лицо. – Гингер, Вы страдаете нарциссизмом. Неужели Вам приятно смотреть на себя в зеркало <?> – Ах, я знаю, – говорил Гингер, Вы скажете, что я некрасив. А это неправда, я нахожу, что недурен собой, и Вы просто мне завидуете.

Не солдат, кто других убивает ~ другими убит – ср. в стихотворении Присмановой «Настоящий воитель является пушечным мясом...» (1935) (сб. Тень и тело, 1937). *Воспаленный чахоточным жаром ~ герой!* – Речь идет о легендарном летчике-асе Жорже Мариа Людовике Жуле Гинемере (Georges Marie Ludovic Jules Guynemer; 1894–1917), национальном герое Франции, кавалере Ордена Почетного Легиона. Обладая далеко не героической внешностью – небольшого роста, к тому же больной туберкулезом, он, однако, в годы I-й мировой войны проявлял в воздушных боях подлинные чудеса героизма; погиб в воздушном бою в небе над Западной Фландрией. *Вдоль сухого латинского сада ~ улицы, есть* – rue Guynemer тянется вдоль западной стороны Люксембургского сада.

С. 164. **Угол.** С. 22–23. Первонач.: НЖ. 1956. № 46. С. 49; печ. в Гр. 1959. № 44. С. 35–36; включено в Музу Диаспоры: 132. Вошло в С. В «свернутом» виде образная тема этого стихотворения изложена в четверостишии «Нас поджидает счастье за углом...», включенном в *ЖиТ*.

С. 165. **Утро.** С. 24–25. Вошло в С. Б. Божнев в письме к Гингеру от 2 декабря 1956 г., высоко в целом оценивая *В*, писал об «Утре» (полностью – в томе II. Письма):

Седмижды согласен со всем – только самым решительным образом протестую против

Теките сутки – –

Не выношу я этой мокроты – особенно в классическом стиле.

Тем более что дальше имеется – «котел» – но «сухой», конечно, выпранный котел, а не «солдатский котел» с варевом и сей котел Вы прекрасно поставили в классическом стиле – а теките сутки – – –

И еще в конце – как раз у меня именно «напльв недоумений» получается из-за *сознательного* ума.

Конечно, тут «вершина» – афоризм, à la чистейший Боратынский – и произнесено очень хорошо – но закавыка то в том, что сознательный ум должен проявить себя *в груди*.

Это – чересчур! Хотя это совершенно правильно анатомически – наплыв недоумений ощущается утром – от 7 до 8.25 *внизу* груди – вот здесь – но сознательный ум довольно далек от этого жеста – и оттого ему редко удается наплыв недоумений остановить.

...*неверующих или верующих* – об этой «спотыкающейся» строчке см. выше, во вступительной заметке.

- С. 166. **Доверие**. С. 26–27. Первонач.: Нов. 1945. № 21. С. 25. В журнальном варианте в последней строфе, 3-й стих: «обереги»; печ. в Гр. 1959. № 44. С. 36; включено в Эстафету: 33 и Музу Диаспоры: 133. В рецензии на Эстафету Ю. Терапиано писал: «Как всегда серьезен и своеобразен А. Гингер. Отмечу особо его прекрасное стихотворение “Доверие”, посвященное Св. Терезе Малой» (*Терапиано Ю. «Эстафета» // НРС. 1948. № 13281, 5 сент. С. 8*), а рисуя портрет фаталиста Гингера, утверждал, что если бы тот, «следуя своему влечению к Терезе и к Святому Иоанну Креста, богословские труды и стихи которого он изучал с увлечением, принял бы католичество, – это никого бы из его литературных коллег не удивило» (*Терапиано Юрий. Литературная жизнь русского Парижа за полвека (1924–1974): Эссе, воспоминания, статьи. Париж; Нью-Йорк: Альбатрос–Третья волна, 1987. С. 231*). Вошло в С («вестью новой» в 3-й строфе выделено курсивом). Приведено вместе со стихотворением «Весть» как приложение к некрологической статье Г. Адамовича «Об Александре Гингере» (Мс. 1966. № 12. С. 269) со ссылкой на С. Посвящено монахини кармелитского монастыря во французском городе Лизье Терезе (Marie Françoise Thérèse Martin) (1873–1897), умершей от туберкулеза в возрасте 24 лет, канонизированной и причисленной к лику святых (1925); культ «маленькой Терезы» в русской эмиграции активно проповедовался четой Мережковских: Д. Мережковскому принадлежит роман «Маленькая Тереза», к ней обращены стихи З. Гиппиус, см. об этом в кн.: *Мережковский Дмитрий. Маленькая Тереза / Под ред., со вступ. ст. и коммент. Темиры Пахмусс. Эрмитаж, 1984*. Ее культ отразился в романе Б. Поплавского «Аполлон Безобразов», героиня которого, Вера-Тереза, представляет собой несомненную проекцию образа святой мученицы. Поплавский, как известно, задумывал роман, который должен был стать составной частью трилогии (помимо «Аполлона Безобразова» и «Домой с небес») и называться «Апокалипсис Терезы». ...*но ты, чахоточная королева ~ властно отврати* – О том, что его «святая Тереза охраняет», в годы оккупации немцами Парижа Гингер говорил Н. Берберовой (этот фрагмент из ее

мемуаров приведен во вступительной статье), ср. еще в воспоминаниях Н. Татищева о Гингере (*Татищев Николай*. Солнце и сердце: О стихах Александра Гингера // *Воз-2*. 1965. № 168. С. 118–119).

С. 167. **Светит месяц**. С. 28–29. Первонач.: РН. 1947. № 96, 4 апр. С. 6 (без названия и с эпиграфом: «Дочь моя живет в Лизгоре». Пушкин); печ. в Гр. 1959. № 44. С. 36; включено в Эстафету: 34 и Музу Диаспоры: 134. Вошло в С. Стихотворение обрамлено цитатой из «Песен западных славян» Пушкина («Похоронная песня Иакинфа Маглановича»). В рецензии на С, куда вошло это стихотворение, Ю. Терапиано писал о мастерском вкраплении Гингером в свой текст пушкинской цитаты (*Терапиано Ю.* Новые книги // РМ. 1965. № 2344, 7 авг. С. 7).

С. 167. **Сестра**. С. 30–31. Первонач.: Нов. 1949. № 39–41. С. 35. Вошло в С. В письме к В. Булич, которая была больна раком, Гингер писал (февраль 1954):

Дорогая Вера Сергеевна! Благодарю Вас за мужественное отношение к Вашей болезни. Я считаю Вас примером для себя и образцом. Я часто думал об этой болезни, которая живет с кажущимся здоровым человеком и уже проецируется из будущего в настоящее («болезнь предвзятая»); я написал об этом стихотворение «Сестра» <...>.

Спустя десять лет, сам заболев неизлечимой болезнью, Гингер читал это стихотворение А. Бахраху, который впоследствии вспоминал:

Как трагически в его устах звучало полное предчувствий стихотворение, которое он непременно хотел прочесть мне, хотя я его хорошо знал – оно было написано задолго до того, как его болезнь стала реальностью. Правда, без этих строк, которые Гингер озаглавил «Сестра», его образ был бы неполон (Бахрах 1980: 144).

С. 168. **Зрение**. С. 32–33. Первонач.: Нов. 1950. № 42–44. С. 89. Вошло в С. О заключительной строфе см. в письме Гингера В.Л. Корвин-Пиотровскому от 22 декабря 1948 г.; версию 2-й и 5-й строф см. в письме Н.Д. Татищева Гингеру от 14 января 1949 г.

С. 169. **Тибетская песня**. С. 34–35. Первонач.: НЖ. 1956. № 47. С. 92. Вошло в С. Стихотворение приведено целиком в заключении мемуарного очерка К. Померанцева «Александр Самсонович Гингер» (Померанцев: 60), считавшего его одним из лучших стихотворений поэта, «наиболее полно характеризующих его внутреннюю сущность». В письме к Присмановой от 3 октября 1953 г. Адамович писал:

«Тибетская песня» восхитительно-гингеровски-своеобразна. Но мне не нравится рифма: «нетенистой – каменистой». При всякой изощренности Вашего жанра *s'est un peu facile*¹, т.е., собственно, дело в «нетенистой», которая как-то выпирается (а вот та же *facilité*² «жившим и положившим» ничего, вполне приемлема, по-моему). Затем, почему «песня» в названии? Или это надо именно наоборот понимать? Тут, скорей, заклинания, гимн, на крайность, «дума», но ничего песенного (Письма Адамовича: 268).

Та же высокая оценка стихотворения звучит в письме Б. Божнева автору № 26:

Стихи *Ваши* – подлинные, прекрасные, достойные лучшего *А. Гингера*, лучших камней *его* воздвижения, которые *он* приложил к трудам поэзии русской.

См. также в письмах Б. Божнева Гингеру и Присмановой (№№ 28 и 29), где он несколько раз возвращается к этому стихотворению («Шлю привет Гингеру Александру Самсоновичу, который сам себя на тибетские диалекты переводит», «старожил тибетский» и пр.).

ИЗ КНИГИ «СЕРДЦЕ»

Итоговый сборник Гингера *С*, имеющий подзаголовок «Стихи 1917–1964», увидел свет в Париже в августе 1965 г., за несколько недель до смерти автора. Книга была посвящена

памяти двух женщин, к которым применимы слова Рамакришны: Мужчина не может осуществить себя, если у него не было замечательной матери и замечательной жены.

Хотя в заключительной книге стихов Гингера собственно новых текстов, написанных после выхода *В*, не было и практически все они были в свое время опубликованы и известны, поэт проявлял завидную энергию для того, чтобы увидеть *С* вышедшим в свет. Для него, относившегося до этого почти бесстрастно к появлению стихов в печати, издание итогового сборника, поистине «лебединой песни», приобрело символический, сакральный смысл. Г. Газданов писал в некрологическом очерке, что Гингер

¹ это слишком облегченно (*фр.*).

² легкость (*фр.*).

лучше чем кто-нибудь знал, что ему остается мало времени до перехода в иной мир, – перехода, которого он ждал со своим обычным спокойным мужеством¹.

Эффект встречи читателя с новым «старым знакомцем», когда известные стихи, в условиях «избранности» и «итоговости» – отбора, расположения и возникающим на этой основе неожиданным композиционным и смысловым связям-отношениям и пр. – приобретали некую новизну, выразил А. Бахрах, который в письме к автору от 15 августа 1965 г., благодаря того за присылку экземпляров *C*, писал:

Несмотря на то, что большинство «писес», как говаривал Ходасевич, мне были давно известны, я теперь читал их как-то по-новому и убедился, что они бесповоротно выдержали испытание временем².

Подготовка *C* к печати происходила по предварительной подписке – по принятой и широко распространенной в эмиграции форме: собранная в результате подписки сумма давала автору возможность погасить издательско-типографские расходы. Значительную помощь и поддержку Гингеру, как финансовую, так и менее важную – моральную, оказала С.Ю. Прегель. В письмах к ней, которые публикуются в настоящем издании, Гингер не устает повторять слова признательности и благодарности «за самоотверженность и самозабвенность», во многом благодаря которым сборник увидел свет.

Ю. Терапиано, отмечая в отзыве на *C*³, что, «к сожалению, не всё, что нужно было бы выделить из прежних книг Александра Гингера, вошло в

¹ Газданов 1966: 126.

² Полностью приведено в томе II. Письма.

³ Еще до появления отзыва в печати Терапиано писал В.Ф. Маркову 31 июля 1965 г. (некоторые фразы из его письма повторяют то, что говорилось в отзыве):

Вышла недавно книга А. Гингера «Сердце».

Сам Гингер умирает от рака у себя дома после бесплодного пребывания в госпитале.

Я сейчас же написал о «С<ердце>», чтобы доставить ему последнее удовольствие...

Но в книге есть много хорошего и своеобразного, так что это вовсе не отзыв «par complaisance» (дружеская).

Гингер не умел и не хотел лезть вперед <...>, но был поэтом для немногих. Кое в чем, конечно, например в его опытах с архаическими словами, я не согласен с ним, но и это порой интересно (Если чудо вообще возможно за границей: 347).

этот сборник», тем не менее отдавал должное тому, как он составлен – «прекрасно и цельно».

Стихотворения разных лет объединены общим лирическим «дыханием», композиционной стройностью и формальной манерой, – подчеркивал он¹.

Критик, знавший автора С на протяжении 40 лет («мы были добрыми коллегами»), для кого многие его человеческие и творческие тайны были близкой «литературной средой», а поэтическая манера – заключавшей внят-ные конвенциональные знаки и образы, и который поэтому мог оценить ее далеко не всем открывающуюся ценность, писал:

Быть поэтом для немногих, не стараться вызывать к себе сочувствия и любви читателей избитыми способами – сентиментальностью, воспоминаниями о дореволюционном Царском Селе и Петербурге или гражданско-политическими декларациями, быть точным, сухим и сдержанным – неблагодарный и трудный путь.

Большинство читателей ждет от поэта именно таких стихов: а меньшинство – прислушивается к словам уединенных мечтателей, к числу которых принадлежит и Александр Гингер².

В чем же находил Терапиано новизну и неизбежность гингеровских поэтических выборов и предпочтений?

Он сознательно избегает шаблонов, – указывал рецензент, – борется со словесным материалом, старается по-своему повернуть и преобразить его.

Соединение классической линии с новейшей (французская поэзия во главе с Гийомом Аполлинером и сюрреалистами оказала свое влияние на русских поэтов начала двадцатых годов в Париже) – одна из находок Александра Гингера еще в 1922 году.

Он любит порой соединять старинные слова или отжившие глагольные формы с современными, как бы не замечая этого, мимоходом, или изобретает сам нарочито тяжелые, трудные словосочетания, как, например, «Бегуны команд четверочленных», но тут же дает волю и пленительному поэтическому образу и звучащему напеву, той самой «музыке», которую так любил молодой Борис Плавский, считавший Александра Гингера своим учителем <...>³

¹ Терапиано Ю. Новые книги // РМ. 1965. № 2344, 7 авг. С. 6.

² Там же.

³ Там же.

Завершая отклик на сборник Гингера его стихотворением «Факел», одним из самых известных и популярных в послевоенной литературе эмиграции, «откуда взято заглавие антологии зарубежной поэзии “Эстафета”, вышедшей в сороковых годах», Терапиано резюмировал:

Сборник «Сердце» действительно передает эстафету будущим поэтам¹.

Свой отзыв на С. О. Кожевникова (подписан инициалами О.К.) начала так:

Александр Гингер – одно из наиболее подлинных дарований среди поэтов парижской школы. Только что вышедшая книга его стихов значительна и оставляет след в душе².

Критик выделял в книге два, на ее взгляд, образующих ее течения:

Одно – радостное ощущение жизни, полуязыческое счастье бытия, любование миром <...>. Другое течение: провидение грядущего, но не трагическое провидение библейских пророков, а светлая вера в будущее, в сохранение поэтического факела, в победу над смертью³.

Через три номера в той же газете был опубликован написанный ею некролог Гингера⁴.

Известное внимание С. уделил Г. Адамович в некрологическом очерке, посвященном памяти Гингера. Эта статья одного из крупнейших и авторитетнейших критиков эмиграции была лишена и тени той бездумно-панегирической апологетики, которая нередко слышится в панихидных речах над свежей могилой и грешит как бы неизбежным и, возможно, отчасти – по ритуалу – оправданно-объяснимым гиперболизмом. В данном случае автор «последнего слова», обращенного к ушедшему Гингеру, держался более чем достойно и довершил свою «речь» критической эскападой, дабы не лице-

¹ Там же. С. 7. В письме к А. Бахраху от 15 августа 1965 г. Г. Адамович, касаясь этой рецензии, замечал, что Терапиано хорошо отозвался о сборнике.

«Об этом, – сообщал он, – его просила Прегельша, и потом писала мне, что Г<ингер> плакал, когда она ему статью читала. Это свидетельствует больше всего другого о его состоянии» (Письма Георгия Адамовича А.В. Бахраху (1957–1965) / <Публ. Веры Крейд> // НЖ. 2001. № 225. С. 174).

² РН. 1965. № 1053, 20 авг. С. 7.

³ Там же.

⁴ См.: Кожевникова О. А. Гингер // РН. 1965. № 1056, 10 сент. С. 6.

мерить в угоду некрологическому жанру, а беседовать с покойным поэтом как с живым:

Замечательная книжка... – говорилось о С, – с одной оговоркой, конечно, которую я делаю по любви и великому уважению к Гингеру, чтобы не осталось недомолвок и после смерти. К чему эти архаизмы, к чему навязчивая литературность стихов, подчас граничащая с той же манерностью, о которой я уже упоминал? Какие крепкие стихи, как умело, ладно, ловко, мастерски они сработаны! Но если бы попроще, поразговорнее, посерее, побледнее были бы слова, – разве не убедительнее был бы их взлет, всё то вообще, что в них рвется к небу, к «отцу моему солнцу», по гингеровской строчке, к преодолению смерти? «Служенье Муз не терпит суеты». Впрочем, чем дольше живешь, чем настойчивее в попытки «служения» вдумываешься, тем растерянее спрашиваешь себя, что же в конце концов оно «терпит», с чем уживается, не искажая, не унижая, не предавая себя! Если бы Гингер мне сейчас позвонил, я бы, держа «Сердце» в руках, именно об этом с ним и заговорил. Но рассказ продолжается даже и без ответа собеседника¹.

С получило высокую оценку в среде эмигрантских поэтов и литераторов, см. многочисленные поздравительные и благодарственные письма в связи с выходом сборника, включенные в настоящее издание².

Поскольку стихи, составившие С, прокомментированы ранее, в данный раздел включены лишь два стихотворения – «Корабли» и «Кровать», не вошедшие в предыдущие сборники поэта.

С. 170. **Корабли.** С. 14–15. Первоначально и – крайне редкий случай для Гингера! – без заглавия и в несколько иной редакции было напечатано в 5-м выпуске СсС (1931. С. 12–13) как 2-я часть двухчастного цикла «Star-Spangled» (1-ю часть, стихотворение «Всё в Америке не так, как в Европе», см. в разделе «Не вошедшее в книги»). В первоначальном варианте, датированном 1928 г., отсутствовали 3-я, 6-я и 7-я строфы, однако стихотворение завершалось двустишием, которого нет в книжном тексте: «Но постой: Америка иная / Терпеливо очереди ждет»; первый стих 4-й строфы: «К жизни новой уходили, новой...», последний стих 8-й: «Молоток строителя, стучи», первый стих заключительной: «От суда помещиков

¹ *Адамович Георгий.* Об Александре Гингере // Мс. 1966. № 12. С. 267–268.

² Четыре таких письма – от А. Горской, Д. Кленовского, Г. Кузнецовой и К. Померанцева – опубликованы в кн.: Дальние берега: Портреты писателей эмиграции / Сост., авт. предисл. и коммент. В. Крейд. М.: Республика, 1994. С. 375–377.

веселых...». В рецензии на данный выпуск СсС Н. Оцуп писал, что «очень интересен А. Гингер, всегда верный себе, но, кажется, слишком рано и слишком бесповоротно себя нашедший», и далее отмечал имеющийся у него и Б. Поплавского собственный стиль (Ч. 1931. № 5. С. 230). Автор другой рецензии на тот же сборник, П. Пильский, находил, что «у Алекс. Гингера – напряженность, старательность. Нехороши “атлетические богачи”. Плохо сказано: “Там восторгнут (?) факела румянец” или “Уплывает стадо переселов на другую сторону Воды”» (П<ильский П.>. Книга. О 8 поэтессах, 11 поэтах и 3 прозаиках // Сегодня. 1931. № 178, 30 июня. С. 8). То, что, однако, пришлось не по вкусу маститому критику, вызвало восхищение у гингеровских сверстников, см. публикуемое в настоящем издании письмо к нему Е.Б. Сосинского.

- С. 171. **Кровать**. С. 64. Печ. в НЖ. 1965. № 80. С. 74. В рецензии на данный номер НЖ Г. Аронсон отмечал философский мотив этого стихотворения (Аронсон Г. «Новый журнал», книги 80 и 81 // НРС. 1966, 30 янв.).

НЕ ВОШЕДШЕЕ В КНИГИ

- С. 172. **Star-Spangled**. СсС <Вып.> V. <Париж,> 1931. С. 11–12, как 1-я часть двухчастного стихотворения (2-я часть, под названием «Корабли», включена в С). *Кнут Гамсун* – норвежский писатель (1859–1952), лауреат Нобелевской премии по литературе за 1920 г. *Вообще, хороши матросы ~ говорить об этом* – см. в воспоминаниях В. Яновского: « – Вообще хороши матросы, но не будем говорить о них, – повторял он <Б. Поплавский> с восторгом строку из своего любимого “стойка” Гингера» (Яновский В.С. Поля Елисейские: Книга памяти. СПб.: Пушкинский фонд, 1993. С. 30). Американские матросы фигурируют в гингеровском рассказе «Вечер на вокзале».
- С. 173. **«Бесцельно ревностью напрасной...»**. ЧС. 1945. № 24, 24 авг. С. 2, как часть очерка «Цыганский романс» (под псевд. Агния Нагаго). Написано «по следам» романа А. Денисьева «Не сердись, не ревнуй!»:

К чему напрасно изводиться,
Зачем бесцельно ревновать,
Не лучше ль ласкою упиться
И голубками ровковать...

Не сердись, не ревнуй,
Приласкай, поцелуй.

Ты чашу радости, конечно,
Со мною выпил всю до дна,
Так отнесись ко мне сердечно:
В тебя я снова влюблена.

Не сердись, не ревнуй,
Приласкай, поцелуй.

- С. 173. **Перевод песни, которую пели на Титанике.** НЖ. 1959. № 57. С. 85.

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО ПРИ ЖИЗНИ

- С. 175. **Валентину Парнаху.** ОР РНБ. Ф. 1000. Оп. 2. Д. № 312. Л. 1. Впервые: *Хазан В.* Испытание эмиграцией: Из заметок о русской литературе в изгнании // «В рассеянии сущие...»: Культуролог. чтения «Русская эмиграция XX века» (Москва, 15–16 февраля 2005). М.: Дом-музей М. Цветаевой, 2006. С. 108. Стихотворение посвящение *Валентину Яковлевичу Парнаху* (1891–1951), старшему товарищу Гингера по «Палате поэтов». В. Парнах посвятил Гингеру стихотворение «“Театр ужасов”», вошедшее первоначально в сборник «Карабкается акробат» (Париж, 1922; посвящение снято при перепечатке в его сборнике «Вступление к танцам», изданном в Москве в 1925 г.). *Вот тело ~ от движений скорых* – этими двумя строчками завершается стихотворение «Эйфелева башня» (1920) Парнаха, который был не только поэтом, но и танцором, постановщиком танцев (в частности, для спектаклей Вс. Мейерхольда, см.: *Габрилович Е.* Рассказы о том, что прошло // Искусство кино. 1964. № 4), а также их популяризатором, историком и в своем роде «теоретиком», см.: *Парнах В.* Древность и современность в слове и движении // Театр и музыка. 1922. № 10; истории танца посвящена его монография «Histoire de la danse» (Paris: Rieder, 1932); о Парнахе-танцоре см.: *Gordon Mel.* Valentin Parnakh, Apostle of Eccentric Dance // Experiment (Los Angeles). 1996. № 2. P. 423–441; *Misler Nicoletta.* L'Idole-Girafe, Moscow, 1920s // Experiment. 2004. № 10. P. 97–102. Среди поэтических посвящений Парнаху из круга «сопалатников» следует упомянуть еще стихотворение «Фокстрот и лезгинка» Г. Евангулова из его сборника «Белый духан» (Париж: Палата Поэтов, 1921. С. 38–39). ... «*garçonnet*» – мальчуган (*фр.*). *Шерсть рыжая на брюхе и спине* – Парнах был рыжеволосым, см. в его письме Вс. Мейерхольду из Парижа от 2 июня 1922 г. (Парнах был знаком с Мейерхольдом по Петербургу, когда в 1913 – первой половине 1915 гг. посещал занятия в его театральной

студии): «Хотел бы надеяться, что Вы вспомните, кто я: поэт Парнах, с рыжими волосами...» (РГАЛИ. Ф. 998. Оп. 1. Ед. хр. 2163. Л. 2).

Эротоман ужасно изоцренный ~ в мечте ночей – «фаллические» стихи Парнаха имели влияние как на ближайшее окружение (в частности, на Д. Кнута, см.: *Хазан Владимир*. Довид Кнут: Судьба и творчество. Lyon: Centre d'Études Slaves André Lironde Université Jean-Moulin, 2000. С. 52), так и на авангардно настроенных авторов-эмигрантов вообще (см. «парнаховское» стихотворение «Мотор» у художника и поэта Л. Зака в: *Хазан В.И.* Две заметки о поэтическом творчестве Л. Зака // Литературно-художественный авангард в социокультурном пространстве российской провинции: история и современность. Саратов: Наука, 2008. С. 27–30); о том, что две страницы (25-я и 26-я) с «фаллическими» стихотворениями, возмущившие одного из сотрудников газеты «Общее дело» (А.А. Яблоновского), были вырезаны из парнаховского сборника стихов «Карабкается акробат» (Париж, 1922), см.: *Флейшман Л., Хьюз Р., Раевская-Хьюз О.* Русский Берлин 1921–1923: По материалам архива Б.И. Николаевского в Гуверовском институте. Paris: YMCA-Press, 1983. С. 313, ср.: *Устинов Андрей*. Борис Божнев до «Борьбы за несуществование» // *Vademecum*: К 65-летию Лазаря Флейшмана. М.: Водолей, 2010. С. 287, п. 12. *Прости, наставник ~ кинематографических заик* – об этой строфе в сопоставлении со строфой из посвященного Гингеру стихотворения Б. Поплавского «Прекрасно сочиняешь, Александр» («И слов нема, как говорит народ...» и т.д.) см. в: *Хазан В.* Испытание эмиграцией: Из заметок о русской литературе в изгнании. С. 112–113.

С. 175. **«От Александра, Самсонова сына (хранящего в сердце...»** Это и два следующих шутивно-пародических текста Гингера, написанных гекзаметром, сохранились среди его бумаг в University of Illinois Archives (Urbana-Champaign). Ms. 15/35/56 Sophie Pregel and Vadim Rudnev Coll. Box 1. Обращены к неизвестному адресату. Послания эти не датированы, но примерное время их написания легко восстанавливается из содержания – это осень 1932 г. Использование гекзаметра со смеховой, шутивной целью можно отметить еще в письме Гингера В. Булич (№ 11): «Сделал всё я, что мог, пусть сделает лучше, кто может»; см. также надпись А. Руманову на сборнике стихов *П* (приведена ниже, в коммент. к «Акротерцианам»). *Асклепиев жрец* – т.е. врач; Асклепий – бог врачевания у древних греков. *Надо рабочим платить, надо счета проверять* – Гингер служил в это время бухгалтером в химической компании в Нормандии, ср. еще в 3-м послании: «Я ж из столицы отбуду в сырую нормандскую землю <...> счетное дело вести».

С. 176. **«От Александра из веси Нормандской в Паризиев город...»** *В день, посвященный Венере ~ четыре на десять* – согласно ведической астро-

логии, 4 октября Венера меняет свое положение и входит в знак Весов. *Я прибываю вослед им, Сатурнова дня на закате* – т.е. 5 октября. *Сектор зовется Карно ~ избираем жилище* – зубо-врачебный кабинет М.М. Блюменфельд, матери Гингера (см. о ней во вступительной статье, с. 8, п. 2), находился, должно быть, в районе avenue Carnot (Paris, XVII-е). *Утром в Меркуриев день* – т.е. 7 октября. *...в сей месяц ~ письмо сочинил* – 17 октября 1932 г. Гингеру исполнилось 35 лет.

С. 176. **«Слава бессмертным. (Другого не будет на свете начала...»** *От посылающих весть, от получающих весть* – ср. с образом «вести» в одноименном стих. Гингера (из одноименного же сб. стихов). Советский фильм *«Путевка в жизнь»* (реж. Н. Экк) увидел свет в начале июня 1931 г. *Зубы я должен лечить ~ врачихи* – т.е. у матери, см. в предыд. стихотворении.

С. 177. **«...Дружественны моему здоровью...»** ОНС.

С. 177. **О морях.** ОНС.

С. 178. **По поводу упряжных собак и пр.** ОНС.

С. 178. **Акротерцины.** Частный архив проф. Е.П. Яковлевой (Санкт-Петербург). Посвящены А.В. Руманову: заглавные буквы каждого из стихов складываются в посвящение: АРКАДИЮ. *Аркадий Вениаминович Руманов* (1878–1960), журналист; после Второй мировой войны ответственный секретарь газеты «Советский патриот» (1945–1948), что в эмиграции было воспринято как «переход на советскую службу» (*А.В.В. Сеть НКВД во Франции // За свободу* (Нью-Йорк). 1947. № 18. С. 108); в этой статье о Руманове говорилось:

Большую роль в редактировании «Сов<етского> Патриота» играет также А. Руманов, старый журналист, весьма вхожий в посольство к первому советнику и консулу. В частности, Руманов занимается вербовкой русских эмигрантских писателей и журналистов для работы в большевистской печати. Кое-кому он устроил даже денежные авансы от советского посольства, якобы на издание их книг в Советском Союзе (С. 112).

Второй женой Руманова была Лидия (Лия) Ефимовна (урожд. Цинн; 1897–1983) – ей посвящено след. стихотворение.

Гингер и Присманова поддерживали с Румановыми дружеские отношения. Присманова посвятила им стихотворение «Улитка» (сб. «Соль»). Оба супруга были приглашены на прием советских посланцев, И. Эренбурга и К. Симонова, устроенный 18 июля 1946 г. в квартире Румановых и описанный в мемуарах И. Одоевцевой (На берегах Сены. М.: Художествен-

ная литература, 1989. С. 196–200), 9 октября 1947 г. они участвовали во встрече с С.Ю. Прегель, проходившей там же, а 29 ноября 1947 г. среди других гостей присутствовали на дне рождения Руманова. Об их близости свидетельствуют автографы на книгах Гингера, подаренных Румановым (сообщено Е.П. Яковлевой):

– на сборнике стихов *П*:

Аркадию Вениаминовичу Руманову
Третьего сборника я не нашел у себя на квартире.
«Преданность» Вам приношу «Жалобу» в сердце тая.
Александр Гингер <1945?>

– на сборниках стихов *В*:

Аркадию Вениаминовичу Руманову и Лидии Ефимовне
с благодарностью за радушное отношение от автора

Аркадию Вениаминовичу Руманову с искренней преданностью
от автора

– на сборнике стихов *С*:

Лидии Ефимовне Румановой от бесконечно благодарного автора

Муза, ты бродячему сюжету
Передачи факела верна:
Если ты о жизни скажешь свету –
Об огне ты говорить должна.

Александр Гингер
Июнь, 1945

О собраниях в доме Румановых в послевоенную эпоху см.: *Руманов Д.А., Яковлева Е.П.* Автографы поэтов Русского Зарубежья из частного собрания // Зарубежная Россия. 1917–1939. Кн. 2. СПб.: Лики России, 2003. С. 300–305.

С. 178. **Акростих** («Листок альбомный ждал, а муза всё молчала...»). Частный архив проф. Е.П. Яковлевой (Санкт-Петербург). Посвящен Л.Е. Румановой (см. предыд. коммент.): заглавные буквы стихов складываются в имя ЛИДИЯ.

ПРОЗА

РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ, ЭССЕ

Не очень плодовитый как поэт, Гингер того меньше проявил себя на прозаической или литературно-критической ниве. Здесь слова Ю. Иваска, сказанные в его адрес, о том, что «Гингер, кажется, один из самых незаметных поэтов моего “незамеченного поколения”»¹, становятся в особенности уместными и актуальными.

Тем не менее, пусть скромное и небольшое, наследие Гингера-прозаика и Гингера-эссеиста никогда не появлялось в печати собранным воедино, и таковая попытка предпринимается в данном издании впервые.

Человек широких филологических познаний, Гингер был знаком с некоторыми французскими учеными-славистами, например, со специалистом по русскому символизму Элиан Мок-Бикер (см. о ней прим. 8 к письму Гингера С.Ю. Прегель № 1). Его перу принадлежит небезынтересное теоретическое эссе «О разновидностях русского пятистопного ямба», которое приоткрывает некую новую грань в творческом облике автора и дает представление о нем как о вполне квалифицированном и знающем предмет филологе. Речь в эссе идет о стихосложении – области, требующей специальных знаний и подготовки. Представляется, что и то и другое Гингеру удалось проявить в публикуемом тексте.

Несколько опытов Гингера в жанре эссе («Записные книжки») были напечатаны в просоветской еженедельной литературно-сатирической газете ЧС под псевдонимом Агния Нагаго. Этим псевдонимом Гингер подписывал мысли, которые «доверил» своему мистико-метафизическому «женскому» двойнику.

С. 181. **Вечер на вокзале.** Ч. 1930. № 2/3. С. 71–83.

С. 192. **Золотые надписи Валери.** ЧС. 1945. № 23, 4 авг. С. 2 (под псевд. Агния Нагаго). *Поль Валери* (Paul Valéry; наст. имя Амбруаз Поль Туссен Жюль Валери [Ambroise Paul Toussaint Jules Valéry]; 1871–1945), французский поэт. Очерк Гингера, по всей вероятности, был вызван смертью Валери, которого не стало 20 июля, это подтверждается словами о том, что «сам он себя сжег напряженной и неблагодарной умственной работой». *Всего будь холодный свидетель ~ взойти на костер* – из стихотворения

¹ *Иваск Юрий.* Похвала российской поэзии // НЖ. 1986. № 162. С. 115.

В. Брюсова «Поэту» (1907). ...«столице света», по словам русского поэта – имеется в виду стихотворение А. Фета «Под небом Франции, среди столицы света...» (1856). ...во время последней международной выставки в Париже – подразумевается Всемирная выставка достижений искусств и техники, которая проводилась в Париже с 25 мая до 23 ноября 1937 г. ... вместо уютно-нелепого Трокадеро ~ дворец Шайо – к Всемирной выставке 1937 г. на месте дворца Трокадеро (Palais du Trocadéro), сооруженного к международной выставке 1878 г. и находившегося против Эйфелевой башни на другом берегу Сены (Paris, XVI-e), по проекту Л. Буало, Ж. Карлю и Л. Азема, был возведен дворец Шайо (Palais de Chaillot), в котором разместились Музей человека, Морской музей и Музей архитектуры. Жорж де ла Фушардьер (Georges Alphonse de La Fouchardière; 1874–1946), французский журналист и писатель.

С. 194. **Цыганский романс.** ЧС. 1945. № 24, 11 авг. С. 2 (под псевд. Агния Нагаго); стихотворение «Бесцельно ревностью напрасной...», входящее в этот очерк, включено также в раздел «Не вошедшее в книги». М.И.И. – по всей вероятности, имеется в виду певец, гитарист, исполнитель цыганских романсов Михаил Иванович Игнатов (1894–1943). *Не сердись, не ревнуй, / Приласкай, поцелуй* – речь идет о романсе на слова и музыку А. Денисьева «Не сердись, не ревнуй!» ...никто, кроме писателя Г.Г. – очевидно, Г.И. Газданов. ...возможно, что ее слова были искажены... – Гингер, по-видимому, полагал, что автором романса является женщина, поскольку он написан от женского лица.

С. 197. **Из записной книжки <1>**. ЧС. 1945. № 25, 5 нояб. С. 1 (под псевд. Агния Нагаго). *Робинзона, Дон-Кихота, Гулливера. И Книгу Джунглей* – перечислены романы – шедевры мировой литературы, ставшие «детским» чтением: «Робинзон Крузо» (1719) Даниеля Дефо (1659/1661?–1731), «Дон-Кихот» (1604–1616) Мигеля де Сервантеса Сааведра (1547–1616), «Путешествия Гулливера» (1726) Джонатана Свифта (1667–1745), сборник рассказов Редьярда Киплинга (1865–1936) «Книга джунглей» (1893–1894). ...путевую песню *Бандарлогов* – бандарлоги (бандерлоги) – персонажи «Книги джунглей» Р. Киплинга, обезьяны (на хинди bandar – «обезьяна», log – «народ»). *«Мерсиданке парадалле музыкамарш»* – мерси (merci – спасибо, фр.), данке (danke – спасибо, нем.), парад алле (parade alle – торжественный выход на арену всех артистов циркового представления), музыка марш. *Развертывается большой парад* – ср. в стихотворении Гингера «Перстень-П»: «Поет кларнет, гармония клубится / Развертывается большой парад». ...как некогда воды поглотили горделивых Атлантов – имеется в виду мифическое предание о находившемся в Атлантическом океане легендарном острове (архипелаге или континенте) Атлантида, который вместе со своими жителями атлантами опустился на

морское дно в результате какой-то природной катастрофы – землетрясения или наводнения, происшедшей якобы в середине X тысячелетия до н.э. (впервые эта легенда была изложена в диалогах Платона «Тимей» и «Критий»). *Альбер Камю* (1913–1960), французский писатель, философ; лауреат Нобелевской премии по литературе 1957 г. *Лишь жалость впрямь и вплоть ~ ночной мечты* – из стихотворения «Одиночество» (сб. «Близнецы», 1946).

- С. 198. **Из записной книжки <2>**. ЧС. 1945. № 27, 17 нояб. С. 1, 3 (под псевд. Агния Нагаго). *Мне было около тринадцати ~ «Я его боюсь»* – этот фрагмент есть «пересказ» от женского лица начального фрагмента в гингеровской части коллективного коллажа «Перевоз № 11. Трое», который он написал в содружестве с Б. Поплавским и С. Шаршуном. *Долго снились мне ~ бессилия плач* – из стихотворения А. Фета «Долго снились мне вопли рыданий твоих...» (1886; в указанном коллективном тексте Гингер также цитирует Фета).
- С. 200. **Из записной книжки <3>**. ЧС. 1945. № 30, 8 дек. С. 1. *Она сидела на полу ~ разбирала...* – начало стихотворения Ф. Тютчева (1858). «*Ты свободен, я свободна...*» – из «Стихов о Петербурге» (1913) А. Ахматовой; в оригинале: «Над Невою темноводной...». *Четыре олимпиады!* – т.е. 16 лет, миновавшие с того времени (1929), когда увидел свет «Перевоз № 10» (о реакции на участие в нем Гингера см. в письмах Б. Божнева, №№ 1–3). *...называя меня Агния Геннадиевна* – см. письмо Н. Татищева Гингеру № 2, от 7 февраля 1949 г., где он пишет, что «Агния Геннадиевна никого холодным не оставляет». *Впоследствии я участвовала ~ в 1934 году* – см. раздел «Коллективное творчество».
- С. 203. **Русский язык и литература во Франции**. РН. 1946. № 61, 12 июля. С. 7. *Пьер Паскаль* (Pierre Pascal) (1890–1983), французский славист, писатель. С 1916 по 1933 г. жил в России (сначала как офицер при французском посольстве, после революции – переводчик и библиотекарь). В 1936 г. преподавал русский язык в университете в Лилле, с 1937 по 1950 г. – профессор русского языка в Школе восточных языков, с 1950 г. – профессор русского языка в Сорбонне. *Рауль Лабри* (Raoul Labry; 1880–1950), французский славист, переводчик, профессор Сорбонны. *Андре Мазон* (André Mazon; 1881–1967), французский славист, профессор; специалист по древнерусской и русской классической литературе, русскому и чешскому языкам, славянскому фольклору. *Виктория Петровна Кончаловская* (1883–1958), филолог, специалист по русской этимологии; в Париже жила с 1907 г., преподавала русский язык в Школе восточных языков. *Поль Буайе* (Paul Boyer; 1864–1949), французский славист, директор Школы восточных языков. *...русский отдел библиотеки ~ несколько десятков* – ср. в письме Гингера В. Булич (№ 13), в котором он советует послать ее поэтический

сборник «Ветви» «с надписью в библиотеку Школы Восточных языков, где колоссальный русский отдел (около 100 каталогов!)». ...*Р. Лабри*, автор известного труда о Герцене – имеется в виду капитальное исследование Лабри «Alexander Ivanovich Herzen: 1812–1870» (Paris, 1928). *Нина (Анна) Митрофановна Прохницкая* (урожд. Козинцова; 1881–1953), филолог-славист, переводчик, преподаватель русского языка в Сорбонне; во Франции жила с 1916 г.

- С. 206. **О разновидностях русского пятистопного ямба.** «Орион» (Париж, 1947). С. 113–117. По всей видимости, это эссе Гингер предложил для «Русского сборника», который в 1946 г. собирал Б. Пантелеймонов (см. письмо Пантелеймонова Гингеру от 2 февраля 1946 г., включенное в настоящее издание). Однако в «Русском сборнике» гингеровский литературно-критический опыт не появился. В качестве *эпиграфа* использована первая строфа из стихотворения Присмановой «Две у людей, а у зверей четыре...», напечатанного в Оп (1958. № 9. С. 32), т.е. значительно позднее самого эссе (в печатном варианте во 2-й строке: «но с давних пор узнала я»). Следует заметить, что образный строй этого стихотворения корреспондирует с посвященным И. Зданевичу «Покушением с негодными средствами» (1925) Поплавского, в котором, как и у Присмановой, на фоне (творческой) «судьбы» фигурирует «зверь» и возникает уподобление «стопы» (стихотворной) «шагу» (человеческому). Стихотворение поэтессы завершается так: «И поднимаясь в облачное зданье, / туда бесстрашно вводят за собой / тяжелое двуногое созданье, / к которому приставлены судьбой», ср. у Поплавского: «Так наша жизнь, на потешенье века, / Могуществом превыше человека, / Погружена в узилище судьбы. / Лишь пять шагов оставлено для бега, / Пять ямбов, слов мучительная нега, / Не забывал свободу зверь дабы». При этом следует вспомнить стихотворения самого Гингера «Пять стоп» и «Пелагея» (в последнем поэт использует омонимическую сцепку – «стопы» как ноги [«А в башмаке легка стопа»] и как структурной единицы стиха [«И говорил, что одиноче / Меня в двусложной слог стопе»]). Пятистопный ямб был одним из излюбленных размеров Присмановой: так, им в основном написана ее книга «Близнецы»¹. Таким образом, данное эссе, независимо от общетеоретического взгляда автора и по упоминаемым в нем «классическим» именам вроде бы не находящееся в непосредственной связи с конкретной творческой практикой Гингера и поэтов его поколения, на самом деле «имплицитно», «подсознательно» (впрочем, и в «сознательной» форме тоже – в ином случае не следовало вы-

¹ На это обращено внимание во вступительной статье К. Рагозиной к первому переизданию стихотворений поэтессы в России, см.: *Присманова А., Гингер А.* Туманное звено / Сост., предисл., коммент. К. Рагозиной. Томск: Водолей, 1999. С. 30.

бирать столь цепляющий другие поэтические тексты эпитафия) привязано к ним и в какой-то мере ими же спровоцировано. ... «*век шестует путем своим железным*» – из стихотворения Е. Баратынского «Последний поэт» (1835). ... *позволяет Пушкину рифмовать слушай – плошай* – имеется в виду «Домик в Коломне» (IV): «Ну, женские и мужские слоги! / Благословясь, попробуем: слушай! / Равняйтесь, вытягивайте ноги / И по три в ряд в октаву заезжай! / Не бойтесь, мы не будем слишком строги / Держись вольней и только не плошай...». ... *а Гольц-Миллер (революционер 60-ых годов) ~ стихотворение: «Слушай!»* – Иван Иванович Гольц-Миллер (1842–1871), поэт революционно-демократического направления; Гингер имеет в виду его стихотворение (1864), ставшее популярной песней (муз. П. Сокальского). ... *появились пресловутые неоны* – применительно к русскому стихосложению сложно организованная стопа с тремя безударными и одним ударным слогом. ... «*Правилах стихосложения*» 1838-го года – речь идет о выдержавшем несколько изданий учебнике писателя и педагога И.С. Пенинского «Правила стихосложения» (1-е изд. в 1838). *Эпитрит* – в античном стихосложении стопа, состоящая из трех долгих и одного краткого слога; различаются четыре вида эпитрита в зависимости от местоположения краткого слога среди долгих. *Опыты в этом направлении были сделаны Валерием Брюсовым ~ «Опыты»* – полное название книги: «Опыты по метрике и ритмике, по евфонии и созвучиям, по строфике и формам» (М., 1918). *Дитиррихий (или прокелевсматика)* – в античной системе стихосложения стопа, состоящая из четырех смежных кратких слогов. *Тримакр (или молос)* – в античной метрике шестидольная стопа с тремя долгими слогами; применительно к силлаботонической системе – случай, когда в трехдольном размере встречается стопа, состоящая из трех односложных ударяемых слов. *Фаддей (Тадеуш) Францевич Зелинский* (1859–1944), русский и польский филолог-классик, профессор Петербургского (1887–1920) и Варшавского (1921–1935) университетов. *Алексей Михайлович Кубарев* (1796–1881), филолог, автор учебников по латинской грамматике и теории стихосложения. *Пиррихий* – двусложная стопа, состоящая из обоих кратких (в греческом стихосложении) или (в силлаботонике) безударных слогов, замещающих ямбическую или хорейческую стопу. «*Адмиралтейская игла*» – из поэмы Пушкина «Медный всадник». «*Роняет лес багряный свой убор*» – из стихотворения Пушкина «19 октября» (1825). ... *цезурные особенности и размещение слов различного удельного веса* – цезура – ритмическая пауза в стихе, разделяющая стих на некоторое количество частей. *Спондей* – ямбическая стопа со сверхсхемным ударением, т.е. в стопе может наличествовать два ударения подряд. *Резец, орган, кисть! Счастлив, кто влеком* – Из стихотворения Е. Баратынского «Всё мысль да мысль! Художник бедный слова!..» (1840). «*Всё кажется мне ~ мчусь я на телеге*» – из «Домика в Коломне»

Пушкина. *Антиох Дмитриевич Кантемир* (1708–1744), поэт-сатирик и дипломат. *Александр Павлович Квятковский* (1888–1968), стиховед, автор «Поэтического словаря» (М., 1966). «Уме, незрелый плод / Недолгой науки» – начало первой сатиры «На хулящих учения. К уму своему» (1729) А. Кантемира. «Раз в крещенский вечерок / Девушки гадали» – начальное двустихие баллады В. Жуковского «Светлана» (1808–1812). «Им пишет всякий» – из «Домика в Коломне» Пушкина.

- С. 212. **Борьба за тепло.** Оп. 1958. № 9. С. 86–91 (под псевд. Агния Нагаго). В ответ на некоторое недоумение редактора Оп Р. Гринберга, для которого рассказ Гингера оказался темен и непонятен (он отнесся к нему как фрагменту, вырванному из контекста), автор так объяснял свою Агнию Нагаго (полностью – в томе II. Письма):

Представьте себе род дневника: Агния Нагаго говорит о своих воспоминаниях, соображениях и впечатлениях; это не роман, так что нет никакого начала и конца, а есть куски дневника, каждый из которых является как бы самостоятельным рассказом. С моей точки зрения, мое «Воспоминание» совершенно законченное и самодовлеющее целое. Я считаю, что такая миниатюра и не нуждается ни в каких объяснениях, всё в ней просто и ясно.

Реагируя на появившуюся в Оп «Борьбу за тепло», Адамович в письме от 29 апреля 1959 г. писал Гингеру:

Также и удовольствие от г-жи Нагаго. Много чрезвычайно «тонкого» и верного. Только в нашем быту, и при преобладании ослов, вроде <Григория> Аронсона, – «кому это интересует»? «Опыты», по-видимому, кончаются, и очень жаль. В «Н<овом> Ж<урнале>» для Нагаги места не будет.

Одно возражение: это мужская статья, а не женская, и женский род звучит в ней фальшиво. Если бы «молодая девушка» долго стояла и глядела на молодцов, работавших в лесу, то кончилось бы тем, что они отпустили бы по ее адресу такое словцо, что, вся зардевшись, она убежала бы. Это у Агнии невозможная картина (Письма Адамовича: 300).

В тексте рассказа-эссе встречается несколько самоповторений: автор возвращается к мотивам и лексику предыдущих «записок» Агнии Нагаго: так, подобно «Из записных книжек»-1, в «Борьбе за тепло» вновь упоминается «Книга джунглей», повторено выражение «покушение с негодными средствами», уже использованное в «Из записной книжки»-2 (так, кстати, называется одно из стихотворений Б. Поплавского), имеется даже автоцитата: «Моя записная книжка – это я сама» («Из записной книжки»-2).

КОЛЛЕКТИВНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Отмеченные авангардной поэтикой два текста-коллажа – «Перевоз № 11. Трое» и «Орфеи. Перевоз № 12», – написанные в соавторстве в одном случае с Б. Поплавским и С. Шаршуном, а в другом – с одним С. Шаршуном, дают представление о той грани Гингера-поэта, которая с особой отчетливостью демонстрирует его, перефразируя М. Фуко, «волю к анти-норме».

Сам дадаистический «жанр» «Перевоза» был учрежден С. Шаршуном еще в начале 20-х гг., когда в Берлине он издал журнал-листочку «Перевоз Дада» (во втором сочинении, «Орфеях», наличествует указание на Шаршуна как учредителя).

Как мы узнаем из писем Б. Божнева к Гингеру (см. №№ 1–3), участие последнего в одном из «Перевозов» Шаршуна (№ 10), «Русский Хай-Кай» (май или июнь 1929 г.), вызвало неподдельное возмущение гингеровского окружения ее низкопробным и пошловатым содержанием. Несмотря, однако, на эту реакцию, сотрудничество Гингера с С. Шаршуном и примкнувшим к ним Б. Поплавским продолжилось, результатом чего стали два коллективные сочинения, появившиеся в Ч, см. также «Из записной книжки»-2 (раздел «Проза. Рассказы, очерки, эссе»), где Гингер (под псевдонимом и мистифицированным «прикрытием» Агнии Нагаго) вспоминает о своем участии в дадаистских «Перевозах» Шаршуна.

Современники воспринимали участие Гингера в «перевозах» в контексте смеховой культуры: по крайней мере, через много лет Г. Адамович помнил (письмо А. Бахраху от 16 января 1957 г.) «что-то очень смешное», печатавшееся Гингером в Ч¹.

С. 219. **Перевоз № 11. Трое.** Ч. 1933. № 9. С. 209–213 (авторы коллективного коллажа – А. Гингер, Б. Поплавский и С. Шаршун); в настоящее издание включена только та часть, автором которой является Гингер (С. 209–210). Весь первый фрагмент, «Моим шестнадцатым летом», от женского лица пересказан в «Записных книжках»-2. *Puella quae unguis habet similes feminae maturaе meretricula* – Девушка, которая умащивается благовониями, подобна зрелой женщине-распутнице (*лат.*).

С. 221. **Орфеи. Перевоз № 12.** Ч. 1934. № 10. С. 270–272. Состоит из части, написанной С. Шаршуном и Гингером; в настоящее издание включен только гингеровский текст (С. 271–272), который частично совпадает с ОНС.

2-я часть («И как бы немо иль гугниво...») в виде отдельного стихотворения включено в *ЖИТ* (С. 36) и, под названием «Про Андерсена», в ОНС.

¹ Письма Георгия Адамовича А.В. Бахраху (1957–1965) / <Публ. Веры Крейд> // НЖ. 2001. № 225. С. 149.

4-я часть вошла в ОНС.

5-я часть («Нам говорят, что воздух городской...»), под названием «Из “Месяца в деревне”», вошла в ОНС с дополнительной предпоследней строфой:

У богачей тугие кошельки,
Их содержимым пользоваться рады
И пресловутые Мариенбады,
И бесполезные Эссендуки.

6-я часть... *как у эс-эров* – намек на журнал СЗ, редакторами которого были видные эсеры: Н.Д. Авксентьев, И.И. Бунаков (Фондаминский), М.В. Вишняк, В.В. Руднев; журнал, в котором, кстати сказать, появлялся и Гингер, печатался по старой орфографии. *С ятями – с ерами ~ но без эров* – проблема новой и старой орфографии, активно обсуждавшаяся в эмигрантской печати, нашла свое воплощение и в стихотворной форме: так, на страницах издававшейся в Омске колчаковской газеты «Русская армия» (1919. № 149, 16 июля. С. 4) было напечатано стихотворение И.К. Скрыпченко «Ъ или Е»:

Слово «хлеб» пишу всегда я
Через букву «ять»,
Не умея и не зная
Иначе писать.

Сын мой пишет это слово
Через букву «е»;
И разлад идет суровый
В школе и семье.

Внук же милостию Неба
Примирит народ
И напишет вместо хлеба
По-немецки: «Brot».

Той же теме посвящены стихотворения эмигрантской поэтессы Н.А. Дисской (Жилинской) «Русский язык» и «Буква Ять» (в ее кн.: Родная даль. Лувен, 1959. С. 86).

8-я часть («Когда писать о смерти захотим...») вошла в ОНС.

9-я часть («Нас поджидает счастье за углом...») как отдельное стихотворение вошла в *ЖуТ*; под названием «Относительно жизни» включена в ОНС.

10-я часть («Терапевтическая сила...»), под названием «Насчет психоанализа», вошла в ОНС.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

- Автобиография 128
Акrostих («Листок альбомный ждал, а муза всё молчала...») 178
Акrostих («Прилежный стих разделен и согласен...») 92
Акротерцины 178
Анне Присмановой 158
«Бесцельно ревностью напрасной...» 173
Валентину Парнаху 175
«Вдруг помчатся вспугнутые лани...» 90
Верность 149
Весть 159
Ветер 108
«Всей душой полюбила душа моя...» 148
Газелла 160
«Голова моя поднята к небу...» 144
«Голосом могилы или Бога...» 117
«Голубеет небесный свод...» 92
Две мечты 105
Доверие 166
Дон Хуан 134
«...Дружественны моему здоровью...» 177
Дуня 128
«Есть слезы счастья: той достойной влагой...» 152
Жалоба и торжество 107
«Забавлявшийся травлей и рогом...» 114
«Замотавши новые портянки...» 145
Западное предание 97
«Знают мифы: неистой волей...» 116
Зрение 168
Изабелла 127
«И как бы немо иль гугниво...» 155
Имя 163
Кау-бой 98
Кинематограф 99
Корабли 170
«Корифей выходит перед хором...» 145
Кровать 171
«Круг болей совершать и подвиг мечный...» 111
Крымская песня 89
Мания преследования 146

Мечь 93
Мой Петербург 90
Молочная дорога 111
Надежда 135
«Нас поджидает счастье за углом...» 158
«Недвижный сон дышал тобой...» 94
«Но вежливые фаталисты...» 140
Объяснение 139
О морях 177
«Она придет своей дорогой...» 91
«Ослиная в руке Самсона челюсть...» 155
«От Александра из веси Нормандской в Паризиев город...» 176
«От Александра, Самсонова сына (хранящего в сердце...» 175
«Отец мой солнце, я с тобой сегодня...» 142
«От начала и до окончания...» 115
Памяти Блока 96
Пелагея 130
Перевод песни, которую пели на Титанике 173
Перстень I 153
Перстень II 154
Песок 131
Повесть 119
«Под одиночественной паутиной...» 137
Покер 143
По поводу упряжных собак и пр. 178
Преданность 104
«Просительной не постираю длани...»¹ 89
Птицелов 151
Пять стоп 110
Разговор автора с самим собой 130
Светит месяц 167
Свора верных 96
«Сердобольно, даже сокрушонно...» 118
Сердце 156
Сестра 167
«Слава бессмертным. (Другого не будет на свете начала...» 176
Славный стол 101
Слезы 132
«Смятение, рычание мирское...» 133
Сонет V 126

¹ В книге С – под названием «Лоно».

Сонет VI 127
Спокойствие 103
«Стисни губы, воин честный...» 142
«Сырая мать. Ее нельзя любить...» 146
Тибетская песня 169
«Три страсти есть, которыми отвеча...» 150
Уверенность 136
Угол 164
Упражнение 129
Утренняя прогулка 151
Утро 165
Факел 160
Хиромантия 122
«Что ж ты, сердце; дрожишь, полукровка?...» 134
Чувство 124
Шар 159
Элегическое двестишие 91
«Я молюсь перед Богом моим...» 153
«Я прославляю гнев и низвержение...» 95
«Я считаю, что я недостаточно смел...» 149
Amours 106
Star-Spangled 172

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Владимир Хазан. Победа духа над веществом.</i>	
О жизни в поэзии Александра Гингера	5

ПОЭЗИЯ

СВОРА ВЕРНЫХ

«Просительной не простираю длани...»	89
Крымская песня.....	89
Мой Петербург	90
«Вдруг помчатся вспугнутые лани...».....	90
Элегическое двестишие.....	91
«Она придет своей дорогой...».....	91
«Голубеет небесный свод...»	92
Акростих.....	92
Мечь.....	93
«Недвижный сон дышал тобой...».....	94
«Я прославляю гнев и низвержение...»	95
Свора верных.....	96
Памяти Блока.....	96
Западное предание	97
Кау-бой.....	98
Кинематограф.....	99
Славный стол.....	101

ПРЕДАННОСТЬ

Спокойствие.....	103
Преданность	104
Две мечты.....	105

Amours.....	106
Жалоба и торжество.....	107
Ветер.....	108
Пять стоп.....	110
«Круг болей совершать и подвиг вечный...».....	111
Молочная дорога.....	111
«Забавлявшийся травлей и рогом...».....	114
«От начала и до окончания...».....	115
«Знают мифы: неистовой волей...».....	116
«Голосом могилы или Бога...».....	117
«Сердобольно, даже сокрушонно...».....	118
Повесть.....	119
Хиромантия.....	122
Чувство.....	124
Сонет V.....	126
Сонет VI.....	127
Изабелла.....	127
Автобиография.....	128
Дуня.....	128
Упражнение.....	129
Пелагея.....	130
Разговор автора с самим собой.....	130
Песок.....	131
Слезы.....	132
«Смятение, рычание мирское...».....	133
«Что ж ты, сердце; дрожишь, полукровка?...».....	134
Дон Хуан.....	134
Надежда.....	135
Уверенность.....	136
«Под одиночественной паутиной...».....	137
Объяснение.....	139
«Но вежливые фаталисты...».....	140

ЖАЛОБА И ТОРЖЕСТВО

«Стисни губы, воин честный...».....	142
«Отец мой солнце, я с тобой сегодня...».....	142

Покер	143
«Голова моя поднята к небу...»	144
«Корифей выходит перед хором...»	145
«Замотавши новые портянки...»	145
«Сырая мать. Ее нельзя любить...»	146
Мания преследования	146
«Всей душой полюбила душа моя...»	148
«Я считаю, что я недостаточно смел...»	149
Верность	149
«Три страсти есть, которыми отвеча...»	150
Утренняя прогулка	151
Птицелов	151
«Есть слезы счастья: той достойной влагой»	152
«Я молюсь перед Богом моим...»	153
Перстень I	153
Перстень II	154
«И как бы немо иль гугниво...»	155
«Ослиная в руке Самсона челюсть...»	155
Сердце	156
«Нас поджидает счастье за углом...»	158
Анне Присмановой	158

ВЕСТЬ

Шар	159
Весть	159
Газелла	160
Факел	160
Имя	163
Угол	164
Утро	165
Доверие	166
Светит месяц	167
Сестра	167
Зрение	168
Тибетская песня	169

Из книги «СЕРДЦЕ»

Корабли	170
Кровать	171

НЕ ВОШЕДШЕЕ В КНИГИ

Star-Spangled	172
«Бесцельно ревностью напрасной...»	173
Перевод песни, которую пели на Титанике	173

Из НЕОПУБЛИКОВАННОГО ПРИ ЖИЗНИ

Валентину Парнаху	175
«От Александра, Самсонова сына (хранящего в сердце...»	175
«От Александра из веси Нормандской в Паризиев город...»	176
«Слава бессмертным. (Другого не будет на свете начала...»	176
«...Дружественны моему здоровью...»	177
О моряках	177
По поводу упряжных собак и пр.	178
Акротерцины	178
Акростих	178

ПРОЗА

РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ, ЭССЕ

Вечер на вокзале	181
Золотые надписи Валери	192
Цыганский романс	194
Из записной книжки <1>	197
Из записной книжки <2>	198
Из записной книжки <3>	200

Русский язык и литература во Франции	203
О разновидностях русского пятистопного ямба	206
Борьба за тепло.....	212

КОЛЛЕКТИВНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Перевоз № 11. Трое	219
Орфеи. Перевоз № 12	221

Комментарии

Поэзия	236
Проза	293
Коллективное творчество.....	299

<i>Алфавитный указатель стихотворений</i>	301
---	-----

ББК 84(2Рос=Рус)6
УДК 821.161.1
Г49

Гингер А. С.

Г49 Стихотворительное одержанье: Стихи, проза, статьи, письма. В 2 т. Т. I / Сост., подг. текста, вст. статья и комм. В. Хазана. – М.: Водолей, 2013. – 320 с. – (Серебряный век. Паралипоменон).

ISBN 978–5–91763–165–3

ISBN 978–5–91763–166–0 (Том I)

Настоящее издание, в которое включены все выявленные на сегодняшний день тексты известного русского эмигрантского поэта Александра Самсоновича Гингера (1897–1965), дает наиболее полное представление о его литературном и эпистолярном наследии. I-й том наряду с поэтическим творчеством Гингера знакомит с его опытами в области прозы и эссеистики. Во II-й – включены переписка Гингера и его жены, поэтессы Анны Семеновны Присмановой (1892–1960), с представительным кругом поэтов и писателей русского зарубежья, а также разнообразные материалы, связанные с определением места обоих в истории эмигрантской литературы. Книга снабжена подробными комментариями и иллюстративным материалом.

ББК 84(2Рос=Рус)6
УДК 821.161.1

Гингер Александр Самсонович

Стихотворительное одержанье
Стихи, проза, статьи, письма

Том I

Технический редактор *А. Ильина*

Корректор *Н. Федотова*

Подписано в печать 10.06.13. Формат 60х90/16. Бумага офсетная

Гарнитура Таймс. Печать цифровая. Печ. л. 20

Тираж 500 экз. Заказ №

Издательство «Водолей»

127254, г. Москва, ул. Гончарова, 17-А, кор. 2, к. 23

Официальный сайт: <http://www.vodoleybooks.ru>

E-mail: info@vodoleybooks.ru

ФГУП Издательство «Известия» Управления делами Президента

Российской Федерации

Генеральный директор **Э.А. Галумов**

127254, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 6.

Контактные телефоны: 650-38-80

<http://izd.ru>



9 785917 631653

Алексеева Л. А. Горькое счастье: Собрание сочинений. 2007. – 416 с. – (Малая серия).

Големба А. С. Я человек эпохи Миннезанга: Стихотворения. 2007. – 384 с. – (Малая серия).

Меркурьева В. А. Тщета: Собрание стихотворений. 2007. – 608 с. – (Малая серия).

Соловьев С. М. Собрание стихотворений. 2007. – 856 с. – (Большая серия).

Петров С. В. Собрание стихотворений: В 2 кн. 2008. – 616 + 640 с. – (Большая серия).

Позняков Н. С. Преданный дар: Избранные стихотворения. 2008. – 176 с. – (Малая серия).

Щировский В. Е. Танец души: Стихотворения и поэмы. 2008. – 200 с. – (Малая серия).

Голохвастов Г. В. Гибель Атлантиды: Стихотворения. Поэма. 2008. – 576 с. – (Большая серия).

Верховский Ю. Н. Струны: Собрание сочинений. 2008. – 928 с. – (Малая серия).

Барт С. В. Стихотворения. 1915–1940. Проза. Письма. 2008. – 336 с. – (Малая серия).

Лозина-Лозинский А. К. Противоречия: Собрание стихотворений. 2008. – 648 с. – (Большая серия).

Тарловский М. А. Молчаливый полет: Стихотворения. Поэма. 2009. – 672 с. – (Большая серия).

Вега Мария. Ночной корабль: Стихотворения и письма. 2009. – 528 с. – (Большая серия).

Нарциссов Б. А. Письмо самому себе: Стихотворения и новеллы. 2009. – 440 с. – (Малая серия).

Голохвастов Г. В. Лебединая песня: Несобранное и неизданное. 2010. – 352 с. – (Малая серия).

Садовской Б. А. Морозные узоры: Стихотворения и письма. 2010. – 568 с. – (Большая серия).

Зальцман П. Я. Сигналы Страшного суда: Поэтические произведения. – 2011. – 480 с. – (Малая серия).

Кугушева Н. П. Проржавленные дни: Собрание стихотворений. – 2011. – 336 с. – (Малая серия).

Петров С. В. Собрание стихотворений: Неизданное. 2011. – 688 с. – (Большая серия).

Кленовский Д. И. Полное собрание стихотворений. 2011. – 704 с. – (Большая серия).

Цетлин М. О. (Амари). Цельное чувство: Собрание стихотворений. 2011. – 400 с. – (Большая серия).

Бородаевский В. В. Посох в цвету: Собрание стихотворений. 2011. – 400 с. – (Большая серия).

Гомолицкий Л. Н. Сочинения русского периода. В 3 т. 2011. – 704 + 672 + 704 с. – (Большая серия).

Аверьянова Л. И. Vox Humana: Собрание стихотворений. – 2011. – 416 с. – (Малая серия).

Тарусский Н. А. Знак земли: Собрание стихотворений. – 2012. – 272 с. – (Малая серия).

Корвин-Пиотровский В. Л. Поздний гость: Стихотворения и поэмы. – 2012. – 688 с. – (Большая серия).

Ширман Г. Я. Зазвездный зов: Стихотворения и поэмы. – 2012. – 736 с. – (Большая серия).

Коплан Б. И. Старинный лад: Собрание стихотворений (1919–1940). – 2012. – 160 с. – (Малая серия).

Малахиева-Мирович В. Г. Хризалида: Стихотворения. – 2013. – 608 с. – (Большая серия).

Зальцман П. Я. Сигналы Страшного суда: Поэтические произведения. – 2011. – 480 с. – (Малая серия).

Настоящее издание впервые в приближающемся к полноте объеме знакомит читателя с поэтическим творчеством художника Павла Яковлевича Зальцмана (1912–1985). Зальцману-поэту, прошедшему школу Павла Филонова и близкому к кругу ОБЭРИУ, удалось в своих произведениях объединить формальный эксперимент с непосредственностью поэтического высказывания и с уникальной экспрессией передать катастрофизм эпохи и трагедию творческой личности. Тексты подготовлены по материалам рукописного архива поэта и сопровождаются текстологическим и реальным комментарием.

Кугушева Н. П. Проржавленные дни: Собрание стихотворений. – 2011. – 336 с. – (Малая серия).

В последний раз Наталья Петровна Кугушева (1899–1964) увидела свое стихотворение напечатанным, когда ей было тридцать лет. Вторая половина ее жизни вместила многое: пятнадцатилетнюю добровольную ссылку в Казахстане, куда она последовала за репрессированным мужем, одиночество, почти полную нищету, забвение. Но все эти годы она продолжала писать стихи, чудом дошедшие до наших дней. Большая часть их впервые печатается в настоящем издании.

Петров С. В. Собрание стихотворений: Неизданное. 2011. – 688 с. – (Большая серия).

Сергей Владимирович Петров (1911–1988), поэт огромного масштаба, долгое время был известен широкому читателю только как переводчик. Его творческое наследие ошеломляюще и по объему, и по художественной значимости. Сам поэт увидел опубликованными лишь два десятка стихотворений в последние шесть лет жизни; первый авторский сборник Петрова вышел в свет спустя девять лет после его кончины.

Настоящее издание продолжает вышедшее в 2008 г. Собрание стихотворений в двух книгах. В него вошли стихи 1930–1980-х гг., по различным причинам не включенные в предыдущие тома; стихотворения, объединенные в циклы; поэтические произведения, написанные в музыкальных жанрах; поэмы.

Кленовский Д. И. Полное собрание стихотворений. 2011. – 704 с. – (Большая серия).

«Последний акмеист», «последний царскосел», «последний поэт серебряного века» – так именовали критики Дмитрия Иосифовича Кленовского (наст. фам. Крачковский; 1892–1976). Выпустив первую книгу перед самой революцией, Кленовский в советские годы замолчал и вновь начал писать стихи лишь четверть века спустя, уже в эмиграции, где он оказался в 1942 году. Однако в отличие от ранних изящных и утонченных стихов, напоминающих стихи Кузмина, эмигрантские сборники Кленовского представляют собой философскую лирику самой высокой пробы.

После смерти Георгия Иванова Кленовский многими признавался первым поэтом эмиграции и одним из лучших поэтов второй половины XX века.

В издании объединены все одиннадцать его книг плюс стихи, не вошедшие в сборники. В приложении впервые публикуются две книги, подготовленные Кленовским в начале двадцатых годов, но так и не увидевшие свет: книга стихов «Предгорье» и перевод «Сельских и Божественных игр» Анри де Ренье.

Цетлин М. О. (Амари). Цельное чувство: Собрание стихотворений. 2011. – 400 с. – (Большая серия).

Настоящее издание представляет собой наиболее полное собрание стихов поэта М.О. Цетлина (Амари) (1882–1945). В него вошли не только все его поэтические сборники, но и стихи, публиковавшиеся в периодической печати, а также переводы. В приложении печатаются очерки «Наталья Гончарова» и «Максимилиан Волошин».

Творчество Цетлина (Амари) – неотъемлемая часть искусства Серебряного века и истории русской поэзии XX века в целом.

Бородаевский В. В. Посох в цвету: Собрание стихотворений. 2011. – 400 с. – (Большая серия).

Валериан Валерианович Бородаевский (1874–1923), самобытный поэт религиозно-философского склада. В 1909 г. довольно ярко заявил о себе сборником стихотворений, вышедшим в издательстве Вяч. Иванова «Орь», но, выпустив в 1914 г. второй сборник, отошел от литературного процесса и надолго оказался забыт. Настоящее издание – первый опыт полного собрания стихотворений Бородаевского, значительная часть которых публикуется впервые.

Гомолицкий Л. Н. Сочинения русского периода. В 3 т. 2011. – 704 + 672 + 704 с. – (Большая серия).

Межвоенный период творчества Льва Гомолицкого (1903–1988), в последние десятилетия жизни приобретшего известность в качестве польского писателя и литературоведа-русиста, оставался практически неизвестным. Данное издание, опирающееся на архивные материалы, обнаруженные в Польше, Чехии, России, США и Израиле, раскрывает прежде оставшуюся в тени грань облика писателя – большой свод его сочинений, созданных в 1920–30-е годы на Волыни и в Варшаве, когда он был русским поэтом и становился центральной фигурой эмигрантской литературной жизни.

Вступительная статья, представляющая не известные ранее документы и сведения о жизни Гомолицкого и анализирующая многочисленные критические выступления молодого поэта в столичной и провинциальной прессе, позволяет убедиться в том, что место Польши в истории литературы русского Зарубежья в 1930-е годы было сопоставимо с «русским Парижем» и «русской Прагой». Первый том содержит опубликованные и рукописные сборники и циклы стихотворных произведений Гомолицкого, ярко выявляя детали резкой эволюции поэтического сознания и литературной позиции автора на протяжении 1921–1942 гг.

Второй том, наряду с разбросанными в периодических изданиях и оставшихся в рукописи стихотворениями, а также вариантами текстов, помещенных в первом томе, включает ценные поэтические документы: обширный полузаконченный автобиографический роман в стихах «Совидец» и подготовленную поэтом в условиях немецкой оккупации книгу переводов (выполненных размером подлинника – силлабическим стихом) «Крымских сонетов» Адама Мицкевича. В приложении к стихотворной части помещен перепечатываемый по единственному сохранившемуся экземпляру сборник «Стихотворения Льва Николаевича Гомолицкого» (Острог, 1918) – литературный дебют пятнадцатилетнего подростка. Книга содержит также переписку Л. Гомолицкого с А.Л. Бемом, В.Ф. Булгаковым, А.М. Ремизовым, Довидом Кнутом и др.

Третий том содержит многочисленные газетные статьи и заметки поэта, его беллетристические опыты, в своей совокупности являвшиеся подступами к недошедшему до нас прозаическому роману, а также книгу «Арион. О новой зарубежной поэзии» (Париж, 1939), ставшую попыткой подведения итогов работы поэтического поколения Гомолицкого.

Аверьянова Л. И. Vox Humana: Собрание стихотворений. – 2011. – 416 с. – (Малая серия).

Лидия Ивановна Аверьянова (1905–1942) – талантливая поэтесса и переводчица, автор пяти не вышедших в свет сборников стихов, человек драматической и во многом загадочной судьбы. Лирика Л. Аверьяновой вызвала сочувственный интерес у Ф. Сологуба, А. Ахматовой, В. Набокова, Г. Струве и др. Наиболее ценная часть ее литературного наследия – «Стихи о Петербурге»; в 1937 г. они обрели статус «стихов-эмигрантов» и посмертно, в извлечениях, публиковались за рубежом под присвоенным автору псевдонимом А. Лисицкая.

Поэтическое творчество Л. Аверьяновой представлено в книге во всей возможной полноте, большая часть стихотворений печатается впервые. В основу издания легли материалы из фондов Пушкинского Дома (СПб.) и Гуверовского института (США).

Тарусский Н. А. Знак земли: Собрание стихотворений. – 2012. – 272 с. – (Малая серия).

В настоящем издании впервые собраны под одной обложкой стихи Николая Алексеевича Тарусского (наст. фам. Боголюбов; 1903–1943). Малоаметный (или сознательно выдерживающий дистанцию) участник литературной жизни 1930-х гг., врач, путешественник, охотник, рыболов, Тарусский был поэтом редкого у нас тематического спектра: в его внешне невозмутимые описания природы вплетены эсхатологические проекции, выраженные скупым и звучным стихом. Часть стихотворений печатается впервые.

Корвин-Пиотровский В. Л. Поздний гость: Стихотворения и поэмы. – 2012. – 688 с. – (Большая серия).

Поэт первой волны эмиграции Владимир Львович Корвин-Пиотровский (1891–1966) – вероятно, наименее известный из значительных русских поэтов XX века. Он играл немалую роль в период короткого расцвета «русского Берлина», однако и позднее оставался заметной фигурой в других центрах русской диаспоры – Париже и Соединенных Штатах. Ценимый еще при жизни критиками и немногочисленными читателями – в том числе Бердяевым, Буниным, Набоковым, – Корвин-Пиотровский до сих пор не обрел в истории русской литературы места, которое он, несомненно, заслужил.

Собрание сочинений В. Л. Корвин-Пиотровского выходит в России впервые. Помимо известного двухтомного собрания «Поздний гость» (Вашингтон, 1968), не успевшего выйти при жизни поэта, оно содержит произведения, которые автор, опубликовав в ранние годы творчества, под конец жизни не признавал, а также значительное количество никогда не публиковавшихся стихотворений.

Ширман Г. Я. Зазвездный зов: Стихотворения и поэмы. – 2012. – 736 с. – (Большая серия).

Творчество Григория Яковлевича Ширмана (1898–1956), очень ярко заявившего о себе в середине 1920-х гг., осталось не понято и не принято современниками. Талантливый поэт, мастер сонета, Ширман уже в конце 1920-х выпал из литературы почти на 60 лет. В настоящем издании полностью переиздаются поэтические сборники Ширмана, впервые публикуется анонсировавшийся, но так и не вышедший при жизни автора сборник «Апокрифы», а также избранные стихотворения 1940–1950-х гг.

Коплан Б. И. Старинный лад: Собрание стихотворений (1919–1940). – 2012. – 160 с. – (Малая серия).

Борис Иванович Коплан (1898–1941) был более известен как историк русской литературы XVIII и первой половины XIX веков. Он выпустил лишь небольшой сборник «Стансы» (1923), хотя стихи продолжал писать всю жизнь.

В основу книги положен авторский рукописный сборник, сохранившийся, несмотря на аресты, заключение, ссылку автора и его гибель в тюрьме во время блокады Ленинграда. Настоящее издание полностью представляет читателю поэтическое наследие Б. Коплана. Более 50 стихотворений публикуются впервые.

Малахиева-Мирович В. Г. Хризалида: Стихотворения. – 2013. – 608 с. – (Большая серия).

Варвара Григорьевна Малахиева-Мирович (1869, Киев – 1954, Москва) – автор почти четырех тысяч стихотворений. Первые ее сохранившиеся стихи датируются 1883-м годом, последние написаны за год до смерти. Подруга Льва Шестова и Елены Гуро, Даниила Андреева и Игоря Ильинского, переводчица Бернарда Шоу и «Многообразия религиозной жизни» Уильяма Джеймса, Малахиева-Мирович – старейший автор неофициальной литературы, оставшийся до конца дней верным символизму, но открывший внутри символистской системы возможности иронически отстраненного реалистического письма.

Основу издания составил свод избранных стихотворений поэта, никогда не появлявшихся в печати, а также единственная изданная при жизни книга стихотворений «Монастырское» (1923) и немногочисленные прижизненные публикации.

**Книги издательства «Водолей»
можно приобрести в следующих магазинах Москвы:**

ГУП «ОЦ»Московский Дом книги»

119019, Москва, ул. Н.Арбат,7

тел. (495) 789-35-91

ТД «Библио-Глобус»

101990, Москва, ул. Мясницкая, 6\3, стр. 1

тел. (495) 781-19-00

Дом книги «Молодая гвардия»

119180, Москва, ул. Б. Полянка, 28, стр. 1

тел. (495) 238-00-32

ТДК «Москва»

125009, Москва, ул. Тверская, 8, стр. 1

тел. (495) 629-73-55, (495) 629-64-83

Галерея книги «НИНА»

Москва, ул. Бахрушина,28

тел. (495) 959-21-03. (495) 959-20-94

Книжный магазин «Русское зарубежье»

109240, Москва, ул. Н.Радищевская,2

тел. (495) 915-00-83, (495) 915-27-97

Книжный магазин «Фаланстер»

109012, Москва, М. Гнездииковский пер.,12\27

тел. (495) 749-57-21

Оптовая торговля: ООО «КнАрт»

E-mail: knarttd@mail.ru тел. 8-916-119-67-20